Светлой памяти моего отца
Николая Димчевского
посвящается...



Николай ДИМЧЕВСКИЙ

ФАНТОМ СТОЛЕТИЯ

(Мешок с обломками двадцатого века)

Санкт-Петербург
2010

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
Д 67

Николай Димчевский
Д 67 ФАНТОМ СТОЛЕТИЯ (Мешок с обломками двадцатого века). СПб., 2010. – 384 с.

Двадцатый век ныне существует лишь как призрак в головах людей, переживших его.

Николай Димчевский автор книг прозы: «Калитка в синеву» (1968), «Июль на краю света» (1970), «Летний снег по склонам» (1977), «Вечное чудодейство» (1981), «В пору скошенных трав» (1990) и нескольких книг стихов, в т. ч. «Сон о птице» (1996); «Осенние карусели» (2000).

© Бабаева Е. Н., 2010

Когда-нибудь будут написаны тома, выстраивающие весь ход двадцатого века. Автор же тщится сделать лишь его небольшой набросок, представить его таким, как он увиделся вживе, через собственные впечатления и свидетельства близких, верных людей в нашей бедной стране.

Здесь хронология отходит на задний план – соседствующие страницы могут быть разделены полувековой пропастью, и читатель лишь в конце приблизится к картине, которая была в замысле.

Голод в деревне тридцатых годов и «спецкормушка» для высоких чиновников. Коммунальные клоповники в столице и князь Куракин, приехавший из Парижа и заглянувший в свой дворец, ставший общагой. Учительница, в сороковом году через силу наставляющая учеников, как надо отметить день рождения Адольфа Гитлера. Отвратительная завеса страха, доносов и арестов невинных, опустившаяся перед всеми насельниками городов и деревень. Наброски всесильных правителей, как они виделись из нищенской бездны обычной жизни (Сталин с подручными, чиновники поменьше, но не менее могущественные, молочный брат Сталина, в лагере на Урале). Железный механизм цензуры, шестеренки которого смазаны густопсовым идиотизмом. Нескончаемые очереди за всем необходимым. Встреча с людоедом во время войны. Разговор с человеком, который с детства (1905 г.) знал Бабеля до его трагического конца. День Победы 9 мая 1945 года с утра до глубокой ночи, прожитый автором вместе со всей столицей. События августа 1991 года в Москве – все, что видел своими глазами. События октября 1993 года в собственном видении с улиц и площадей.

Обломки века, собранные здесь, перемежаются «присловьями», вобравшими кое-какие мысли и выразительные частности.





Двадцатое столетие минуло. Остался лишь его призрак-фантом, возникающий в голове человека, пережившего десятилетия, годы, месяцы и дни этого столетия.

Век видится ему, как страннику, продравшемуся сквозь заросли времени, и подчас с трудом различающему за деревьями весь лес. Да и надо ли видеть лес целиком? Ведь без деревьев его быть не может, поэтому стоит разглядеть как деревья, так и кусты, мелкий подлесок и даже травинки...

Их уже не существует, они исчезли вместе с лесом, и теперь перебирая их фантомы, попробуем представить отошедшее, которое ныне само не более, чем призрак... Однако призрак этот часто появляется в довольно вещественных обличьях и больно напоминает об ушедшем, проросшем в настоящее.

И здесь следует напомнить о втором значении слова ФАНТОМ. Так называют еще модель, муляж, на котором повитухи учатся мастерству родовспоможения, тренируются принимать новорожденных.

Посему робко блазнится, что рассматривая отошедшее, можно различить мазки кое-чего из ожидающего нас в будущем. Разглядывая очертания деревьев, исчезнувших в глубинах времени, подчас, если повезет, можно очертить контур едва пробивающегося ростка нового века.

Здесь собраны фантомы «деревьев и трав», хранящиеся в моей памяти или переданные мне близкими, верными людьми, и коллекция эта в какой-то мере охватывает весь лес отошедшего века.

Впрочем, и коллекцией это собрание штрихов и образов не назовешь, поэтому я выбираю определение «мешок с обломками».

Высыпаю эти обломки разом, грудой, и всякий может выудить для себя то, что приглянется.

Не ставлю цели представить картину века во всех его хитросплетениях, но и отдельные штрихи, возможно, окажутся интересными для человека любознательного.

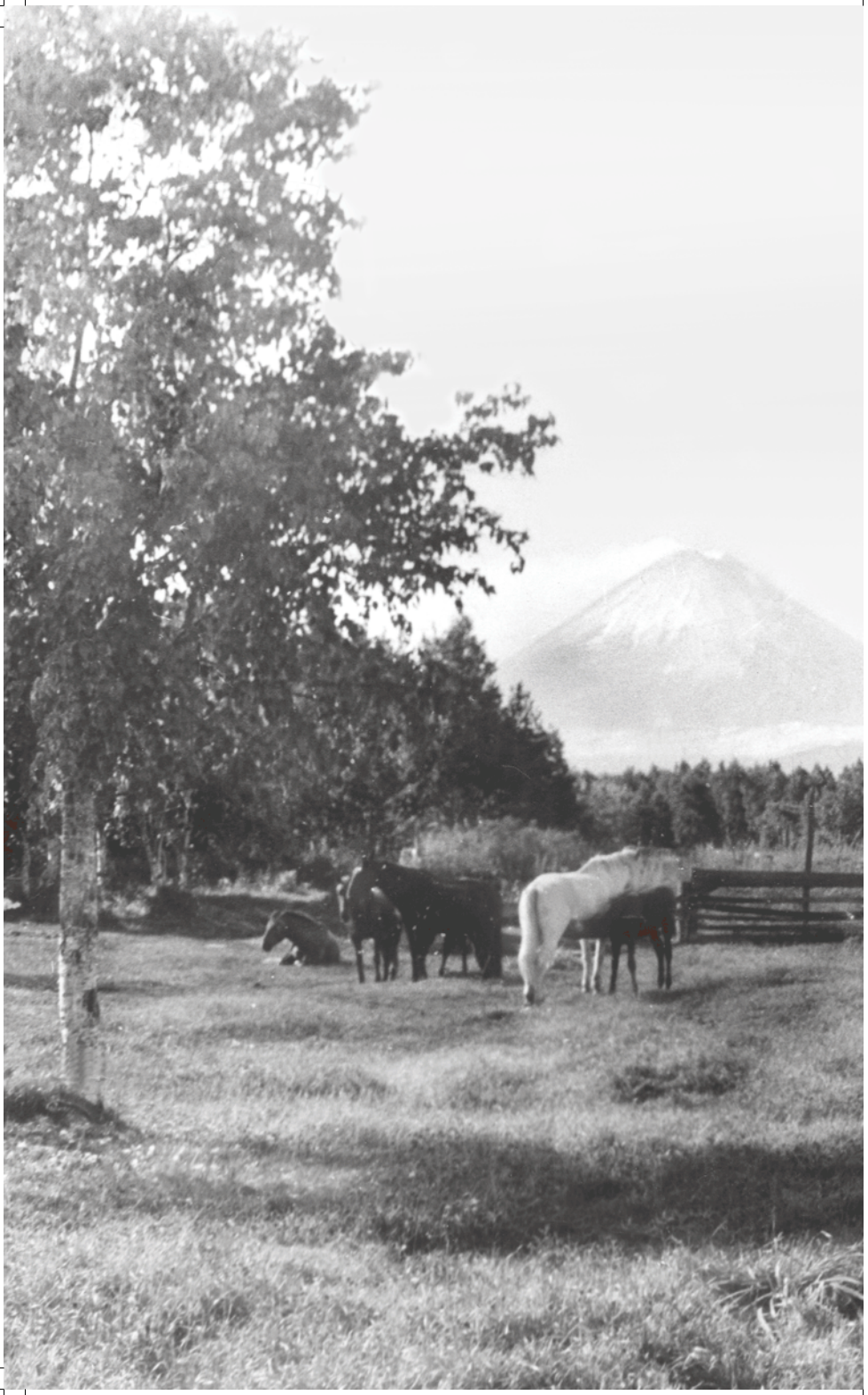
Соседствующие страницы могут быть разделены полувековой пропастью, и читатель лишь в конце повести получит (или не получит) единый образ, который был в замысле.

Каждая главка-обломок несет в себе действительный случай, по сути документальна, но это не летопись, не «воспоминания» – это собрание моментов, которые запомнились, долго хранились в памяти и впервые записаны сейчас. У каждой главки свой сюжет, она – обломок, ложащийся в зыбкий контур повести.

Не добиваясь всеохватности, сделаю попытку представить прошедший век в живых картинках, не сверяясь с устоявшимися оценками, ориентируясь в лабиринтах прошлого только по собственному впечатлению и своему восприятию.



РОДОСЛОВНАЯ БАДАРЖНОВЫХ И ДИМЧЕВСКИХ





Родословная по линии БАДАРЖНОВЫХ

Семейное предание связывает начало рода со священниками Срезневскими, многие годы жившими и служившими в селе Срезневе Рязанской губернии, расположенном на правом берегу Оки.

Нашу прабабушку Анну Осиповну односельчане называли «поповной» за принадлежность к семье священника.

Попытаюсь восстановить цепь далекого родства, не ручаясь за абсолютную достоверность.

Примерно в первой половине XVШ века в селе Срезневе пас свою паству священник Евсевий Иванович Срезнев. Был он беден, обременен большой семьей и об образовании детей не мог и думать. В 1770 году февраля 20 дня

у него родился сын Иван Евсеевич, который, когда ему исполнилось 12 лет, пешком отправился в Рязань и поступил в духовную семинарию. В 1790 г. он с отличными результатами завершил учебу, и в его аттестате впервые появляется фамилия Срезневский. Дело в том, что в семинариях учащиеся часто вовсе отказывались от отцовских фамилий в угоду более благостно звучащим, а тут было добавлено лишь благозвучное окончание.

Иван Евсеевич продолжил учебу. После окончания Московского университета работал в Ярославле, где женился и в 1812 г. у него родился сын Измаил, впоследствии ставший крупнейшим русским филологом XIX века, получившим признание мировой науки.

Наше семейное предание утверждает, что вслед за братом Иваном в Рязанскую духовную семинарию поступил его брат Осип Евсеевич. По окончании учебы он вернулся в Срезнево, однако принять сан священника не мог, поскольку тяжело заболел и оглох. Какое-то время жил у отца, а потом решил перейти в крестьянское сословие.

Осип Евсеевич женился на крестьянке и поселился в селе Крутицы, расположенном верстах в двадцати от родного Срезнева, где занимался хлебопашеством. Нам известно лишь, что фамилия крестьянки была Пушкова и Осип взял ее фамилию, видимо, желая полностью порвать со своим прошлым.

В семье Осипа родились дети: Пелагея, Федор, Евдокия, Анастасия, Анна.

Старшая, Пелагея, вышла замуж за красавца Афанасия из села Сосыкина, однако брак оказался неудачным; она ушла от мужа и уехала в Москву к дяде Срезневскому (имя неизвестно), который хорошо ее устроил. У нее была квартира на Тверской, «близ дома губернатора, дом Олсуфьевых», где она прожила полвека, сдавая комнаты внаем. В начале войны 1914 г. Пелагея продала квартиру и ушла в дом престарелых Бахрушина, где жила вместе со своей горничной. В памяти родственников она осталась как тетка с барскими замашками. Так в Крутицах в доме отца у нее была горница, обставленная мягкой мебелью, стояли кресла и пр.

В гости к ней почитали за честь прийти лавочники, учителя, священник. Живших в доме отца родственниц, племянниц и невесток, она почитала за своих слуг. Летом бабы

намаются в поле, едва добредут до дома от усталости, а Пелагея с порога им приказывает: «Девки, стелите мне постель, ловите блох!» Девкам самим бы поесть, детей покормить да валиться спать, а тут надо за теткой ухаживать... Но никто никогда ей не перечил.

Федор Осипович родился примерно в 1826 г. Среди родственников он прослыл легкомысленным бродягой, непутевым человеком. Был женат, но бездетен. Взял в дом «примака» по имени Максим. Неожиданно для всех исчезал из дома, уезжал то в Харьков, то неизвестно куда. Пропадал по 10–15 лет и вдруг возвращался с шиком на тройке с бубенцами; недолго побудет дома и опять исчезнет. Лишь в 76 лет остепенился и остался в родных Крутицах навсегда. К этому времени он так одрях, что не мог дойти до ближнего леса за грибами. Он страстно любил не столько собирать и есть грибы, как их чистить. Посылал внучатого племянника Акима (ему лет 7–8) в лес, называвшийся Старая Заповедь, а когда тот приносил полную корзинку, садился на приступок крыльца и тщательно, артистично очищал каждый боровичок или подберезовик. Любил рассказывать анекдоты и побаски про попов.

Про Евдокию и Анастасию в памяти родственников ничего не сохранилось.

Нам особенно интересна Анна Осиповна (1835–1930), от которой пошел наш род.

Вот несколько живых воспоминаний о ней, переданных мне мамой.

Прабабушка Анна сама ей рассказывала, каким причудником был ее сын (наш дед) Яков. Проснется утром и просит есть. Анна спрашивает: «Цаво табе? Вот картошка осталась...» Маленький Яшка недовольно мычит: «У-у-у-у». Мать: «Свекла вот». Яшка: «У-у-у». Мать: «Цаво ж табе?» Яшка: «Хле-е-ебца».

В детстве он как-то попросил ее: «Мам, разбуди меня завтра рано-прерано». Она спросила, зачем, и он ответил: «Буду хлеб исть».

Анна любила побаловать внучат. Мелко наколотые от сахарной головы кусочки раздавала внукам по нескольку штучек. Это была невидаль, которой они хвалились перед деревенскими сверстниками.

В большую чашку гречневой каши Анна лила одну ложку постного масла и объясняла внукам, что если положить больше, то все едоки ослепнут.

Анна рассказывала внукам, что в детстве у них в доме было 19 детей. Вместе жили несколько семей в одной большой избе. Обязанностью детишек было с утра приниматься щепить лучину, чтобы к сумеркам, когда взрослые придут с работы, можно вставлять лучину в каганец и освещать избу.

О характере Анны Осиповны сохранилось несколько воспоминаний родных. Однажды сын привез ее на телеге из Крутиц в Мосолово – погостить всю неделю у Яшки. Было воскресенье. Яшки дома не оказалось, Катерины тоже (она ушла на базар). Анна отпустила сына с телегой и стала ждать. Вернулась с базара Катерина, разложила покупки. Среди прочего был новый половник. Анна спросила у невестки: «Ты Яшке сказала, что купишь половник?» Катерина ответила, что с мужем эту покупку не согласовала, и без него-де знает что покупать, а что нет... Анна возмутилась, что невестка без ведома мужа швыряется деньгами. Отругала Катерину, собрала свой узелок и тотчас, не повидав сына, ушла пешком в Крутицы. Еще черточка характера: когда мама привезла в Мосолово младенца Колю Димчевского, его прабабушка Анна пришла пешком за 12 верст одна из Крутиц посмотреть на правнука. Был ей в ту пору 91 год. И последнее: когда Анна Осиповна в 95 лет решила, что прожито достаточно, она перестала есть и пить, постелила чистую постель, легла и вскоре уснула навсегда.

Анна Осиповна вышла замуж за односельчанина, крутицкого мужика Симона Симеоновича Симеенова (1835–1913). Симон был высок ростом, сухопар, носил бороду. На него был очень похож его сын

Дмитрий. Из внуков его черты переняли Петр и Екатерина (узкие лица, тонкие носы). Судя по семейным рассказам, Симон был заядлым спорщиком и деревенским философом, отрицавшим бессмертие души, заявлявший, что человек после смерти ничем не отличается от павшей скотины. Крутицкий священник вступал с ним в дискуссии, но переубедить не мог, и при встрече с нашим прадедом часто повторял, обращаясь к нему: «Ну, бодай рожном! Бодай рожном!», ожидая философского выпада со стороны односельчанина.

Эти стычки с духовным пастырем были широко известны в селе и со временем стали деревенской кличкой – «ба-

дайрожновы», со временем превратившейся в фамилию Бадаржновы, заменившую былую – Симееновы.

В памяти своих внуков, моих дядьев и теток, он остался необыкновенно добрым и веселым человеком. Детей баловал игрушками собственного изготовления и забавами. Дед Яков Симонович вспоминал, как в детстве отец (Симон) вырезал ему из дерева лошадей, овец, делал игрушечную соху, борону, телегу... Внукам сделал саночки, украшенные жестяными кружевами. В праздники потешал всех игрой на жалейке, рожке, свистульках, трещотках, которые сам мастерил. В селе он слыл мастером на все руки. За огородом, на «выпусках» (место, куда выпускали поросят, телят и ягнят пастись) у него была «парня» – в яме горел костер, над которым висел большой котел. В котле распаривались заготовки для дуг и полозьев, затем Симон их сгибал и ладил сани; дуги сам расписывал цветами – красивей его дуг в Крутицах ни у кого не было; даже господа заказывали ему расписные сани. Кроме того, Симон шил сапоги, был бондарем, сам делал бочки. Он любил всякую живность. Раз зимой принес в избу полузамерзшего воробья. Внуки согрели его в ладонях, птица взлетела, сделала круг по избе и влетела в топившуюся печь... Летом принес из леса сову, она сидела под кроватью, и внуки разглядывали ее. В избе жила ручная мышь – выходила из норки и ее кормили. Зимой ради забавы вводил в избу старого мерина, сажал на него внука Акима, смешил баб, которые пряли при свете лучины. Он был заядлым лошадником – разводил лошадей. Однажды продал старого мерина в соседнее село. Через некоторое время рано утром обнаружилось, что мерин вернулся и пасется недалеко от избы. В начале века в Рязанской губернии случился тяжелый неурожай. Надо отметить, что крутицкие крестьяне были государственными, они не были крепостными. Царь прислал им зерно в долг с условием возвращения после урожайного года. Все крутицкие крестьяне набили сусеки царским зерном, а Симон не взял ни зернышка, чтоб потом не думать об отдаче долга. У него уродилось просо, и семья всю зиму питалась пшенной кашей. А на другой год (1904) у царя родился сын царевич Алексей, и царь на радостях простил все долги... Симон долго потом терпел упреки родных и односельчан: «Эх, всегда ты так!» Весной Симон увозил внучат с собой в поле на Ромашкин яр, где начинал пахоту, а дети резвились

на солнышке. Потом каждый день привозил с поля внучатам яичко, сбереженное от обеда, приготовленного Анной, и говорил малышам, что это им лисичка прислала. Симон очень любил внука Акима, который несколько лет постоянно у него жил. Когда подошла пора, определил Акима в школу в соседнее село и устроил там жить на квартиру. В каникулы брал внука в Крутицы. Когда строили Казанскую железную дорогу, на стройке работали сыновья Симона, а он делал тачки для перевозки земли и чинил их. Умер Симон в 1913 году, прожив 78 лет.

У Симона и Анны родились дети: Прасковья, Никифор, Дмитрий, Евдокия, Алексей, Яков (мой дед).

О Прасковье Симоновне известно, что у нее было два сына Иван и Павел, а дочери долго не появлялось. Поэтому, мечтая о дочери, она сыновей приучила к бабьим работам – они мыли полы, стирали, пололи огород. Мальчишки были однолетками Кати, моей мамы. Однажды все встретились в Крутицах у деда Симки. Катя спросила Ваню, чем они занимаются дома, и он ответил: «Я пряду, а Пашка дерюги вярьтить». (Из очесок, остававшихся после прядения льна, свертывали жгуты и ткали из них дерюги, которыми укрывались вместо легкого одеяла). В годы войны дядя Иван подарил мне новенький ватник, в котором я ходил в университет. Павла неизвестно за что арестовали палачи из НКВД, и он погиб в сталинских лагерях.

У Прасковьи все ж родилась дочь Дарья, которая, по ее мнению, была красивей всех девок в округе. Самою Прасковью до старости кликали Праскуткой. Она приходила к нам в Мосолово полоть огород. Едва поздоровавшись, стеснительно прошмыгивала через сени, и весь день проводила, согнувшись над грядками. В обед бабушка Катерина говорила мне: «Иди, кликни Праскутку обедать». И я, пяти-шестилетний карапуз, кричал с крыльца: «Праскутка, иди обедать!» Она отрывалась от грядок, и, проходя мимо меня, тихонько сетовала про себя: «Вот уж вовсе старая, а все “Праскутка да Праскутка”. Никто не скажет: Прасковья Симоновна». В конце жизни Прасковья согнулась как крючок, и чтоб немножко разогнуться, укладывала в мешок камень и закидывала за спину...

О Никифоре Симоновиче, старшем из сыновей, известно лишь, что родился он в 1862 г. Женат на Прасковье Михайловне. У них было трое детей: Анастасия (1884–1970),

Захар (1886–1943) и Василиса (1887–1951). Вместе с братом Яковом Никифор отправился на заработки (ходили обычно в Ригу или Петербург). По окончании работ Никифор посадил Яшку на «машину-поезд» и сказал на прощание: «Поезжай, а я домой не вернусь». С тех пор о нем ничего не известно. Есть версия, будто он погиб на Ходынском поле во время торжеств при короновании царя. Из потомства сына Никифора – Захара известна его дочь Екатерина Захаровна, которая жила с мужем Михаилом в подмосковном городе Жуковский. В Кирицах жила дочь Никифора Анастасия, которая была замужем за Петром Карпуниным. У них дочь Мария (1921?), которая замужем за Иваном Котовым – дочь Валентина, живет в Москве.

Хорошо помню Дмитрия Симоновича, которого все звали «дядя Митюшка». Он жил в Крутицах. Часто бывал у деда Якова. Запомнилось его узкое лицо, нос с горбинкой, несколько застенчивый голос. Всякий раз, отвечая на вопрос, как житье в Крутицах, отвечал: «Не приведи Бог – по селу будто Мамай прошел – все разорено, жись никудышная». Он нюхал табак из берестовой табакерки – искусно сплетенной овальной коробочки. Моя мама вспоминала: когда ей было лет 5–6, дядя Митюшка возил ее с двоюродным братом Сережей в поля на Оку. Прошел дождь, засветилась радуга, которая одним концом уперлась в реку. Дядя Митюшка обеспокоенно сказал: «Сейчас радуга воды напьется и начнется ливень», – хлестнул лошадь и погнал к Крутицам. Но от ливня не ушли и вернулись домой вымокшими до нитки. Дядя Митя занимался довольно необычным для деревенских отхожим промыслом – на зиму он уезжал в Москву и работал капельдинером в Большом театре. По-видимому, это место досталось ему не без протекции Срезневских. Уже в 20-е годы он доставал маме контрамарки на спектакли.

Евдокия Симоновна (1884–1956) – тетя Дуня – жила в Люберцах, была замужем за Степаном Дмитриевичем Щетининым. Ее дети: Иван (1910–1955), Петр (1919–1999), Любовь (1911–1998), Степанида (умерла в 1999) – ее звали Стюня, у нее дочь Нина, муж Борис Семенович Клемешов. Тетя Дуня часто бывала у нас на Ново-Басманной, появлялась всегда неожиданно и смешила своими разговорами, словечками, по-своему переделывая городские слова: «Вот свиные роги достала», – говорила она про рагу.

Часто рассказывала про успехи сына Пети, который был хорошим баянистом, играл в ансамбле Красной армии.

Алексей Симонович жил в Крутицах, занимался хлебопашеством, был простоват, душевен. Часто бывал в Мосолове. Отправляясь в обратный путь, подзывал меня и говорил: «Ну-ко я тебе скачу». Сажал на свой одер (телега на двух колесах), довозил до брода через речку Непложу и ссаживал на бережке. Рассказывают, что Анна, когда настала пора женить Алексея, сказала сватам: «Кому вы девку-то отдаете? Малай-то у нас глупой да лени-ивай...» Женился он на Дарье. Детей у них не было, они умирали при рождении. В 37-м году его арестовали, отвезли в тюрьму НКВД, но, видно, даже тогдашние заплечных дел мастера не смогли отыскать у крестьянина никаких признаков ни шпиона, ни врага народа. Через месяц его освободили, он вернулся в Крутицы. Потрясение от издевательств в застенках было так велико, что этот физически крепкий мужик прожил на свободе несколько недель и умер.

Яков Симонович (1871–1957), человек неординарный, в каждом из детей и внуков есть частичка его характера. Он окончил церковно-приходскую школу в с. Крутицы, но обладал знаниями, которым мог позавидовать иной профессор медицины. Трудовую жизнь начал с юности. Ранней весной крутицкие мужики собирались на заработки в западные области. Пешком уходили в Ригу, где сплавляли барки по Западной Двине, в Петербурге нанимались в порт грузчиками. Добирались туда пешком. На дорогу брали две пары лаптей, подшитых кожей. Яков строил Казанскую железную дорогу, которая прошла недалеко от родного села. В 1890 г. его забрали в армию, где от издевательств младших офицеров едва не покончил с собой. К счастью, пришел приказ о наборе в школу санитаров, и Яков как единственный грамотный в роте был послан учиться. Служил в Варшаве. В войну 1914 г. работал в полевом госпитале. При наступлении немцев, воспользовавшись неразберихой, сумел уехать в Москву, затем в Рязань. Окончил фельдшерское училище и всю жизнь проработал фельдшером. Был одним из самых почитаемых лекарей в округе. К нему лечиться шли охотней, чем к врачам. Помимо медицины, Яков Симонович был мастером во всех житейских делах – успешно занимался пчеловодством, был хорошим столяром, плотником, бондарем. В начале войны, в 1941 г. работал

в Срезневе. Там к берегу была причалена бесхозная баржа с солью. Приходя домой в Мосолово, Яков всякий раз приносил мешочек соли и постоянно увещевал родню: «Сходили бы в Срезнево, принесли хоть по карману соли – ведь война, скоро соль станет на вес золота...» Никто к его словам не прислушался, а потом дедова соль всех спасала. О нем его внук Николай написал и опубликовал повесть «Дед».

Яков женился на Екатерине Сергеевне Денисовой (1871–1945), жительнице Крутиц. Когда пошел свататься, попросил у друга сапоги, купил зеркальце и связку баранок в подарок любимой. Целый день проходил в сапогах, а вечером переобулся в лапти и вернул праздничную обувку хозяину. Катерина была из зажиточной семьи. Ее отец Сергей Денисович заведовал некими складами в Орле. Он был крепким, высоким красавцем трех аршин ростом, наряжал дочерей в городское платье. Женат на Анастасии. Помимо Екатерины, у них были еще две дочери – Анна и Евдокия. Яшку уважал и выдал за него дочь без сомнений.

У Денисовых большая крестьянская семья из 36 человек. В одном доме жили семьи сыновей. Сергей редко появлялся в родном селе, занятый отхожим промыслом. Умер он сорока лет во время сенокоса от больного зуба. Анастасия тоже умерла рано. Дед Екатерины Денис оставил по себе память тем, что задолго до смерти сколотил себе гроб, «чтоб потом никому не возиться с этим делом...». Летом он спал на сеновале, а зимой дома в гробу, где стелил постель. Но вышло так, что прежде него скончался внук Вася, совсем молодой парень, и Денис отдал свой гроб для него, заметив: «Ишь, какой лобан – еле поместился».

Бабушка Катерина не знала грамоты. Помнится, летом мама занималась с ней по букварю (ей уже за шестьдесят), и она начинала читать по складам, но за зиму все забывала. Говорят, в молодости она была красавицей и хорошо пела. Когда дед работал на строительстве дороги, она носила ему обед, и инженер заглядывался на нее так, что дед запретил ей приходить – вместо нее ходила Дарья. До сих пор помню ее любимую припевку, когда что-то у нее или у кого-либо не удавалось: «Басина, басина/ Катярина Васина/ щи проквасила/ чугун опрокинула...» Когда у кого-то из внуков случалась беда (разбил коленку, пчела укусила), бабушка говорила успокоительную побасенку: «Шла бабушка из

Заморья, несла кузовок здоровья. Тосе узалок, Зое узалок, а Колюшке весь кузовок!» Она успешно помогала деду Якову в пчеловодном деле и знала все премудрости ухода за пчелами. Прекрасно выпекала хлеба в русской печи на капустном листе, пекла замечательные пироги, медовые коврижки, ржаные лепешки, из белой муки сладкие плюшки, жаворонки с глазками из изюма, блины: драчены – в ладонь толщиной (их ели, обмакивая в масло или сметану), обыкновенные и самые тонкие, которые назывались «Христовы онучки», делала бесподобный ржаной квас с мятой. Мы долгое время утирались полотенцами, которые она сама соткала из льна, собственноручно выращенного и выделанного. Она пришла из времени, когда крестьяне все делали сами – от одежды до обуви и жилища.

Сестра Екатерины Анна Сергеевна жила в Батуми. Там же жила и дочь Евдокии Сергеевны Александра, у которой дочь Людмила с сыном Вадимом.

Первой у Якова и Екатерины в Крутицах родилась дочь Марья, которая умерла во младенчестве. Было так: мать работала в поле, оставив новорожденную на попечение свекрови Анны («мачки» – так называли свекровь), а та собралась на поминки к соседям и девочку, чтоб покрепче спала, по обычаю, напоила маковым отваром, да переложила маку – малютка Марья уснула и не проснулась.

В 1904 г. Яков с Екатериной переехали жить в Мосолово. Яков работал в земской больнице. Снимали дом неподалеку от больницы. Съестные припасы им привозили из Крутиц, поскольку там был их земельный надел. В 1921 г. Яков решил построить собственный дом на ул. Колбасиной. На том месте еще были огороды купца Карташева (сеяли капусту). Хотя землю у купца уже отняли, Яков тем не менее сходил к нему и спросил, не прогонит ли тот, если что... Карташев ответил: селись – тебя не прогоню.

После Марьи родились Галина и Николай и умерли в детстве от скарлатины (8-ми и 3-х лет). Болезнь Яков, не ведая, занес из больницы.

Старшим сыном был Аким Яковлевич (1894–1979). Когда ему стукнуло 17 лет, отец сказал, что пора жить самостоятельно, и послал на заработки в Петербург к знакомому весовщику в порту. Там Аким поступил в школу счетных работников и сам стал весовщиком. Затем вернулся на родину и устроился в Мосолове у помещика Ржевского

в конторе. После революции переехал в Шилово, построил собственный дом и там до конца жизни работал страховым агентом. Успешно занимался пчеловодством; много читал, был интересным собеседником, дружил с видными людьми села и поселка. В начале войны по ложному обвинению (к счастью, не политическому) отсидел в тюрьме в Рязани. Был оправдан. Призван в армию, попал на фронт, был писарем при штабе, прошел через Восточную Пруссию.

Женат на Марье Сидоровне. У них родилась дочь Антонина (1922–1983). Она окончила географический факультет МГУ, работала инженером-гидрологом в институте «Гидропроект», проектировала и строила гидростанции. Дочь замужем за Константином Степановичем Кондрацким (1926–1954). У них дочь Елена (1950), которая окончила педагогический институт, работает педагогом. Елена вышла замуж за Владимира, у них родились дочери Юлия (1976) и Ксения (1982).

Ольга Яковлевна (1904–1956). Замужем была за Максимом Матвеевичем. Жила в Шилове Рязанской области в доме мужа. Его мать невзлюбила невестку, донимала ее придирками. После нескольких лет мучений Ольга не выдержала и однажды вечером, когда доили корову, в хлеву задушила свекровь; тут же пошла в милицию и призналась в убийстве. Судили, дали 3 года тюрьмы. Два года (1926–1928) сидела в Рязани. В тюрьме у нее родилась дочь Оля. Затем ее перевели в Соловки, где дочь умерла. Отбыв срок, Ольга окончила курсы бухгалтеров и с этой универсальной профессией объехала весь юг страны – Кавказ и Среднюю Азию. Помню ее посылки из Андижана с урюком и сушеной дыней, которые в те годы были редким лакомством. Вторично вышла замуж за Андрея Кузьмича Великого. Вместе они отправились на целину, где построили дом в степи в одном из совхозных поселков и впервые заимели собственное жилище, но прожили там недолго. Муж умер от рака. Ольга продала дом и приехала в Мосолово, какое-то время жила в Москве, снова вернулась в родное село, где умерла тоже от рака. Вероятней всего, болезнь супругов вызвана облучением в результате испытаний ядерного оружия, проводившихся в тех краях под строжайшим секретом...

Ольга была веселой, жизнерадостной, часто смеялась и шутила; постоянные переезды с места на место говорят

о ее любознательности, она подробно писала в письмах и много рассказывала при встречах о городах, поселках и людях, с которыми знакомилась, об обычаях и говоре местных жителей.

Петр Яковлевич (1908–1980). В раннем детстве отличался исключительной трусостью – боялся птиц, кошек, кур и прочей живности. Взросление выразилось в том, что он вдруг впервые спокойно рассмотрел ворону, бродившую под окном и сказал маме: «Иррабей ходит... А у него глазки, носик...». Долго оставался маленького роста, и за одну зиму вытянулся так, что все одежки стали малы. Мама связала ему красный шарф, в котором Петя ходил гулять. Отец решил, что шарф – это баловство и ведет к изнеженности – и изрубил шарф топором в клочья. Петр плакал и с тех пор не заводил нового, а изрубленный долго жалел. После того, как ему исполнилось 17 лет, отец по обычаю отправил его в самостоятельную жизнь. Петр поехал в Ивантеевку под Москвой, где устроился кочегаром на фабрике, жил в общежитии. Стал писать стихи и даже печатался в местной газете. Запомнилась его строка из стихотворения о кочегаре, который кидает в топку «антрацита черный хрусталь». Хорошо играл на гитаре и пел песни на стихи Есенина и собственные. Каждый выходной приезжал в Москву к сестре Кате и привозил племяннику Коле плитку шоколада «Золотой ярлык». Затем поступил в Военно-инженерную академию связи, которая в конце учебы была преобразована в Институт связи. По окончании бы распределен в Пинск, где работал инженером узла связи. Женат на Анне Ивановне, с которой познакомился в родном Мосолове, своей одногодке. У них двое сыновей: Валерий (1933) и Олег (1939–1974). Летом 1941 г. с началом войны Петр отправил семью на родную Рязанщину, а сам оставался на узле связи до последней возможности. Потом двинулся на восток. Пешком и на попутных машинах добрался до Киева, где попал под немецкую бомбежку; на поездах доехал до рязанского Старожилова, откуда пришел в Мосолово пешком в одних носках. После войны работал в Белоруссии, затем в Ряжске и Старожилове Рязанской области. Жил в доме при узле связи, где был начальником. До конца дней оставался любителем природы, ее красот и даров. Успешно занимался огородничеством, выращивал невиданные помидоры, состоящие из одной сахарной мякоти без семян, был страстным

рыболовом, знатоком всех местных водоемов и их обитателей, был грибником, мастерски плел корзины из ивняка и делал все, что необходимо сельскому жителю. В зрелые годы страдал от скудости и однообразия устоявшейся жизни, хотел поехать на Север, на полярную станцию, много пил. Заболел раком, и не вынеся страшных болей, покончил с собой.

Старший сын Петра Валерий после службы на флоте вернулся на родину, где зарабатывает на жизнь благодаря своей одаренности в изобразительном искусстве как художник-оформитель. Одарен он и музыкально – играет на гитаре, аккордеоне, на любых инструментах. Был связан с криминальными кругами, сидел в тюрьме. Женат, детей нет.

Сын Олег жил с отцом в Старожилове. Женат, у него две дочери Татьяна и Галина. Погиб нелепо – будучи пьяным, поехал на мотоцикле и столкнулся с грузовиком.

Вера Яковлевна (1912–?). После родительского дома работала на трикотажной фабрике в Ивантеевке, потом была воспитательницей в детском доме в Пушкино под Москвой. Окончила курсы шоферов. Работала на грузовых машинах. Вышла замуж за Ивана Александровича Киселева, тоже шофера. В годы войны завод, на котором они шоферили, эвакуировался в Свердловск. После войны вернулись, жили в Подольске, затем в Москве. У них родилась дочь Елена (1936); она замужем за Евгением Антоновичем Архиповым (1936). Свою дочь, внучку Веры, они назвали Еленой (1960), которая вышла замуж за немца, журналиста Вольфганга, и уехала в Германию, где у нее родилась дочь Виктория (1994). Молодая семья переехала по месту новой работы мужа в Турцию, затем через несколько лет в США.

22 сентября 2002 года Вере Яковлевне исполнилось 90 лет. На юбилее она много рассказывала из прошлого. У нее замечательная память, и эти записки о нашей родословной стали возможны во многом благодаря ее неисчерпаемым сведениям о родственниках и многих деталях жизни и быта навсегда отошедших времен. В свои годы она полностью себя обслуживает, хотя несколько десятилетий назад ей удалили желудок, у нее искусственные суставы на обеих ногах.

Галина Яковлевна (1915–1993) дольше остальных детей прожила с родителями в Мосолове. В юности трудилась

в колхозе, некоторое время работала на местной электростанции. На пасеке отца освоила пчеловодное дело. Веселый, открытый характер сделал ее душой молодежи села, хотя никаких официальных постов она не занимала. В Мосолове познакомилась с Михаилом Ивановичем Мельниковым, присланным по партийной разнарядке и некоторое время работавшим в политотделе района. Они поженились. Родился сын Геннадий (1934–2001). Отработав положенный строк, Михаил вместе с семьей уезжает на свою родину в Тулу, где заканчивает институт и получает диплом инженера. Здесь родился сын Андрей (1940–2000). С началом войны эвакуируются с заводом в Златоуст. Михаил уходит добровольцем на фронт в танковые войска, и в 1943 г. погибает в сражении под Курском. Галина с детьми вернулась с Урала в Мосолово, где работала в библиотеке и вела обширное домашнее хозяйство (пчеловодство, прекрасный сад, огород с разнообразными овощами, корова, куры). Все живое тянулось к ней: яблони, вишни буйно росли, ласточки залетали в избу, галчата, которых она выкормила, встречали ее идущую после работы и садились на плечи. Вышла замуж за Дмитрия Привалова, шофера, бывшего фронтовика. У них родился сын Алексей (1951). Брак оказался неудачным, они развелись, и Галина осталась одна с тремя детьми.

Старший сын Геннадий после окончания мосоловской средней школы поступил в военно-инженерную академию. По окончании служил в пограничных войсках, занимался вопросами строительства на Сахалине, во Владивостоке, Чите, затем был переведен в Москву. Полковник. Жена Лидия (1942). Умер в 2001 г. Дети: Аркадий (1964) – жена Марина, у них дочь Екатерина (1986); Светлана (1970) – муж Сергей, дочь Анастасия (1993).

Средний сын Андрей после службы в армии (Германская Демократическая Республика), поступил в институт в Рязани, который оставил, не завершив учебы, стал работать на заводе наладчиком станков. Постоянно бывал в родном Мосолове, помогал матери обиходить сад, огород и пчел; в молодости хорошо рисовал, заядлый рыболов и грибник, интересовался современной литературой. Был женат на Зинаиде, от которой дочь Людмила (1967–?), безвременно умершая в молодости; от нее внучка Полина (?). Брак оказался неудачным. Второй брак с Валентиной (?).

У них дочери: Софья (1972) и Мария (1973). Софья окончила институт, специалист по экологии. Мария работает медицинской сестрой.

Младший сын Алексей окончил мединститут в Рязани, работал в поселке Лесном в больнице хирургом, затем заведующим хирургическим отделением. Унаследовал от деда Якова все, что нужно для хорошего врача и приобрел такую же известность в округе – к нему долго еще приходили больные, лечившиеся у Якова Симоновича. Помимо медицины, серьезно интересуется историей, литературой, успешно занимается деревянной скульптурой, продолжает родовую традицию по пчеловодству, вырастил хороший сад, огород. Сейчас на пенсии. Женат на выпускнице мединститута Лидии (?), которая работает врачом в той же больнице, что и он, и пользуется заслуженным уважением в поселке. У них дочь Анна (1976) – работала медсестрой, затем окончила медицинский колледж, заочно учится в институте по специальности психология. У нее сын Алексей (1995), в 2002 г. пошел в первый класс.

Екатерина Яковлевна (1901–1985) в юности, живя в Мосолове, подружилась с дочерьми местной интеллигенции, с которыми не прерывала отношений до глубокой старости. Яков Симонович старался, чтобы она ничем не уступала подругам. Приобрел для нее пианино, чтобы она могла заниматься музыкой. Екатерина поступила в гимназию города Спасска. Здесь она познакомилась с Владимиром Димчевским. После Октябрьского переворота гимназию преобразовали в среднюю школу, которую она и окончила. В 1918 г. вернулась в родное село, где некоторое время работала учительницей начальных классов, жила на квартире при школе (ныне в этом здании – церковь). Вышла замуж за Владимира Димчевского, который поступил в инженерно-строительный институт в Москве, и в 1924 году переехала в столицу, где у них родились дети Николай и Зоя. Из Спасска к ним переехала мать Владимира Анна Васильевна. Екатерина занималась воспитанием детей. Когда они подросли она стала работать учительницей в школе для взрослых при фабрике в системе «ликбез» (ликвидация безграмотности). Затем окончила курсы медсестер и до самой пенсии была патронажной медсестрой в детской консультации на улице Красносельской. Ее очень любили родители малышей и сами дети, помнили ее до взрослых

лет. Помимо работы в поликлинике, она тащила на себе все домашнее хозяйство – сама шила рубашки и белье для мужа, платья и белье для себя и все необходимое для детей, совершала грандиозные стирки (в корыте и руками). В жуткие годы того времени готовой одежды не продавалось, продовольствие выдавалось по карточкам и за ним приходилось выстаивать огромные очереди. Во время войны эвакуировались в Мосолово. Жили на грани голода, не было даже соли. Она запекала картошку, очищенную кругляшом, на сковородке, накрытой чугунком – кушанье называлось «абрикосы» и даже несоленое поедалось с удовольствием.



Родословная по линии ДИМЧЕВСКИХ

Со слов моей бабушки Анны Васильевны Димчевской известно, что родоначальником нашим был Василий Димчевский, родившийся в первой половине XIX века. Отчество его неизвестно. Происхождение фамилии бабушка объясняет так: первоначально звучала она как Димчев. Василий был послан служить в Польшу, где женился на полячке, и жена настояла, чтобы он добавил к фамилии польское окончание, сама же в ответ сменила католичество на православие. В Польше он был чиновником русской администрации. За добросовестную службу получил дворянское звание. Бабушка Анна часто повторяла мне в детстве: «Наша фамилия записана в 12-й книге дворянства в Кремле».

Василий Димчевский имел трех сыновей:

1-й сын Осип Васильевич родился и жил в Польше, где женился на полячке Констанции Ивановне Левковской, затем перебрался в Россию. Из уцелевших документов известно, что в 1880 г. он в чине титулярного советника был письмоводителем Овручского уездного казначейства, затем губернским секретарем. В 1898 году получает чин коллежского регистратора. В 1900 году он – надворный советник (соответствует военному чину подполковник).

1 апреля 1870 года у них родился сын Вячеслав Осипович (крещен 21 апреля) – мой дед.

2-й сын Василий Васильевич был офицером-артиллеристом, дослужился до звания полковника. Участвовал в войне с Японией 1904–1905 гг., в войне 1914 г. Не был женат. Жил в Петербурге. После революции эмигрировал в Болгарию. Возможно, там женился, о чем можно предположить на том основании, что в США существует мемориальный фонд Эстер Димчевской, которая вместе с сестрой Маргаритой переехала из Болгарии в США после Второй мировой войны.

3-й сын Григорий Васильевич жил в Варшаве, затем в Саратовской губернии (с. Георгиевское) и в Тифлисе. Был женат на Ольге Игнатьевне Стравинской, сестре Федора Игнатьевича Стравинского, знаменитого баса, певшего в Мариинском театре, отца знаменитого композитора Игоря Стравинского. У Григория и Ольги родились сыновья – Дмитрий и Владимир и дочь Людмила.

Дмитрий Григорьевич детство и юность провел в Варшаве. Жил и учился в Петербурге, получил специальность инженера-картографа. После революции переехал в Москву, где работал в картографическом издательстве, специализировался на картах СССР. Его красавица жена Анна Прокофьевна была дочерью народовольца Прокофия Филипповича (фамилия?). Она свободно владела немецким и французским языками. Детей у них не было. В начале 30-х гг. Дмитрий Григорьевич случайно встретил на московской улице поляка, своего одноклассника по варшавской гимназии. Поляк был дипломатом из посольства Польши. Этой мимолетной встречи оказалось достаточно для органов НКВД, чтобы отправить Дмитрия на несколько лет в ссылку в Ташкент «за связь с иностранцем».

Владимир Григорьевич (1878–1939) родился в селе Георгиевское Саратовской губ. Был инженером-экономистом по строительству железных дорог. Он участвовал в проектировании и строительстве Закавказской железной дороги. Видимо, в это время он с семьей перебрался в Тифлис, где жили родители. Как инженер-путеец, он имел в своем распоряжении салон-вагон, который был необходим для работы, а во время отпуска в нем путешествовали по всей Европе (вагон можно было прицепить к любому поезду). Семья побывала в Германии, Франции, Италии. У меня хранится русско-французско-немецко-английский словарь, сопровождавший их в поездках. Женился Владимир Григорьевич на Нине Евгеньевне Вербицкой из Витебска. У них родились сыновья Евгений (видимо, 1910) и Сергей (примерно 1914). Оба были очень талантливы в области техники. Сережа в 26 лет защитил кандидатскую диссертацию в Москве. Женя переехал жить в Ленинград. В 30-е годы семья перебралась в Москву, поскольку Владимира Григорьевича перевели в Народный комиссариат путей сообщения СССР на должность инженера-экономиста Центрального отдела учета и дали комнату (ул. Ново-Рязанская, 21, кв. 11). Помнится, он с большой неохотой и скорей всего по принуждению принял это назначение. В 1938 г. был арестован и обвинен в какой-то нелепице, благо биография давала возможность мерзавцам-энкавэдэшникам для любой инсинуации. Многие десятилетия родственники считали, что он погиб в одном из лагерей на Дальнем Востоке. И лишь в конце XX века удалось по Интернету узнать правду от общества «Мемориал». Вот что сообщается на страничке: «Арест. 5.08.1938. Приговорен ВКВС 10.03.1939, обв.: участие в к.-р. шпионско-тер. организации. Расстрелян 10.03.1939. Реабилитирован 27.02.1958».

Сережа был призван в армию осенью 1941 г. и как ученый направлен в похоронную команду, которая считалась безопасным местом. Вскоре они попали под немецкий артобстрел. Как сообщил его фронтовой товарищ, Сереже оторвало ногу, и он умер от потери крови. Женя остался в блокадном Ленинграде. В 1943 г. его полумертвого от голода вывезли из города. Эшелон прибыл в Вологду, где блокадников накормили обедом. Съев миску щей, Женя в муках скончался.

Людмила Григорьевна запомнилась мне шумной и никем не любимой теткой. Мы звали ее «громкоговоритель». Она была одинока. Приходила к обеду, круто солила все блюда, включая селедку, и непрерывно говорила, не давая никому слова вставить. У нее были буйные седые волосы, зачесанные наверх, и сверху – волан. Она пропала во время войны.

После ареста мужа Нина Евгеньевна продолжала жить в комнате на Ново-Рязанской. Она никогда не жаловалась на судьбу, преждевременно отобравшую у нее всех близких, всегда выглядела бодрой и жизнеутверждающей. В комнате все сохранялось, как при жизни мужа и сыновей. Мне запомнились прекрасно сделанные Сережей и Женей модели кораблей, старинная мебель, привезенная из Тифлиса (резные шкафы разделяли комнату на две половины – столовую и спальню). Все уцелевшие родственники и многочисленные знакомые собирались в день ее рождения. Она щедро угощала грузинскими кушаньями, сладостями и наливками, которые сама готовила из даров кавказской земли (у нее в Тбилиси жила сестра Людмила Евгеньевна, в свое время вышедшая замуж за видного тифлисского врача Пирадова). Целый год экономила со своей крохотной пенсии, чтобы задать такой пир.

В 1962 г., когда в Москву приехал композитор Игорь Стравинский, тетя Нина (мы так ее звали) впервые сказала мне о родстве нашей фамилии со Стравинскими. Она подарила мне фотографии младенца Игоря, которые принадлежали его крестной матери Ольге Димчевской и крестному отцу Григорию Димчевскому. Фотографии я послал в гостиницу «Националь», где жил Стравинский. Он получил их в день отъезда, и тем не менее, ответил на своей визитной карточке, большой, как открытка: «Н. В. Димчевскому моя искренняя благодарность за мою детскую фотокопию. Я оч. тронут Вашим вниманием. С сердечным поклоном Игорь Стравинский Москва 11/62».

Родословная моей бабушки Анны Васильевны (30.1.1872–1952). Отец ее Василий Алексеевич Алексеев бы из московских мещан. Есть семейное предание, что он состоял в родстве с актером К. Станиславским, истинная фамилия которого Алексеев. Василий 25 лет прослужил солдатом. Участвовал в Крымской войне, где получил солдатский крест за храбрость. Вернувшись после службы

отставным унтер-офицером, уже пожилым человеком 45 лет, женился на молоденькой Надежде Ивановне, нашей прабабушке. Она была крепостной крестьянкой. Барыня к ней настолько благоволила, что усадила учиться вместе со своими детьми, и Надя получила неплохое для крепостной образование. Вышла замуж, когда ей было около 20 лет. Вместе прожили они довольно долго. Василий Алексеевич в конце жизни ослеп. Его как участника Севастопольской обороны приняли в богадельню князей Куракиных (Ново-Басманная, д. 4).

У них родились три дочери: старшая Мария, младшая Ольга и средняя Анна. В моем детстве бабушка Анна часто водила меня в гости к своим сестрам. Мария Васильевна с мужем Константином Александровым жили в одном из переулков за Разгуляем в деревянном 2-этажном доме, где занимали весь верх (две комнатки и кухня – по тем временам невообразимая роскошь). Сыновья их Сергей и Константин были очень дружны с моим отцом, их двоюродным братом. Константин стал моим крестным отцом. Мне запомнилась подушка, лежавшая на диване. Жена дяди Сережи Наташа вышила на ней шелком сыча. Перелив красок делал его живым, и ждалось, что он слетит с подушки. Лет через 40 я прочитал стихи Ахматовой: «Мурка, не ходи – там сыч на подушке вышит» и понял, что видел модную в свое время вещицу.

Ольга Васильевна с мужем Илларионом и детьми Зинаидой и Виктором жили на Самотеке в переулке, на 2-м этаже деревянного дома. В отличие от уюта и согласия у тети Маши, здесь были постоянные скандалы и разлад. Илларион крепко пил. Все, кроме Виктора, умерли еще до войны. Виктор работал чертежником, был скептичен и зол на всех.

Анна Васильевна, моя бабушка, вспоминала детство, когда их семья жила «на Ольховке». Тогда это была речка – сейчас Ольховская улица. Девчонкой Анна носила белье полоскать в пруду, на месте которого ныне громоздится Казанский вокзал. Из выписки из метрической книги узнаем, что Анна родилась 30 января 1872 г., крещена 2 февраля; 29 ноября 1882 г. «причислена в мещане г. Москвы». 13 ноября 1898 г. Анна повенчана с коллежским регистратором Вячеславом Осиповичем Димчевским, веры православной.

Вячеслав Осипович, мой дед, окончил Московский межевой институт. Видимо, в связи с его специальностью землеустроителя, семья после непродолжительного пребывания в Москве, кочевала по разным городам тогдашней России. Жили в Кишиневе, в Житомире, затем перебрались в Рязанскую губернию, где сменили несколько городов (Егорьевск, Сапожок); осели в Спасске, где дед служил помощником Спасского, Рязанской губернии уездного исправника. Он был хлебосолом, любителем вкусно поесть, выпить хорошего вина. Когда жили в столице, послал Анну в помощницы к повару «Славянского базара», чтобы научилась готовить, и она стала отменной кулинаркой.

В Москве у них родились сыновья: Николай, Владимир и Василий, который умер в раннем детстве, оставшись в памяти как «Василька». Старший Николай (родился примерно в 1894 г.) был очень способным юношей. Окончил гимназию в Рязани, был лучшим учеником по математике, знал французский, латинский и греческий языки (писал на них письма к знакомым), собрал одну из первых в России футбольных команд. После гимназии поступил в Николаевский кораблестроительный институт в Петербурге. В начале войны 1914 г. перевелся в пехотное юнкерское училище с ускоренным курсом обучения. Помимо родителей, деньгами ему помогал дядя Василий Осипович. Николай ездил к нему в гости на фронт в 1916 г. Дядя послал на станцию «Двинск» двуколку с денщиком – встретить племянника и отвезти к нему на артиллерийские позиции... После окончания училища и присвоения офицерского звания, Николая направили на Кавказ. Несколько дней он пробыл в Тифлисе у Димчевских (угол Гоголевской и Фейерверкерской улиц, дом Ольги Игнатьевны Димчевской). Вероятно, Григорий Васильевич к тому времени скончался. Затем Николая Вячеславовича направили в Дербент. Во время Гражданской войны он погиб на Кавказе. Есть две версии его гибели. Первая – будто он погиб от рук взбунтовавшихся казаков в Дербенте. Вторая – он застрелился в Новороссийске на пирсе, когда садились на корабли, уходившие за границу.

Владимир Вячеславович учился в реальном училище в Спасске. Старший брат был его идеалом – он мечтал о карьере военного. Сохранились его тетради с подробным разбором операций, проводившихся русскими войсками

в 1914 году. Начав учебу до революции, он завершил ее в средней школе в 1918 году. В школе же познакомился с Катей Бадаржновой, своей будущей женой. Заболев тифом с тяжелыми осложнениями на сердце и слух, Владимир всю жизнь потом страдал от глухоты, во многом определившей его тяжелый характер, замкнутость, необщительность.

Василий Осипович в эти годы страдал неизлечимой болезнью ног (сначала было трудно ходить, затем он смог только сидеть в кресле). Как ни странно, после революции его не преследовали и он даже получал пенсию. В скуке сидячей жизни сек котов, которых Анна во множестве развела в доме (она была любительницей собак и кошек). Умер он в начале 20-х годов. Анна Васильевна выделялась среди жителей Спасска увлечением театром – она организовала драматический кружок, в котором была режиссером и актрисой.

После окончания школы и выздоровления Владимир Вячеславович поехал в Москву, где поступил в школу военной маскировки. Сбывалась его мечта о военной карьере. Единственно, что очень не нравилось – это политизация армии. Комиссары были вне казарменной жизни – пробуждались, когда учеба и работа в части шла полным ходом, к ним относились как к бездельникам и пустозвонам, но они помыкали всеми от командиров до курсантов. Однако школу вскоре расформировали, и Владимир поступил в Инженерно-строительный институт, что на Разгуляе. Общежитие располагалось в сторожке на краю огромного парка перед бывшим домом князей Куракиных на Ново-Басманной. Туда приехала из Мосолова Катя, и они поженились. Когда у них родился сын Николай (31.05.1926), молодой семье дали комнату в доме Куракиных (Ново-Басманная, д. 4, кв. 6). Комната (служившая ванной в старое время) была на 2-м этаже, как раз над той, где когда-то жил в богадельне наш прадед Василий Алексеев, участник Севастопольской обороны... Здесь родилась дочь Зоя (30.01.1929). Крестным отцом детей был двоюродный брат Владимира Константин Константинович Александров и подруга Екатерины Вера Петровна Базикина (впоследствие Моронг).

В 30-е годы на месте парка построили дом для чиновников НКПС, который навсегда загородил солнечный свет, и мы почти сорок лет прожили в полутемной сырой комнате. В 1935 году Николай пошел в школу, сразу во 2-й класс

(первый год проболел – осложнение на сердце после скарлатины). В 1941 году летом уехали в Мосолово; в июне началась война, и дети с мамой остались в «эвакуации», как тогда это называлось. В 1944 г. вернулись в Москву. Николай поступил в МГУ на философский факультет. Зоя по окончании школы поступила в педагогический институт, затем работала в школе учителем русского языка и литературы. В 1968 г. ее направили преподавать русский язык в Индонезию, потом она преподавала в Болгарии, в ГДР. Вернувшись в Москву, работала в школе до самой пенсии.

Окончив в 1949 году МГУ, Николай женился на однокурснице Рафаэле Трофимовне Сверчковой (р. 1926), принадлежащей к роду Н. В. Гоголя по линии сестры писателя Ольги Васильевны. В том же году они уехали на работу в Астрахань, где стали ассистентами педагогического института. В 1952 году, поступив в аспирантуру МГУ, вернулись в Москву. Николай защитил диссертацию по философии, но ученая степень не была утверждена в ВАКе, книгу председателя которого критиковал в своей работе диссертант... Николай поступил преподавателем истории в строительный техникум, затем на телевидение редактором научно-популярных передач для детей; вскоре перешел литсотрудником в журнал «Новое время»; потом в Совинформбюро в журнал «Край Рад» на польском языке; затем в газету «Советская Россия» и осел в книжном издательстве «Советская Россия», где проработал 25 лет. Основным своим занятием всегда считал литературу. В 1944 году его стихи высоко оценил А. Н. Толстой. Но лишь в 1959 г. А. Твардовский напечатал стихи в «Новом мире» (№ 11), а затем В. Солоухин и Б. Окуджава – в «Литературной газете». Первая книга стихов «Прорубь» и книга прозы «Калитка в синеву» вышли в 1968 г. Ему удалось издать 12 книг стихов и прозы.

В 1964 году в семье Николая появились двое приемных детей, родившихся в Рязанской области – мальчик Валентин (1953) и девочка Юлия (1958). По окончании школы Валентин поступил в Автодорожный институт, который закончил после службы на Северном флоте. Работал в Москве, женился на Татьяне. У них родились дочь Ольга (1980) и сын Дмитрий (1987). Затем заведовал автохозяйством посольства России в Польше, потом в посольстве России в Швеции. Юлия после окончания балетного училища при

Институте культуры, поступила в балетную труппу Московского цирка на Ленинских (Воробьевых) горах, где успешно выступала. Особенно удачными были ее выступления с кубинским артистом, когда она исполняла латиноамериканские танцы. Уже в юности у нее появились симптомы рассеянного склероза. Со временем из-за болезни пришлось оставить балет. Несколько лет она пролежала в постели; за ней ухаживала мама Эля. В 1998 году Юля скончалась. Юлия была замужем за Александром Галимхановым. У них родилась дочь Ольга (1985). По окончании школы (2002 г.) Ольга поступила в Гуманитарный университет на факультет политологии.

В 1972 г. Николай расторгает брак с Р. Сверчковой. В 1973 году женится на Лидии Федосеевне Бабаевой, преподававшей математику в институте в Новосибирске, затем в Минске. У них двое детей – Екатерина (1970) и Константин (1974). Екатерина после окончания Горного института работает в голландской фирме по продаже сельхозмашин. Она побывала в Нидерландах, Франции, Бельгии, Италии, Англии и других странах. Увлекается разведением домашних цветов и аквариумом. Константин после окончания Энергетического института (факультет радиоэлектроники), работает специалистом по компьютерам в английской фирме. В юности писал маслом пейзажи, резал по дереву, сейчас увлекается фотографией. Женат на Светлане; она окончила финансовый институт и работает по специальности.



МЕШОК С ОБЛОМКАМИ ДВАДЦАТОГО ВЕКА





Обломок 1

На станцию отправлялись затемно с расчетом попасть на утренний поезд, а если не повезет, то на обеденный.

День отъезда был самым гадким из всего года, о нем не хотелось думать и вспоминать.

Вокзальчик нашей станции «Шелухово» освещен одной керосиновой лампочкой-«трехлинейкой», мерцавшей и коптившей под потолком. В дверь втискиваемся с трудом, переступая через мешки, людей и ноги. Небольшая клетушка перед кассой плотно забита отъезжающими. Воздух сперт – «хоть топор вешай». Лампа задыхается. Огонек красной змейкой вытягивается за стеклом – хочет схватить глоток

воздуха – и вновь опадает вниз, едва светится желто-синим глазком.

Под окошечком кассы недвижно сидят («как навозная куча») пришедшие со вчерашнего вечера и захватившие лучшие места. Их человек десять-пятнадцать. Все на мешках, на корзинах, на фанерных чемоданах. Настоящий редут, который вновь пришедшим, вроде нас, никак не взять. Билетов «дают» по пятнадцать-двадцать на каждый поезд, так что наша надежда уехать сегодня совсем призрачна.

До прибытия состава еще больше часа. О свободных местах скажут минут за тридцать... И за эти полчаса надо пробиться к кассе, взять билет, выскочить назад, схватить детей и вещи и добежать до вагона... А если вагон последний в составе – маячит где-то на путях, далеко от станции... Бежать с узлами, корзинами, детьми... Поезд стоит у нас всего две минуты.

Наша мама – испытанный боец на транспортном поле битвы. Вся надежда на нее. Она заранее все продумала и расставила своих помощников – наших теток, дядьев и добрых соседей. Вещи в вокзальчик не вносят – оставляют со сторожами у самых путей. Внутрь берут лишь меня с сестрой (мне семь, ей четыре годика), чтобы не мерзли на утреннем ветру.

Мама ставит нас под опекой тети Гали в самый дальний уголок вокзала, а сама вклинивается в кучу мешков, корзин и мало отличимых от мешков баб – поближе к кассе. На нее ворчат сонные голоса: «Куды пресси? Тута все занято!» Мама выискивает свободный клочок пола и встает – помещаются как раз обе ноги. Сонные голоса постепенно смолкают, и мама приживается на этом близком к кассе месте.

Ожидание мучительно скребет душу.

Наконец, в окошечке кассы, перехваченном железными полосами, слышится щелчок задвижки, и загорается щелка над деревянной ставней, прикрывающей заветный проем. Слышится невнятный голос кассирши, звучащий сейчас как глас самой Судьбы.

Тотчас над узлами и корзинами поднимаются черные пятна ожидающих, они сгрудились у окошечка, по-дневному громко загомонили, взметнулась перебранка – кто встал раньше, кто потом, кто вовсе не стоял. Мама укоренилась где-то внутри этой гомонящей толпы – теперь ее уже нельзя вытолкнуть, она зажата со всех сторон.

Тем временем к толпе бросились все ожидавшие поезда, и превратили ее в большой бесформенный ком, голосящий и орущий на все лады.

Заплакали разбуженные дети, закашляли и заохали старики, грохнули вокзальные двери, впуская безнадежно опоздавших.

Никакой очереди нет и в помине – каждый надеется лишь на собственные локти, а то и на кулаки.

Два парня из опоздавших бросаются к толпе и пробуют вклиниться, отдирают от общего кома ломовую бабу в кацавейке, встают на ее место; баба ревет белугой и подвывает благим матом. Покуда все отвлечены этим событием, второй парень берет в зубы деньги и ныряет под ноги толпы, ползет по узлам и корзинам при всеобщем возмущении и пронзительной ругани.

Через несколько мгновений он выныривает неподалеку от кассы. Его бьют по башке, тычут в харю, щиплют и визжат, но он невозмутим – всех расшвырял и оказался у самого окошечка, ухватился за железные полосы, прирос – не оторвешь.

Изредка мы видим лицо мамы, зажатое со всех сторон. Она там, в самой свалке, но разве может она поспорить с ловкачами, вроде только что появившихся парней?..

Ставня окошечка открывается, усиливая гвалт и гам. Истошно завопили бабы, зарычали мужики, толпа у кассы сжалась так, что из ее середки послышался треск разрываемых одежд.

Нахальный парень первым выплюнул в кассу деньги, которые так и держал в зубах, подхватил билеты, нырнул вниз и не замечая тычков и ляганий, выполз на карачках между ног бесновавшейся толпы, растворился в темноте.

– Прекратите кричать! – визгнула из окошечка кассирша. – Пока не перестанете, отпускать не буду!

Слегка попритихли, но свалку не кончили, а при свалке без крика не обойтись – снова загомонили, завопили, заголосили.

Получившему билет счастливчику выбраться из толпы так же трудно, как и влезть в нее. Застрявшая у кассы баба радостно машет над головой билетом, но сдвинуться с места не может, и радость сменяется страхом остаться тут, в свалке и не успеть на поезд.

– Варькя! Варькя! Подмогни жа! Выташшы мине отседа!

– Дык, как жа я табе выташшу-та? Лягайси сама, вылазь, дуришша!

Наконец, выдралась, шаря по плюшевой кацавейке оборванные пуговицы.

Всего двое получили билеты, а время-то бежит... Вот-вот и поезд гуднет, подваливая к станции.

Один за другим выныривают счастливцы с билетами, идут к своим детям и узлам. Они сразу обретают степенность и с превосходством поглядывают на окружающих.

Где же там наша мама? Изредка мелькает ее раскрасневшееся, искаженное лицо в растрепе сбитых волос. Она все ближе к кассе, толпа, давя и сминая, все же теснит ее в нужную сторону. Мама верно уловила течение, неподвластное ни разуму, ни логике.

И вот она уже ухватилась за железные полосы, нагнулась к окошечку... Покупает. Покупает! Неужто?!.. Готово!

Повернулась к нам лицом, лезет через толпу. И вот уж близко к краю... Растолкать последних баб, прилипших к людскому кому... Расталкивает левой рукой и всем телом. В правой, поднятой над головой – радостными бабочками трепещут билеты. Достала! Достала! Едем!

Вот пролезает через последнюю живую преграду. Вот вышла из свалки. Что-то в ней непонятное, странное... Она была одета в ветхое серенькое платье, а теперь она в белом... Боже! Да она ж в одной комбинации... Платье лопнуло и разлезлось в толпе, остался лишь правый рукав на поднятой с билетом руке... Мама вытягивает остатки платья левой рукой из толпы – оно превратилось в длинную бесформенную тряпку.

Мама совсем мокрая, как из парной, сырые пряди прилипли ко лбу, одна бретелька у комбинации лопнула. Еще миг и мама окажется даже без исподнего...

Тетя Галя кидается к ней, подбирает обрывки платья, и набрасывает ей на плечи, достает булавку, закалывает коекак спереди... Ну, хоть так... хоть исподнего не видно...

И все ж мама радостно улыбается. Скорей, скорей на волю, на пути, у нас шестой вагон!

Вырываемся наружу. Как дышится легко! Какое утро светлое!

Кто-то из провожающих дает маме шерстяную кофточку. Теперь прорех в платье почти не видно, будто так и надо.

Взрослые хватают вещи, бегут к месту, где должен по их расчету встать шестой вагон.

Вдали заклубился крутой дым, потом показался паровоз.

Точно угадали! Прямо перед нами шестой вагон! Подсаживают на узкую площадку нас с сестричкой, маму, подают чемоданы, корзину, прощаясь при этом и вразброд говоря...

Московский поезд трогается.

Вагон тесный, маленький, постройки времен царя гороха. Средние полки в нем соединяются впритык и образуют сплошные нары. На них можно поместить в ряд четверых, а то и шестерых.

Где-то в середине вагона отыскалась для нас совсем свободная такая полка. Настоящая семейная! Забираемся, рассовываем чемоданы и корзину. Мама достает иголку с ниткой и принимается наспех заметывать растерзанное платье.

За окном уплывает в прошлое лето тридцать третьего года.

* * *

После той очереди за билетами на московский поезд прошло больше сорока лет. И вот я сам, сделавшись отцом, стою в столичной очереди за молоком для детей. Время рассчитано точно: купив молоко, надо отнести домой и тотчас ехать на работу. Магазин открывается в восемь утра. Обычно я занимаю очередь в семь и оказываюсь в первых рядах, а сегодня проспал и пришел на полчаса позже.

Очередь уже протянулась от входа за угол магазина и жмется вдоль стены под холодным ветром со снегом. Конец ноября. Рассветная муть. Встаю с тревожным предчувствием неудачи.

Подкатило урочное время. Очередь дрогнула и быстро двинулась вперед. Но быстрота эта обманчива. Завернув за угол, видишь, что все стоявшие по порядку, теперь сгрудились у дверей и лезут теперь уже как попало – кто вперед продрался, тот и успел. У входа знакомая до осточертения свалка, крики, ругань...

Одним из последних вваливаюсь, наконец, в магазин и сразу понимаю, что проиграл.

В середине зала выставлен всего один (вместо обычных двух) решетчатый контейнер с литровыми пакетами молока. Вокруг него настоящая схватка. К открытой дверце тянется сразу десяток рук, хватающих вожделенное молоко. Бумажные пакеты в те годы делать еще не научились – многие из них текут, поэтому взяв пакет, надо прежде повертеть его – убедиться, не худой ли. Если худой – бросить назад в контейнер или просто на пол и добраться до целого. В ходе такого судорожного отбора в контейнере остаются лишь порванные, истекающие молоком образцы новейшей тары. Белые ручейки стекают под ноги, толпа топчется в большой молочной луже. Злобные перебранки, оскорбления и насмешки неизменно сопровождают это раннее торговое действо.

Я не могу себя заставить ринуться в гущу толпы и чего-то жду, хотя отчетливо осознаю, что с каждым мигом моя возможная удача утекает из недоделанного на молзаводе пакета.

Я отрешенно наблюдаю совершенно не касающуюся меня другую картину: неподалеку возле двух прилавков протягиваются очереди – одна за полтавской колбасой, другая за яйцами... Очереди эти замысловато пересекаются, переплетаются, перетягиваются из одного конца зала в другой. Там страсти только разгораются, накал еще не велик – все только готовятся к долгой стоянке.

Толпа возле молока уменьшается, и я могу, наконец, подойти вплотную. Жалкое зрелище. Неудачники перебирают мокрую порванную тару, стоя в молочной луже... Когда я протягиваю руку, в контейнере валяются всего три пакета. Один безобразно измятый с дырой по гребешку, почти пустой. Второй уберегший лишь половину содержимого, и третий такой же... Из двух едва набирается один. Чувствую себя разбитым и оплеванным. Не успел, не шустер, не хватаю темп жизни...

Ухожу, оставляя за собой синеватые, прокисающие следы, и слышу, как в очереди за спиной женский голос пронзительно кричит (вероятно, знакомой, только что вошедшей в магазин): «Маруся! Лезь за колбасой через яйца!»

* * *

Но самые грандиозные, самые нелепые и чудовищные очереди достались мне через шестьдесят лет после первой, с которой я начал эти «очередные» записки.

Очереди за водкой превзошли самое безобразие в его наигнуснейшем обличье.

У нас на южной окраине Москвы в мае 1990 года водку «давали» «по две бутылки в одни руки» после предъявления паспорта с московской пропиской. Это ограничение проводилось с помощью нового, ранее невиданного, технического ограничителя: около окошечка винного ларька возвели мощное ограждение из толстенных стальных труб, соединенных с помощью электросварки и укрепленных в бетонных фундаментах.

Ограда начиналась метров за двадцать и шла вдоль стены, в которой было прорезано окошечко именовавшееся «ларьком». Ограда отстояла от стены на ширину плеч, с расчетом, что два покупателя рядом встать не могли – только по одному, в затылок. Таким путем инженерная мысль собиралась решить проблему свалок средь страждущих, выстроить всех по четкому ранжиру. Замысел был прост и изящен. Получилось же вот что...

Гул, крики и ругатня возле заветного источника слышны еще издали. Подойдя поближе, видишь лишь хвост очереди, вобравшей сотни душ. Страсти бушуют впереди, куда мы доберемся очень не скоро.

Встаю в конец, где стояльцы еще спокойны и рассудительны – справляются, кто за кем, занимают свое место, запоминают соседей спереди, а потом и тех, что подошли попозже.

Не простояли и пяти минут, как за нами набежало еще с десяток покупателей. Майское солнышко припекает, но мы пока далеко от стены – стоим на открытом месте, где продувает ветерок и не так жарко.

Передо мной тетка в зеленом плаще, высокая, сухая с лицом, испекшимся в житейском пламени. Едва я встал, как она тут же мне сообщила, что ей надо шесть бутылок, потому что впереди юбилей – исполняется пятьдесят пять... Заняла три очереди: первая уже далеко впереди, скоро туда перейдет и просит меня не забыть ее, а третью займет вскоре, человек через тридцать. Она беспокойна, не может

удержаться на одном месте, переходит от одного к другому и всем рассказывает о причине своего стояния и о шести бутылках, без которых не обойтись.

Моя причина, понудившая принять сегодняшнее испытание, близка к ее – приближается хоть и не юбилей, а всего лишь обыкновенные шестьдесят четыре, но все равно без огненной воды не обойтись.

За мной угнездился мужичок лет тридцати. Он в рабочей куртке и такой же замасленной кепке. Видно, улизнул с работы и переживает, что стояние затягивается. Молчит, поглядывает на часы.

Томительно медленно подвигаемся вперед. Любая немощная черепаха за это время не раз одолела бы расстояние до мутного окошечка винной палатки. За час миновали десяток метров. Еще не подошли к стене, в середине которой заветная цель.

Все здесь стоящие вроде бы оцепенели, впали в полудрему, спят с открытыми глазами.

Слышу за моей спиной старушечий голосок: «Я за ним занимала. Отошла вот за хлебом...» Это она рабочему говорит. Тот молчит, и старушка немедленно втискивается между нами.

Я хорошо помню, что никто не занимал, но тоже молчу. Не потому, что пожалел старушку – просто неохота прерывать полусон.

Едва старая укрепилась на месте, к ней подошел парень, они пробормотнулись о чем-то, понятном лишь им, затем появился другой молодец с черной сумкой в руке, из его бормотанья выяснилось, что он занял еще одну очередь, а кто-то из их бражки еще и еще... Принялись считать наличные и переводить в бутылки.

Только тогда до нас, бескорыстных и бесхитростных, дошло, что мы, сами того не подозревая, хорошо помогли водочным спекулянтам.

Водка нынче по всей Москве большая редкость. Давеча был я в центре. Знаменитый винный магазин в Столешниковом переулке. На двери повергающее в уныние объявление: «Отпуск водки только для ритуала похорон жителей Свердловского района» и рядом листок поменьше: «Отпуск водки по талонам не производится».

В гастрономе «Москва» винный отдел пуст (как, впрочем, и остальные). Лишь у Елисеева в винном зале «дают»

шампанское, и очередь закручена тугой пружиной на многочасовое стояние...

Между тем мы вышли на финишную прямую. Сонная одурь слетает. Теперь не до сна и сновидений.

У окошка палатки перед железной огородкой бушует полупьяная толпа. Сплошь упитанные парни лет двадцати-двадцати пяти. Все уже выпимши и подвыпимши, многие не вяжут языком лыка, а лишь громко и невнятно шумят. Однако и те, кто еще может говорить, выкрикивают на разные лады два-три матерных слова, передавая столь нехитрым набором свое видение текущего момента.

Больно и тошно смотреть на лица молодых алкоголиков. Вернее на то, что недавно еще было лицом, а ныне стало маской, харей, стертой личиной. Мутные полузакрытые глаза, пена в уголках синеватых губ, воспаленные красные или болезненно розовые щеки, спутанные волосы, грязная одежда...

Их человек двадцать. Они весь день толкутся тут, отходят в соседние дома, выпивают, может быть, кемарят чуток и возвращаются назад. Среди них две девки.

Одна довольно эффектная, модно одетая, подкрашенная, подвитая, стоит рядом с модником парнем. Парочка эта почти не пьяная, так слегка «подшофе» для куражу. Приглядевшись, понимаешь, что она и он – центр всей толпы. Остальные беспорядочно болтаются по пятачку перед палаткой, время от времени подходя к королю и королеве, что-то им бормочут, что-то слушают в ответ и отходят.

Вторая девка с пунцовым лицом, в растрепе косм, давно не чесаных и не мытых, едва держится на ногах. Она стоит раскорякой, опираясь на трубу ограждения напротив окошечка, вокруг которого весь сыр-бор, и мутным взглядом следит за покупателями. Выждав момент, когда покупатель покажется ей нерешительным или слабым, отрывается от опоры, выметывается из-за ограждения и почти падает на узкий прилавок:

– Ш-ш-шурочка, дорогуша, мне пару пузырей, паж-жжалста!

Очередник начинает возмущаться, но девка легла на прилавок, оттеснила его потным плечом, забила собой амбразуру, сунув обе руки в окошко.

Миг – и она с двумя «флаконами» в руках отходит в сторону и неуловимо оказывается возле королевской пары.

У их ног стоит большой черный баул. Королева берет бутылки и аккуратно опускает в недра баула.

Девка вновь, раскорячившись, занимает свою позицию у изгородки.

Тем временем к королю подошел парень с малиновой рожей. Они что-то обсуждают, что-то объясняют друг другу. По тому, как король отвечает все громче, а парень все нахрапистей гнет свое, видно, что король очень недоволен. Наконец, он решительно оттесняет парня к краю мутноглазой толпы, неожиданным ударом в харю валит его на землю и спокойно возвращается к своей водочной королеве.

Парень без признаков жизни неподвижно лежит, уткнувшись в землю, никто из окружающих не выказывает ни малейшего беспокойства. Произошедшего не замечают и продолжают толчею.

Осуществив кулачное правосудие, король занимает тронное место рядом с королевой и черным баулом.

Именинница в зеленом плаще, стоящая впереди меня, в ужасе шепчет: «Убили... убили... Надо “скорую” вызывать...»

Подойти к убитому никто не решается. Все понимают, что это внутреннее дело собравшейся тут полупьяной бражки и вмешаться, значит навлечь внимание со стороны короля и его подручных, которые, конечно же, не одобрят такой добровольной помощи.

Очередь ропщет внутри себя, осуждает убийство, но никто не сделал ни шага, не бросил ни словечка против жестокого предводителя пьяной когорты. Все понимают, что он здесь главный, самый сильный и непререкаемый, а сотня мужиков-очередников – просто тьфу и только...

Убитый лежал минут десять, потом повернулся, медленно встал, отряхнул пыль с колен и спокойно, будто ничего не случилось, пошел к королю.

Все ждали новой вспышки перебранки, даже поножовщины, но «убитый» доброжелательно, извинительно улыбаясь стал что-то вполне почтительно говорить королю, а тот снисходительно слушал...

За дальними деревьями мелькнула желто-синяя милицейская машина и повернула в сторону ларька.

И тотчас лихая бражка испарилась, будто не было никакого короля, королевы и их черного баула. Только один

в усмерть надравшийся участник команды спал, прислонившись спиной к столбу огородки.

Стоявшие в очереди тоскливо понадеялись, что с милицией пожалует сюда и порядок. И верно. Нахальные молодцы перестали вклиниваться и без очереди лезть к окошку.

Из машины вылетели двое милицейских, подбежали к спавшему на припеке, подхватили под руки и поволокли к машине.

– План по вытрезвителю выполняют... – упавшим голосом определил мой сосед.

Затолкав пьянчужку в машину, стражи порядка собрались уезжать и уже отъехали на десяток метров; и в очереди зароптали, засокрушались, что так мимолетно промелькнул порядок и спокойствие и что сейчас опять нагрянет полупьянь и произвол.

Но машина остановилась, дала задний ход, и уже кто-то с облегчением громко одобрил решение милиции остаться.

Из «газика» выскочил мент без фуражки со свернутой сумкой под мышкой; пряча глаза от взглядов очереди, он мигом подскочил к палатке, постучал в дверь: «Шура, это я...» Скрылся в винных недрах. Выскочил, перегнувшись под тяжестью нагруженных в сумку бутылок.

В очереди кто-то громко рассмеялся: «Наша милиция нас бережет!» «Вот гады, и не стыдно...» – покачала головой моя соседка.

Безфуражечный страж порядка, жуликовато пригнувшись, побежал к машине, впрыгнул, грохнул дверцей, и законная власть укатила.

Мгновенно появилась запьянцовская бражка в полном составе. Королевские слуги еще нахальней полезли без очереди.

Три верзилы, с натугой вязавшие лыко языками, подошли к окошку, оттеснили очередников; ни на кого не обращая внимания, принялись забирать бутылки и передавать дружкам.

Очередь вовсе остановилась. Тихонько роптали, робко пережидали, но никто не выступил против.

Наверное, этому было объяснение – ведь для большинства стоявших купля водки была в общем-то случайным событием, совсем необязательным, была как бы завитком в житейском вихре. А для полупьяных нахалов толкание

у ларька стало основным занятием, жизненной необходимостью, работой, без которой невозможно существовать. Перепродажа давала во много раз больше, чем затрачивалось. Отравленный алкоголем организм постоянно жаждал добавки. Так что откуда ни посмотри, им требовалось непрерывно толочься у этой роковой черты.

И все ж, как ни объясняй, очень обидно стоять в пяти шагах от ларька и не продвигаться ни на шаг.

Эти пять шагов – самые драматичные и небезопасные. Вот, перепрыгнув через железную загородку, сизорожий ловкач быстрым движением снизу вверх вклинился между моей соседкой и ее соседом спереди.

– Куда лезешь? Тебя тут не стояло! – визгнула тетка.

Сизорожий обернулся, ощерился:

– Не свисти, сука, свистульку вырву на х...

– Не стояло...

– Я грю, не пыли – пыльник порву!..

И все ж мы добыли свое украшение праздничного стола. Поскорей сунули бутылки в сумки, чтоб не вырвали из рук страждущие разбойники.

В конце очереди, разросшейся до уличных деревьев, показался милиционер в сером плаще и с дубинкой в руке. Он ни шатко ни валко двигался к ларьку. Но для нас от него уже не было никакого проку...

Мне приходилось участвовать во множестве подобных свалок у касс, у прилавков, у окошек выдачи и еще, черт знает у чего. Странно, что в этих запарках никогда, никому не приходило в голову выстроить очередь и спокойно получить билет, колбасу, вид на жительство, картошку... Нет, всегда свалка, давка, драка. Почему? Видно, потому, что встать в очередь, значит признать право на выигрыш у тех, кто ближе к кассе, к прилавку, к раздаче. Мы этого права не хотим признавать и надеемся на авось, на силу локтей и кулаков, которые вроде бы скоро и без особого труда решают задачу в нашу пользу. В результате теряем уйму времени и сил на пустяки, на плевое дело, которое другие народы научились разумно делать много веков назад. Однажды, как поведал летописец, наши мудрые предки даже пригласили варягов – подсобить в установлении порядка в нашей многовековой свалке вместо очереди, но у тех не очень-то получилось... И вот мы входим в третье тысяче-

летие в полной неразберихе, в безобразии и драке всех со всеми, чтоб продолжить нищенское житье. И теперь ясней ясного, что счастливого билета на поезд в будущее нам не видать никогда.

Присловье 1

В апреле 1991 г. похоронили сорокалетнего человека, умершего от пьянства. В конце жизни, ложась спать, он клал под подушку пять бутылок вина, которые выпивал за ночь, иначе не мог уснуть. Когда-то он был директором гастронома, и доступность винного склада его погубила. В конце жизни в этом же гастрономе работал грузчиком.

Присловье 2

Самогон и пьянство быстро старят мужиков. На проселочной дороге мы встретили телегу. Правил крепкий, бодрый, чисто выбритый человек. Рядом, свесив безвольно болтающиеся на всякой колдобине ноги, сидел сутулый, едва державший равновесие старик: седая борода неряшливыми клочьями улепила лицо, свернутое в ком грязноватых морщин, рассеянный взгляд осклизлых глаз выражал лишь тупую покорность.
Правил семидесятилетний отец, который вез в больницу сына, которому не исполнилось еще и сорока... 1997 г.

Присловье 3

В июле 1997 г. в одном из рязанских поселков помер парень 25 лет, допившийся до того, что весил всего 50 кг. В день смерти, будучи уже сильно «на взводе», поспорил с кем-то из местных пьянчужек, что выпьет без закуски поллитровку водки. Выпил, выиграв спор, кое-как добрался до дома и умер в подъезде.





Обломок 2

Марья встала пораньше, хотела успеть перед выходом в поле до появления Пимыча сварить ребятам картошек и щей на весь день.

Пимыч нынче не торопился гнать баб на работу, и она радовалась, поглядывая в печь, где уже вовсю кипела картошка, а щи поспевали – их она отодвинула к загнетке, чтоб млели в жару...

И тут размахнуло дверь. Пимыч разом очутился рядом, постукивая по голенищу ременной плеткой. Он никогда не отличался учтивостью, сгоняя свое рабочее стадо, а тут зарыкал как бешеный бык.

– Ах, ты, блядишша, эх, сука драная! Табе чаво ж отдельна гнать? Все бабы сами давно собралися, а ты не чешысси! – искривился, передразнивая ее испуганное оправдывание: «Ка-артохи варю, щец ребятам». Я табе покажу, как прохлаждацца! Вот табе, сука, вот табе! – стебанул плеткой.

Вырвал из Марьиных рук ухват и с надсадой принялся шуровать в печи. Повалил дым, ударил пар. Щи и вода из чугунка с картошкой залили пламя, смешались с углями.

Марья закричала, заголосила, Пимыч вдругорядь огрел ее плеткой вдоль спины и вытолкал на улицу в осеннее утро сорок третьего года. В избе завыли разбуженные дети, спавшие на печи. Кто мог тогда вступиться за жену погибшего фронтовика?

Случай этот до сих пор режет душу. А тогда о нем шептались по углам в селе, недобро поминая Пимыча. Так, вероятно, в иных временах говорили про надсмотрщика за рабами. Считалось, что должность эта спасала от фронта, поэтому выживали на ней самые жестокие и держались за нее, готовые выгнать в поле хоть мать родную, хоть старуху больную.

Мне редко доводилось видеть этого человека. Помнится, был он низок ростом, очень широк в плечах, обтянутых жеваным ватником, на башке бесформенная шапка, ноги в порыжелых кирзачах; в правой руке, большой, клешнятой и грязной – неизменная плетка, висевшая на петле, охватившей кисть. Все это сразу бросалось в глаза. На лицо же посмотреть можно было, только заставив себя. Там что-то сизотемное, перекошенное... Маленькие беспокойные глаза теряются в ширине щек и лба, усеченного шапкой; страшно попасть взглядом в эти подвижные, всевидящие черные дырочки. От этого защетиненного, немытого, изжеванного лица исходила устрашающая, неподвластная разуму сила безмерной власти, и едва увидевший его ужасался, понимая, что беззащитен, что попался, что никуда не денешься...

И на этой основе держалось все сельское хозяйство великой страны...

Никто из простых жителей не знал, откуда у нас взялся этот самый «Пимыч». Не знали даже его настоящего имени... Откуда-то прислали, и он, благополучно переждав войну, прижился в селе. Со временем вышел на пенсию, стал незаметен и прозябал одиноко, без семьи, без детей и родных.

Умер он в конце пятидесятых годов. И только тогда стало ясно, что память о нем не иссякла. На похороны собралось районное начальство, нанявшее могильщиков и обеспечившее поминки.

Могилу вырыли на краю кладбища, даже, можно сказать, за оградой (благо в те времена старая ограда порушилась, а о новой не побеспокоились. Кстати, по приказу самого Пимыча в войну срубили вековые кладбищенские березы и пустили на дрова для правления колхоза, поэтому кладбище представляло собой плачевный вид).

Утром, когда немногочисленная похоронная процессия шествовала к могиле, набежавший ветерок принес крепкий душок разворошенного нужника...

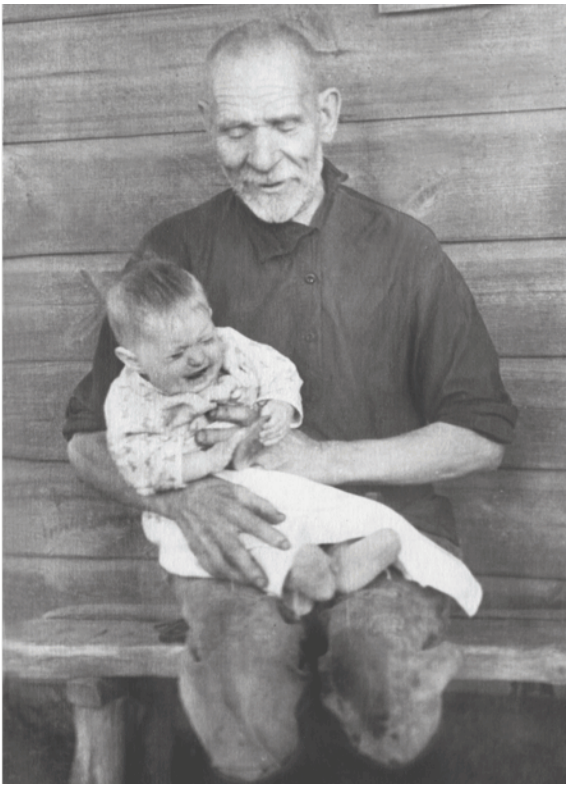
У самого же места вечного упокоения Пимыча вонь стояла невыносимая... Оказалось, ночью местные жители здорово постарались и превратили могилу в гнуснейший сортир.

Гроб опустили в говно. Торжественность момента была отравлена, речи скомканы, а про поминки и вовсе забыли.

Могилу Пимыча селяне посещали ежедневно и неоднократно, хоть и тайно. От нее несло, как от вокзальной уборной.

Только так беспомощные перед свирепой и темной властью люди смогли отомстить за свое многолетнее поругание.





Обломок 3

Издали завиднелась церковь, и лишь позже за ней открылись избы Крутиц, протянутые рядком вдоль речки Крутицы.

Что-то повернулось в груди, подкатило к глазам. В селе этом, когда-то большом и полнокровном, жили мои прадед, дед с многочисленными чадами и домочадцами. Здесь родилась мама, все дядья и тетки, и в разговорах о прошлом всегда выплывали Крутицы...

Я же впервые, давно перевалив на четвертый десяток, добрался до этого коренного нашего места. Волнение подступило и тревожное ожидание, будто сейчас встретят на околице прадед Симон и прабабушка Анна...

И еще подумалось, когда подъезжали к церкви, что здесь, в этих стенах крестили всю нашу родню, здесь же отпевали наших прародителей.

Издали церковь светилась белизной и стройно тянулась к небесам. Взгляд отмечал ее цельно и празднично, без изъянов. Так всегда видятся храмы средь полевой шири. Лишь приблизившись, понимаешь, что лихая судьба не обошла ее злым вниманием, как и остальных ее сестер по всей Руси. Крест сбит, окна вышиблены, двери сорваны, стены облупились и растрескались...

И все ж она таила свою старину, берегла где-то по углам былое дыхание всех прошедших через нее душ.

Мы с попутчиком положили велосипеды на траву и пошли к церкви. И тут обнаружилось, что колокольня у самого корня, у земли, пробита сквозной выемкой высотой в полметра, а выемка плотно заставлена березовыми чурбаками, принявшими на себя всю тяжесть колокольни.

Ничего подобного я никогда не видел. Показалось нелепым и абсурдным выбирать кирпич и заменять его березовыми окоренками... Я тут же сказал об этом своему спутнику. Тот странновато на меня поглядел, удивленно склонил голову и спросил, неужто я и впрямь не знаю, зачем кирпич в церквях заменяют березой... Удостоверившись, что я воистину темен и непросвещен, он пояснил: колокольню приготовили к сносу.

По всей протяженности выемки в основании вскоре разожгут длинный костер, от которого займется береза, и когда чурбаки обуглятся, осядут, колокольня накренится и рухнет. Обломки кирпича пойдут на колхозные постройки и печи... Так всегда делается, и ничего здесь нет ни странного, ни тем более абсурдного...

Побывав в Крутицах через несколько лет после первого посещения, я не мог найти даже намека на церковь – так старательно выгребли кирпич и камень.

Все пригодилось рачительным хозяйственникам, ничего не пропало, кроме самой церкви и воспоминаний, которые она берегла и пробуждала.

Впрочем, и от самих Крутиц осталось всего несколько домишек, где доживали свой век старики.

Когда-то брат деда на вопрос, какова жись в Крутицах, неизменно отвечал: «По селу, будто Мамай прошел. Во какая у нас жись...»



Обломок 4

Мы укладывались спать, когда у входной двери протренькало пять раз. Отец, пробормотав про «нелегкую», которая кого-то принесла, пошел открывать. В коридоре – его удивленный возглас, тут же стихший, и незнакомые шаги...

В дверях вслед за отцом – дядя Митя и тетя Аня. Лица странно-скучные, даже испуганные. Так поздно и так буднично они никогда не приходили. Их появление обычно было праздничным – в день рождения кого-то из нас, в новый год, и даже если в будни – все равно вспыхивал праздник с конфетами, а то и с тортом, принесенным ими.

Сейчас же они остались у дверей и стояли, не снимая пальто. И дядя Митя молча, стеснительно мял в руках каракулевую шапку-пирожок.

– Раздевайтесь же. – Отец подошел к тете Ане и хотел ей помочь, но она отстранилась, и лицо ее дрогнуло.

Дядя Митя собирался что-то сказать и не мог. Наконец, словно бы извиняясь, наклонился к отцу и сдавленно что-то ему почти зашептал на ухо. Можно лишь разобрать отдельные слова: «паспорта», «облава», «милиция»... И погромче:

– Так что, Володя, подумай... Мы можем и на вас навлечь неприятности. Если сочтешь наш визит неуместным, мы тотчас же... Отказом ты нисколько нас не обидишь... Мы все прекрасно понимаем...

– Да что вы говорите, право! Сейчас же раздевайтесь, – перебил его отец и расстегнул верхнюю пуговицу на пальто тети Ани.

Только после этого они первый раз растерянно улыбнулись. Потом мама разжарила на керосинке оставшуюся после ужина картошку, они перекусили, постепенно принимая свой обычный спокойный и праздничный облик.

Их внеурочный приход объяснялся начавшимся обменом паспортов (вероятно, был 1934 год, как я теперь понимаю). У них не хватало какой-то справки, которую можно получить только послезавтра и без которой их могли схватить при первой же облаве. В соседних домах облавы уже были, и сегодня ночью их могли взять и засадить в «КПЗ» (камеру предварительного заключения).

Сложности эти объяснялись тем, что они побывали в ссылке, в Самарканде, и без справки первая же милицейская проверка могла принести большие неприятности.

В ссылку они попали самым неожиданным образом. Дядя Митя случайно встретил в центре Москвы поляка, с которым когда-то учился в гимназии в Варшаве (там они жили всей семьей – отец служил в каком-то департаменте русской администрации). Они не виделись много лет, и отрадно было нырнуть в юность. Оказалось, что Стас тут совсем недавно – сотрудник польского посольства. Договорились повидаться в первый же выходной.

Однако выходного дождаться не удалось. В ту же ночь к дяде Мите нагрянули из эНКаВэДэ, арестовали, увезли в «черном вороне» и за связь с сотрудником польского

посольства сослали на три года в Самарканд. И такой поворот был просто удачей, даже счастьем – его не обвинили в шпионаже, в измене и прочем, а просто после небольшой отсидки в тюрьме сослали в теплые края, куда могла поехать и тетя Аня. Они одаривали нас оттуда посылками с урюком и изюмом. А мама долго хранила крохотную тюбетеечку, которую я носил во младенчестве – тоже подарок из Самарканда.

И вот теперь с обменом паспортов вернулись тревоги и опасения, которые, казалось, уже позади.

В нашей комнате, уставленной вдоль стен двумя кроватями, диваном и шкафами, оставалось лишь небольшое свободное место между обеденным столом и окном. Там на полу и постелила мама для гостей (им предлагали кровать, но они твердо отказались, не желая никого лишать привычного ночлега).

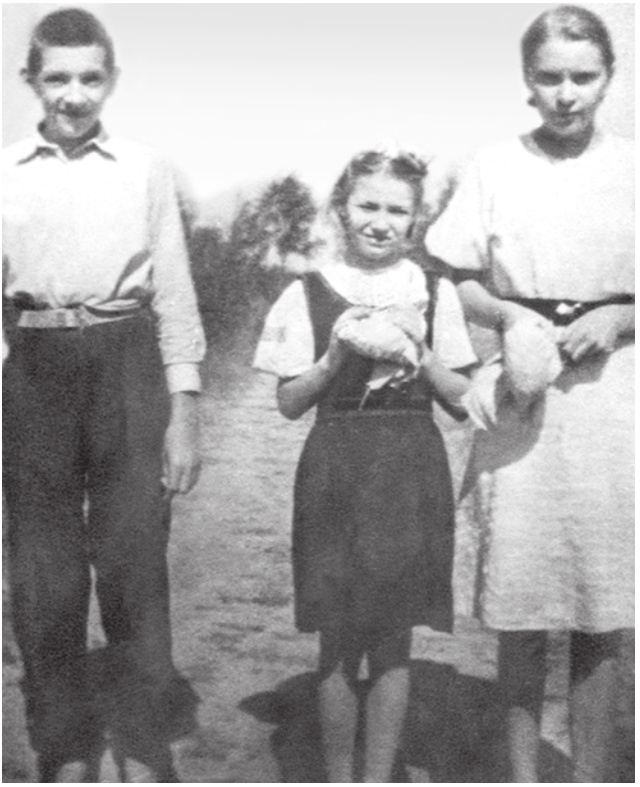
Утром, проснувшись, все долго лежали в постелях и тихо разговаривали. Был выходной день, и никому не надо на работу. Эта тихая беседа почему-то показалась мне праздником. Взрослые вспоминали что-то спокойное, давнее, неспешное, и едва понимая, о чем речь, я с удовольствием тонул в этой неспешности и давности.

И тут я вспомнил, что на новый год тетя Аня подарила мне книжку сказок на немецком языке и обещала почитать их, но все никак чтение это не могло получиться. Я долго не решался влезть во взрослый разговор. Наконец, выбрав паузу – напомнил ей об обещании. Она радостно и праздничнo согласилась. Я тотчас достал книжку с уютным тисненым переплетом, со страницами из мелованной бумаги, с удивительно четкими рисунками всяких сказочных чудес, позволявшими догадываться о чем речь, но до конца ничего не понималось, пока острые нарядные буковки готического шрифта молчат.

Тетя Аня взяла книжку и указала мне лечь рядом поверх одеяла и тут же легко, весело, с распевом принялась читать сказку по-русски. Я заглядывал на страничку, но там не было ни одной русской буковки. И чтение это тоже показалось сказочным. Позже я узнал, что она также свободно может читать по-французски и по-английски. И все никак не мог понять, почему же милиция устраивает облаву на нее и на дядю Митю...

Каждый день что-то ломалось и рушилось из прежнего устоявшегося и казавшегося прочным, данным навсегда. Вот уж самого Пушкина переиначили... Взрослые шепотком с ухмылкой читали друг другу:

У Лукоморья дуб срубили,
Златую цепь в «Торгсин» снесли,
Кота в котлеты изрубили,
Русалку паспорта лишили,
А лешего сослали в Соловки.



Обломок 5

К деду завернул знакомый мужик. Обстучав у порога улепленные грязью лапти, шагнул к лавке, присел.

– Ну, как живется у вас в Тайдакове? – спросил дед.

Мужик улыбнулся, положил шапку, замотал головой: «Ох, дяла...»

Чем дальше пришедший говорил о «дялах», тем печальней становился дед.

Как фельдшер, он был вхож в дом Измайлова и восхищался хозяйственной хваткой помещика, его знаниями, его замечательной библиотекой, равной которой не было, пожалуй, и в самой Рязани.

«Дяла» же сейчас обстояли так. В революционном пылу, подогретом пришлым комиссаром, мужики ворвались в пустой помещичий дом (Измайлов предусмотрительно уехал из имения) и после битья окон, срывания занавесей и справления той и другой нужды на ковры, стали тащить по избам все, что могло пригодиться в хозяйстве. Недоумение вызвала лишь библиотека.

Никто не знал, что делать с такой прорвой книг, большинство которых и написаны не по-нашему. В конце концов решили разделить эту никчемность промеж всех. Растащили в мешках по домам.

– Цельную неделю печи топили книгой, – удивленно сказал мужик. – Есть то-олстенные, золоченые... Одна как беремя дров горит... А кожу с их драли – на валенках пятки подшивать... Ну куды яму одному было стоко книг-то?

Когда топить печи книгами надоело, постановили остаток библиотеки свезти в овраг при въезде в деревню – там дорога по осени превращалась в болото. Ее загатили книгами, и телеги теперь шли по суху, как по мостовой.

Много чего и еще поделили. Дележ пианино, к примеру, произошел таким образом:

– Иван Петров с Андрюхой Блохиным выташшыли музыку из помещичьего дома. Зда-а-равенная музыка – из черного дерева, вся блястить. Стали делить на двоих. Иван Петров выбрал музыку потолше, а Андрюха потоньше, пожиже. Взяли пилу, принялись пилить напополам. Смехота, ей-богу! Сначала музыка пилилась легко, навроде липы, а потом у пилы враз зубья поломало! Там внутрях-то чугунная станина оказалась. Ну, приташшыли из кузни молот, зубило, стали колоть... Но тут струны полопались, порвались, и музыка пропала, одно шипенье осталось. Что ж делать? Отодрали крышку, распилили на два корытца – курей из их кормить.

Все эти безобразия мужик описывал с удивленным восхищением.

Дед поглядывал на него, вздыхал и поглаживал бородку.

– А что с оранжереей?

– Побили стекла к ентой матери. Вся зелень померзла, повисла...

– А электростанция?

– Машина больно здорова – молот не берет... А провода все порвали и лампы побили...

Надо сказать, у Измайлова была редкостная оранжерея. К Рождеству в этой глухомани на берегу Оки вызревали ананасы, которые подавались к праздничному столу.

Конный завод Измайлова славился далеко за пределами рязанских земель.

Все описанное случилось в 1918 году, осенью.

Лет через двадцать после этого я с ребятишками из нашего села не раз наведывался в Тайдаково. Мы любили бродить в развалинах электростанции, где на бетонном фундаменте еще высился черный остов бывшего дизеля, нам нравилось блуждать среди останков оранжереи и в развалинах помещичьего дома.

Много позже, еще лет через тридцать, показывая своему сыну эти места с высокого берега речки Непложи, я разглядел, что выгон за Тайдаковым не что иное, как площадка для выездки скакунов. Хорошо сохранились кюветы, обозначавшие границы площадки, подъездная дорога, ныне заросшая травой и кустами...

С тех революционных дней Тайдаково превратилось в полное захолустье, каким остается и по сию пору.

Трудно поверить, что когда-то сюда наведывались блестящие умы, потомки людей, вошедших в историю, вроде декабриста Лунина, одному из родственников которого принадлежало сельцо Лунино верстах в семи ниже по Оке, ученые Срезневские, отдыхавшие в соседнем Срезневе, театралы Ржевские, Фондервиз...

Земля ничего не родит от втоптанных в нее книг, напротив, она становится после этого бесплодной.

* * *

Кстати, мне рассказывал один из рязанских старожилов, как во времена революции поехал по делам в Лунино и еще издали увидел странную картину. Помещичий дом был окружен сугробом снега, хотя снег ни разу еще не выпадал, несмотря на осень, и было тепло, как летом... Подъехав поближе, разглядел, что сугробом показались страницы изорванных, выброшенных из окон книг, которые дотрепывал осенний ветер...

По чудесному совпадению через полвека после тех событий мне подарили в одной из деревень старинную книгу.

Переплет был оторван, но титульный лист цел. «Размышления о делахъ Божиихъ въ царстве натуры и провидения на каждый день года, издание периодическое. Переводъ съ немецкаго языка. Москва. 1787». И красная печать вместо экслибриса: «Адра Млча Лунина».

Александр Михайлович Лунин, по всей видимости, сын декабриста Михаила Сергеевича Лунина.

Впоследствии имение переходило из рук в руки и досталось владельцу, не имевшему к Луниным никакого отношения.

У нового хозяина был небольшой винокуренный заводик. В ту революционную осень крестьяне из окрестных деревень пришли с кольями, топорами и вилами – бить кровопивца.

Помещик вышел на крыльцо и попытался утихомирить толпу:

– Теперь это все ваше, – обвел рукой вокруг, – берите все себе. Об одном прошу: не ломайте, не бейте ничего, поберегите для себя...

Что сделали с ним неизвестно, но уговоров не послушали. Устроили настоящий безобразный грабеж и погром, который завершился на винокуренном заводике. Добрались до цистерны со спиртом. Началась вселенская пьянка и разлив спирта по ведрам для всех желающих.

Мужичок, заправлявший распределением напитка, и черпавший из цистерны, сам сильно веселый, нагибался все ниже, совсем уж до пояса влезал внутрь блаженного источника, и в результате обронил туда с головы шапку. В цистерне – полная тьма, и где там в спирту плавает шапка не видать. Находчивый виночерпий достал спички, чиркнул... Грохнул неслыханный взрыв. Вмиг погибло восемьдесят человек.

* * *

В девятнадцатом году нагло и разнузданно расплодилось воровство. В Мосолове редкий дом миновал этого поветрия. У моего деда, например, за одну ночь украли два окорока, подвешенных для просушки на печи и несколько хлебов, которые бабушка испекла на неделю. Воры были явно из местных и знали ходы, постороннему человеку неведо-

мые. Они пробрались в подпол, оттуда через люк в избу, взяли, что хотели, и смылись. Двери и окна оставались запертыми.

Когда у мужиков не осталось терпежу, решили воровское безобразие прикрыть. Одного из воров поймали, и объявили народный суд. Жители села собрались на улице, возле кучи бревен, на которые поставили вора, чтобы все видели своего татя. Стали перечислять ему совершенные кражи. Вор признал за собой несколько из них, а остальные признавать не захотел. Но и малой части было достаточно, чтобы объявить скорый приговор: «Наказать подлеца через отрубление башки!»

Вора тут же повалили наземь, связали, положили головой на бревно. Кто-то из мужиков притащил плотничий топор, и собрание поручило ему быть палачом. Мужик попробовал отнекиваться, ссылаясь на то, что до сих пор головы рубил лишь курям да гусям, но кругом заорали так грозно, что пришлось согласиться. Почти зажмуркой владелец топора несколькими ударами отвалил голову...

Моя тетушка Вера, тогда восьмилетняя девчонка, наблюдала из толпы вершившееся правосудие, которое жуткой картиной осталось в памяти до старости лет.

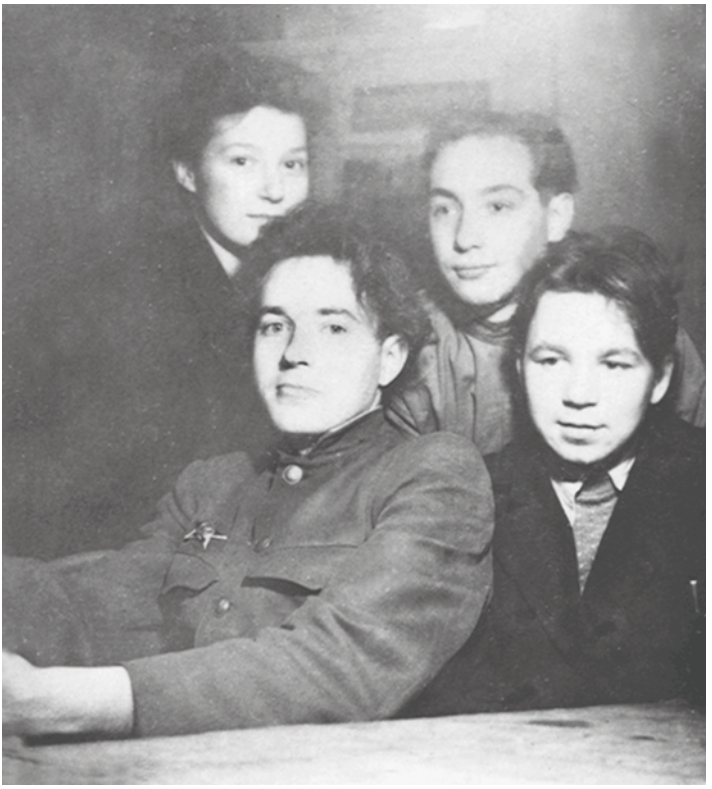
Присловье

Двое стоят перед дворцом миллионера. Один говорит: «Тоже стану миллионером и построю себе такой же дом!» Второй, глядя на дворец, говорит: «Сволочь, богач! Сожгу твои хоромы, тебя разорю, будешь жить хужее меня»!

Одна традиция: добросовестно и много работать, все делать качественно и много получать для благополучной жизни.

Другая: работать как можно меньше, а получать хоть и по-нищенски, но по возможности больше, чтобы совсем нищие соседи завидовали.





Обломок 6

Первым уроком была история. Маленькая сухонькая Сара Абрамовна, как всегда, поздоровалась прокуренным баском. Мы уныло открывали учебники, поглядывая в окна, где апрельское солнышко беззаботно сияло над крышами.

Но утренняя полудрема и весенняя слабость мигом слетели, когда историчка сразу вслед за «здравствуйте» сказала:

– Дорогие ребята, сегодня день особенный, праздничный. Сегодня день рождения большого друга советского народа, славного руководителя Германии Адольфа Гитлера. Я предлагаю всем встать и пионерским салютом поприветствовать замечательного вождя немецкого народа!

Голос учительницы и слова ее были так странны, звучали так вымученно, так деланно-бодро, что весь класс замер, не умея понять произнесенного. Ведь все газеты и радио изо дня в день клеймили германский фашизм и его фюрера. Правда, в последнее время клеймление приумолкло, но в головах даже наших, ребячьих, оно еще упорно звучало...

Кто-то из мальчишек не выдержал и крикнул:

– Да ведь Гитлер – фашист! Какой же он друг?

Сара Абрамовна облизала пересохшие губы, собралась с силами и стараясь сохранить ровный голос, ответила:

– Нет, Егоров, ты не прав, и пожалуйста, забудь это слово. Адольф Гитлер не фашист, а национал-социалист. Под его руководством немецкий народ тоже строит социализм. И запомните хорошенько: в Германии нет никакого фашизма, там есть национал-социализм.

Что-то вымученно-казенное звучало в ее словах. Стало тоскливо-скучно. Маленькие политики, которых взрослые убеждали в одном, а теперь перекинулись на другое, поняли, что произошел знакомый перевертыш и теперь вместо одних слов надо говорить другие.

Ведь еще хорошо помнились времена, когда по всей школе были развешаны портреты наркома просвещения товарища Бубнова и учителя постоянно поминали его указания, а потом наступил день, когда портреты враз исчезли, а Бубнова стали клеймить как заклятого врага советского народа...

Сейчас шел 1940-й год, и в классе сидели мои друзья – Волжинский, который постарше нас и погибнет через год под Москвой, Завнягин, который погибнет в сорок третьем, Казаков, который вернется с фронта без обеих рук...

И сама Сара Абрамовна не переживет войны.

Судя по тому, с каким напряжением, через силу она говорила нынешним утром, кто-то очень строго наказал ей отметить день рождения Адольфа Гитлера – не иначе, как в райкоме партии провели специальный инструктаж...

* * *

Еще из тех времен припоминается... Поздней осенью или в начале зимы сорокового года к отцу пришел знакомый инженер. Мы с некоторой зачарованностью смотрели на

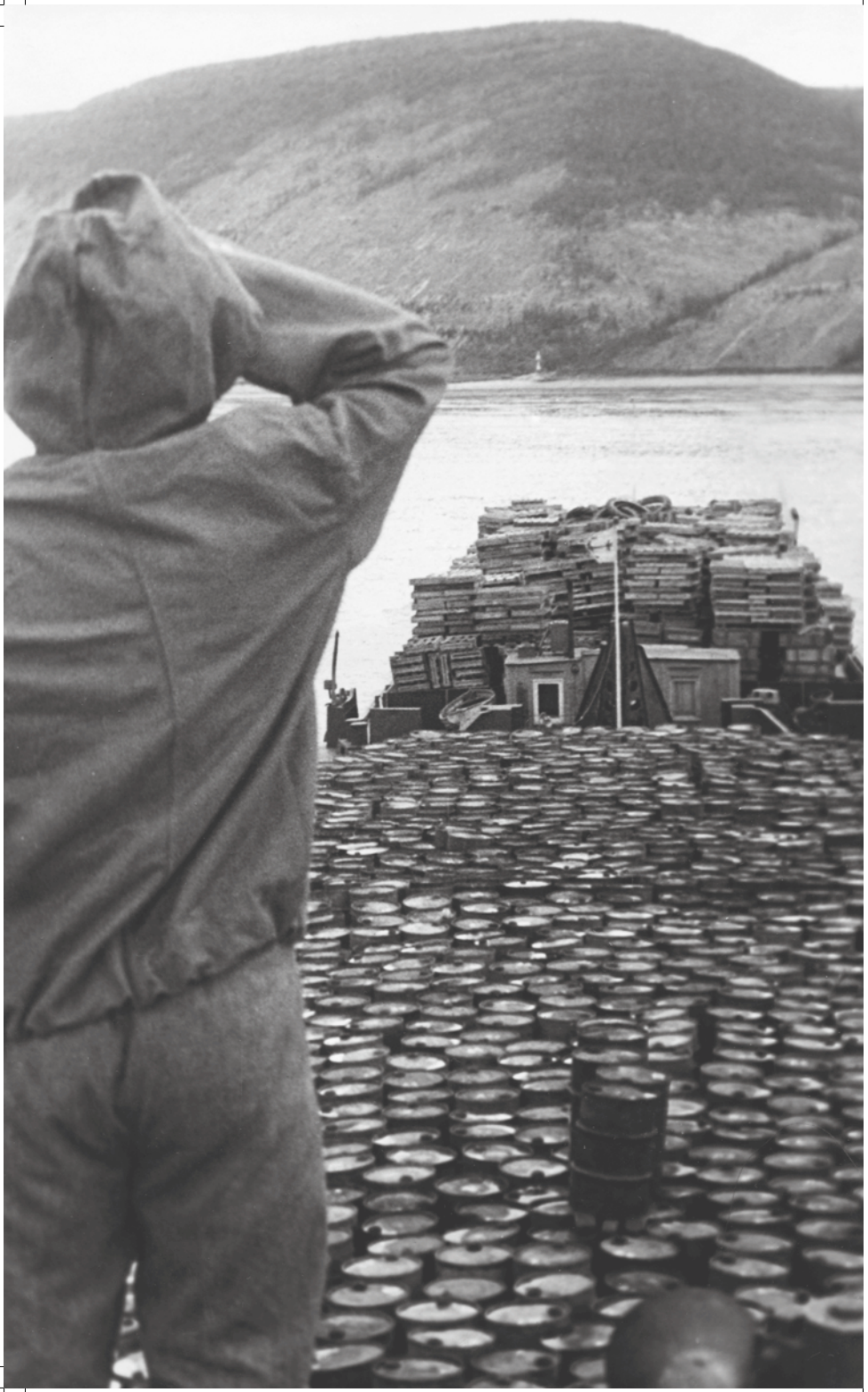
него. Ведь он вернулся недавно из Германии, где был в командировке. Никто из нас еще не видел человека, побывавшего за границей. «Заграница» виделась чем-то запретным и притягательным богатой жизнью. Поэтому нам казалось, что в госте светится что-то особенное, недоступное ни для кого из нас. Не понять что, но светится.

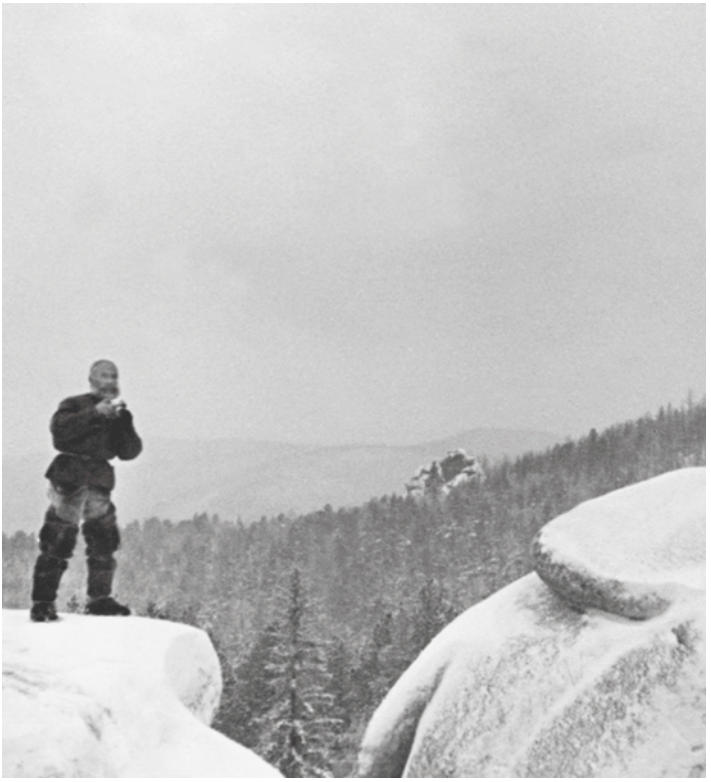
Отец и он долго разговаривали о своих строительных делах, рассматривали красивый толстый справочник по железобетону, который знакомый привез из Германии...

Потом сели пить чай, знакомый много рассказывал о тамошнем житье, а когда мы с мамой вышли из-за стола, приглушенно сказал отцу, что возвращаясь в Союз, заметил на пограничной немецкой станции: все запасные пути забиты вагонными колесами для широкой колеи... Зачем немцам широкоосные колеса? Уж не готовятся ли к нам «в гости»?

Эту беседу вспоминаю всякий раз, когда наши историки-политики-теоретики пускаются в изыскания и споры – неожиданным ли было нападение Германии? Знал ли Сталин? Доходили ли до Него донесения разведки?

Инженер-строитель, не будучи ни разведчиком, ни дипломатом, ни военным увидел то, о чем наши теоретики вместе с товарищем Сталиным так и пребывают до сих пор в неведении.





Обломок 7

Небо серое, море темное, мутно-ледяное, остров по курсу черно-синий. Когда он полностью обрисовался и вырос пасмурной глыбой, командир тральщика сказал:

– Что-то свежей рыбки захотелось...

Так, между прочим бросил, и ни у кого слова эти не остались в памяти.

Тральщик вел автомат, который сверялся со спутником в поднебесье и управлял рулевой машиной. Курс был рассчитан северней острова, где пролегал по холодной неоглядности моря.

Командир сидел в рубке на высоком стуле, и закинув ноги на выступ иллюминатора, читал растрепанную книжку.

Ставший ненужным матрос-штурвальный, дремал возле штурвала, который вертелся сам по себе, управляемый из-за облаков.

Командир встал, бросил книжку на стул, вгляделся в приближавшийся остров и приказал выключить автоматическое управление, изменить курс – идти не северней острова, а южнее по проливу между островом и материком.

Рулевой тотчас прирос к штурвалу, остров медленно пополз влево.

Командир все чаще поглядывал на часы и все больше походил на всадника, пришпорившего коня и недовольного галопом. Он уперся в сиденье рулевого, словно подталкивая корабль, и досадливо смотрел в иллюминатор, где остров уже навис черными уступами скал.

Не умея разгадать заданную загадку, я спросил, почему так резко сменили курс и куда спешим?

Командир коротко засмеялся, глянул на меня азартными нетерпеливыми глазами, что-то приказал штурвальному и объяснил:

– Я ж сказал: свежей рыбки охота...

И мне представился мальчишка, бегущий с удочками к речке. На его лице было только это желание и больше ничего. Исчез боевой корабль, отшелушилась форма с погонами; передо мной – рыболов, предвкушающий удачу, и опасающийся удачу эту пропустить. Понимая, что я ничего не понял, он объяснил, поскольку все равно приходится ждать – быстрей корабля не побежишь:

– Через пятнадцать минут восточней острова пройдут испытания: должны взорвать силовой заряд. Рядом обязательно будет косяк рыбы. Оглушенная взрывом, она плавает кверху брюхом тридцать минут. За это время мы должны подойти к месту взрыва и набрать на уху...

На палубе уже готовили шлюпку, сливали с брезента дождевую воду. Матрос тащил огромную кастрюлю. Кинув ее в шлюпку, отправился на камбуз и вернулся с большим дуршлагом, который сунул в кастрюлю.

– Молодец! – похвалил командир.

Берега узкого пролива летели впромельк... Мимо быстроходным катером просвистал небольшой островок с белым маяком на конце. Мы на всей скорости гнали как бы посередине реки.

И вот вырвались в горловину на восточной оконечности острова.

Командир выскочил из рубки, впился в темную поверхность моря:

– Шлюпку на воду!

Впереди по курсу на черно-синей воде завиднелись белые полоски, их становилось все больше, и вот они совсем густой пеленой подкатывают к борту, и теперь видно, что это оглушенная рыба. Все море вокруг становится белым, корабль идет словно по ледяной шуге. Ход резко сбавляется.

Шлюпка шлепнулась на воду. Сделав несколько гребков, матросы хватают из-за борта больших рыбин. Те скользят из рук, безвольно срываются в воду.

Зато везет нашему «изобретателю» – в дуршлаг попадаются по две, а то и по три рыбины. Он работает без передыха, качается как ванька-встанька. Кастрюля наполняется вмиг, и вот уже он валит рыбу на дно шлюпки...

Тральщик вновь берет курс на север. За бортом еще обильно белеют безвольные тушки погибшего косяка.

Матросы вытащили улов на палубу, и на крышке люка выложили самых крупных рыбин. Треска и пикша. Вытянувшись в линейку, рыба покорно лежит на выкрашенном суриком железе. Особенно хороша пикша – фиолетовые бока отливают красками северного моря, четкая полоса от головы до хвоста завершает неповторимый рисунок, сделанный самой природой. Большие глаза печально смотрят на нас, так бессмысленно погубивших стадо этих совершенных созданий ради испытания одного из бесчисленных зарядов, несущих смерть.

Я собрал вещи и пошел попрощаться с командиром тральщика. На мой стук он сам открыл дверь и пригласил войти. Я никогда не был в его каюте. Удивила непомерно большая кровать, занимавшая едва ли не треть всего пространства. Даже не кровать, а ложе сибарита или приземистый необъятный рундук с мягкой крышкой.

Заметив мое удивление, командир улыбнулся.

– Странное сооружение? – похлопал он по желтому покрывалу. – Хотите открою секрет?

И он действительно поведал мне секрет, приоткрыл обстоятельства, о которых я и не догадывался и предположить не мог ничего подобного, воспитанный на официальных байках о нашем славном флоте.

В этом громадном рундуке-сундуке, оказывается, хранилось все легкое стрелковое оружие команды корабля, включая офицеров (автоматы, пистолеты и патроны). Командир спал на них и тем самым стерег, чтоб никто, кроме него, не мог овладеть...

Когда-то существовал специальный оружейный отсек, но с некоторых пор решили, что никакой отсек не сможет уберечь оружие от горячих голов. Было решено укрыть его под боком самого командира. Теперь высокое начальство никому не доверяло. Не раз и не два бунтовщики из команды кораблей захватывали оружейную коптерку, и под дулами их автоматов безоружные офицеры вынужденно вели корабль в ближайший иностранный порт сдаваться на милость капитализма...

Говорят, норвежцы не раз протестовали против варварского истребления рыбы нашими военными, но это ни к чему не привело.

Вместе с тем грандиозная советская бесхозяйственность приносила тем же норвежцам и доходы. По северным рекам мы сплавляли прорву древесины. Наши вечно полупьяные «хозяева» не обращали внимания, когда бревна уносило по течению. Подумаешь, пропадет десяток-другой, третий – не беда... Бревна выныривали в море, где норвежцы приспособились их ловить. Создали целую службу – специальные суда выходят на работу, ловят то, что наши пропустили сквозь пальцы, и снабжают себя лесом почти бесплатно за счет нашей безалаберности. Так что, видимо, одно другое покрывает или перекрывает...

Отношение к северной природе самое гнусное. Мой старый друг, служивший в одной из частей, расположенной на Кольском полуострове среди скал у живописного фиорда-губы, рассказал, что большим неудобством этого места было отсутствие собственной пресной воды. Воду привозили издалека. Молодые офицеры попробовали сами решить эту задачку. Раздобыли буровую установку, пробили скважину, полагая, что где-то обязательно должен быть родник. И вот, когда дошли до нужного горизонта – из скважины ударила мощная струя соляной кислоты... Это означало, что где-то в водоносный слой моряки-подводники, не утруждая себя сбором и отправкой на переработку, сливали от-

работанную кислоту из аккумуляторов прямо на землю, и кислота заполнила все былые родники. А со временем уничтожит и самою природу.

Такое варварство повсюду. Вот совсем в другом конце земли нашей, увиденное через двадцать лет после вышерассказанного...

О приближении города Ангарска узнаешь по красновато-желтому мерцанию, словно гной, разливающемуся над ночной округой. Облака набухают и воспаляются этой краснотой, постепенно захватывающей все небо, и в конце концов, прорывающейся языками пламени, бьющего из непомерных аспидно-черных труб.

Факелы пылающего газа рвутся в поднебесье. Они похожи то на огненные столбы, перевитые траурными лентами копоти, то на шары, клубящиеся от наполняющей их мертвящей мощи, то на воронки огненного смерча, несущегося над землей и сжигающего все живое. Даже издали чудятся вой, свист и грохот, с которыми взрываются и сгорают чудовищные объемы попутного газа.

Ночной пейзаж Ангарска – лучшая натура для живописца, загоревшегося желанием написать картину ада с риском самому сгореть в его огне. Жирно-красное и вместе жирно-черное пламя изо дня в ночь, из ночи в день без перерыва десятилетиями бушует над городом. На улицах умирают пожелтевшие от отравы ангарские сосны, страдают от нехватки воздуха люди, и всегда стоит сладковатый, тошнотворный запах похорон.

Адскую эту картину могу сравнить лишь с пейзажем тюменской тундры, над которой приходилось пролетать ночью в вертолетной ступе, направляясь на шабаш нефтяных промыслов. Там тоже, словно врата ада, до самого окоема пылают сотни факелов. В безлюдных ледяных просторах мечутся по ветру багрово-черные жгуты пламени, которое могло бы обогреть целые города, послужить основой чудесных материалов, помочь вырастить среди снегов не то что помидоры – ананасы! Но оно лишь коптит низкое северное небо.

Впрочем, стоит ли ехать так далеко – в Москве, на окраине, в Капотне, рядом с жилыми домами много десятилетий жуткий факел пишет в небе ту же адскую картину.

И еще вспоминается Сибирь... Черемхово узнается издали по черному колпаку, нахлобученному на город. Этот

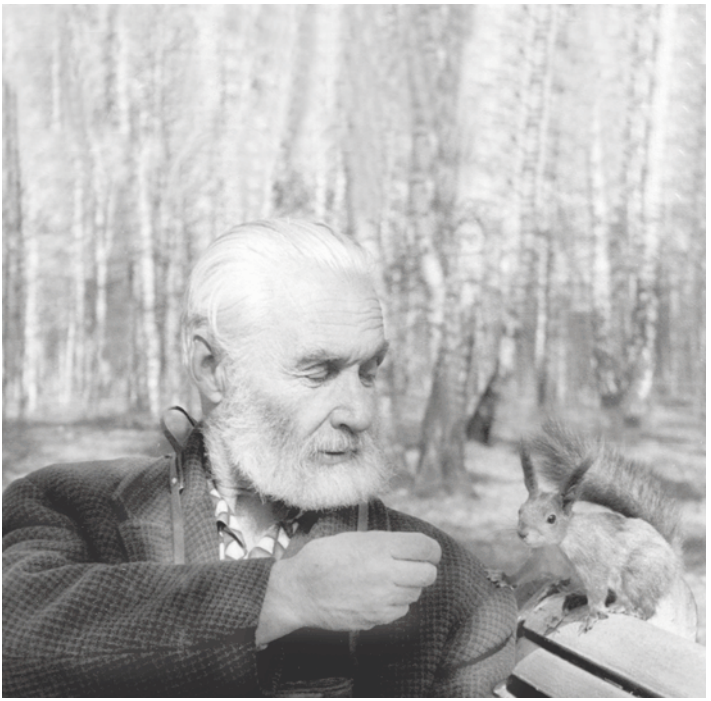
непроглядный пласт в небе создан для того, чтобы дополнить сверху угольные залежи внизу и со всех сторон навсегда упрятать округу от небесной синевы и солнца.

Постепенно открывается и развертывается местность, стальной волей и железной решимостью партии приспособленная к нуждам тяжелой индустрии.

Насколько достигает глаз – всюду громоздятся, высятся, дыбятся серо-черные кучи, груды, завалы, холмы-терриконы, обвитые по склонам змеями сизого дыма и огня, не угасающего со времен волевого сотворения здешнего мира. В постоянных сумерках днем и в кромешной тьме ночью коптящие, чадящие, изрыгающие пламя горынычи бесконечной чередой ползут, дожигая и без того сожженную землю, отравляя и без того ядовитый воздух.

Раскинувшиеся до окоема отвалы пустой породы являют вид подлинной пустыни. Кое-где весенними потоками и дождями они подмыты, прорезаны и распилены, и в них, словно в безжизненных горах, обнажились красновато-бурые, белесоватые промоины, овраги, ущелья, целые каньоны, заполненные мертвящими газами. В этих пейзажах, составленных из отбросов перегоревшей породы, трудно признать планету Земля. Здесь ничего не осталось от нее, кроме разве силы притяжения.

Невозможно помыслить, что в этой адской кочегарке могут жить люди, что здесь родятся и растут дети. Если уж тут есть жизнь – она должна существовать и в жерлах вулканов, а Луна и Марс – просто райские уголки...



Обломок 8

Наш полок, запряженный мышатым мерином, подъезжает к краю лесополосы. День безжалостно-ясный, жаркий и душный, поэтому густая тень американского клена прельстительна и отрадна. Мерин первым ныряет в нее, и мы завидуем ему, потому что даже лишний миг в пекле полей невыносим.

Лесничий Роман Никитович соскакивает с полка, потягивается и оглядывает молодые деревца, похлопывает по стволам, нагибается к корням, улыбается, как детям или давним знакомым.

– Папань, а что? Здесь и устроимся. Такая благодать... – говорит Борис.

Мне тоже нравится это первое случайно попавшееся на пути местечко.

Расстилаем в междурядье кленов брезент, достаем из корзинки припасы, садимся, опираясь спиной о молодые стволы.

Отойдя от жары и пропустив стаканчик, Роман Никитович вдруг беспричинно хохочет, шлепая ладонью по клену:

– О хо-хо... Ах, ты, едрена-матрена!..

– Ты чего, папань? – спрашивает Борис.

– Чего? А того, что этих посадок нет... лесополосы нет! Понял? Это мы на вырубке сидим.

– Ну, папаня, загнул... И выпили-то всего ничего...

– Да при чем тут выпивка? Я вчера вот этой рукой написал докладную в райком партии, что посадки *американского* клена, согласно указанию, полностью уничтожены. Вот какая штука.

Лесничий, не дожидаясь нас, выпил свой стаканчик, зажевал луком.

– Столько сил вложили. Такие дерева разрослись. И на тебе – вырубить, только потому, что клен называется американским, а в Америке чего-то там кто-то набузил... Ну и пусть его бузит! Нет, собрали в райком на срочное совещание. Идеологическая диверсия империализьма – говорят – в нашем районе лесополосы засеяны американским кленом. Непатриотично. Подыгрываем мировой реакции. Немедленно вырубить! Срочно доложить и осенью засадить дубом-березой... У меня рука не поднялась – вон какие кленки-то веселые да кудрявые... Взял вместо топора ручку и накатал отчет о вырубке под корень всего американского империализьма, позарившегося на наши просторы. Оказался в передовиках... Рассудил я так: посадки от дорог далеко, кого сюда занесет проверять? Пущай растут, кудрявятся. А там, глядишь, или Америка одумается, или наши передумают, или про лесополосы забудут...



Обломок 9

Доклад, указующий, что надо, а что не надо издавать для подрастающего поколения, в Комитете по печати делает главный редактор детской литературы.

Издатели, собранные для «накачки», наблюдают, как главный идет к своему креслу в торце стола.

Он высок ростом, по-военному прям, тощ и никогда не улыбается. Пожалуй, он самый серьезный из всех комитетских чиновников. У него длинное лицо, длинный нос, длинные морщины режут щеки от глаз к подбородку, лоб собран в гармошку из-за постоянного напряжения то ли какой-то мучительной мысли, то ли ожидания неведомого подвоха; глаза, глубоко засевшие под седыми бровями, недоверчиво

перебегают по лицам собравшихся, по углам полутемного кабинета.

Все знают угрюмость и желчность «главного по детской», не любят слушать его и бывать у него. Отрадно лишь то, что встречаться с ним приходится нечасто, и указания его по большей части не выполняются, пролетают мимо ушей.

Вот он уселся на свое председательское кресло, раскрыл папку, морщины на лице углубились, свернулись в кисло-горький узел, глаза остановились, суля недоброе. Сорванный, надтреснутый голос метнулся по комнате.

Для начала главный дал общую оценку состояния идеологической работы партии на разных фронтах литературы. Затем начал постепенно сужать круг и сузил его до того, что в круге оказался один лишь Корней Иванович Чуковский со своими сказками...

Сидевшие за столом с пеленок были знакомы с персонажами сказок и сейчас с удивлением услышали, что персонажи эти всегда были аполитичны и ущербны, и терпели их только из-за того, что писатель очень уж авторитетен.

Главный многозначительно помолчал, давая присутствующим свыкнуться с совершенно новой установкой.

Теперь пришла пора по-настоящему разобраться, наконец, со всеми этими безыдейными мухами, комарами, пауками и крокодилами. Причиной, заставившей сделать такой шаг, стала недавно опубликованная сказка ныне покойного писателя «Бибигон»...

Главный помрачнел до черноты, голос опустился до глухого шепота. Затем он с нескрываемой гордостью сообщил, что сам лично давно дал отрицательную оценку сказкам, но никто не хотел его поддержать. Издательства беспечно продолжали гнать «Мух-цокотух» и «Крокодилов».

Теперь этому разгулу будет положен конец. Он пристукнул увесистым кулаком по столу и, не в силах сдержать возмущения, встал, чтобы просторней было продолжать разгром порочного явления литературы. В руках у него затрепыхалась и затряслась красочная книжечка, которую он сжимал огромными руками, явно привыкшими к молоту, вагранке, к артиллерийскому орудию. Во всем облике угадывалось, что его когда-то мощное тело с гвардейским разворотом плеч страдало от физического бездействия, от

необходимости заниматься не слитками стали, не снарядами, не гаубицами, а какими-то мухами и тараканами...

Одно из издательств без согласования с комитетом, без консультаций с главной редакцией самовольно выпустило сказку «Бибигон»! Можно подумать, что директор издательства не был на совещании, где этому самому «Бибигону» была дана соответствующая квалификация!

В этом месте главный даже заклекотал как индюк из порочной книжки. Этот клекот и брюзжанье сопровождали весь дальнейший погром, учиненный над бедным Бибигоном. Главный объявил, что вся сказка пронизана абстрактным гуманизмом, что сам Бибигон не несет классовой нагрузки, как и все остальные совершенно безыдейные персонажи. Борьба абстрактного добра с абстрактным злом, лежащая в основе порочного произведения – это прием буржуазной литературы, совершенно чуждый нашим идейным позициям...

В ходе всего докладывания главный с ложной скромностью постоянно выпячивал и подчеркивал лично свою роль в борьбе с Бибигоном, свое первенство в раскрытии социально-политических изъянов сказки Чуковского. Постоянно звучали фразы: «Я давно показал, что Бибигон...», «Я первый отметил внеклассовый характер Бибигона...», «Если бы ко мне прислушались раньше, «Бибигон» не нанес бы того ущерба, который...», «Беспощадная борьба с Бибигоном и бибигоновщиной...»

Из маленького человечка, придуманного веселым писателем, Бибигон вырос в великана, в чудовище, с которым сражался большой мрачный человек с руками молотобойца, с голосом, сорванным от команд, и с лицом, не знавшим улыбки. По мере развертывания битвы в интонациях главного звучало все больше глубокого удовлетворения тем, что нашел все-таки своего врага и вступил с ним в беспощадный бой...





Обломок 10

Дом на Ново-Басманной, в котором ютились мы с сотней других обитателей, когда-то принадлежал князю Куракину. При князе, как рассказывали, он разделялся на две половины – в одной размещался сам князь, в другой – княгиня.

Дом двухэтажный в виде приземистой буквы П, выходившей концами к улице. Внутри двора помещался садик, где старинная груша своим цветением, плодами и осыпающимися листьями напоминала нам о смене времен года. Посередине верхней перекладины названной буквы, в садике, располагалась княжеская домовая церковь, небольшая, уютная, куполом напоминавшая собор святого Петра

в Риме. Служба в церкви шла до начала тридцатых годов. Я хорошо помню, как в ней крестили сестру. Помню серебряную купель, священника в сизой ризе, несущего малышку, наших крестных, отца и мать и всех нас, идущих вокруг купели. Вижу круглые столпы света, бьющего из окон под куполом. Слышу крик новокрещеной.

Сохранились снимки, сделанные отцом в годы, когда церковь закрыли и переиначили в склад стройматериалов – мы с сестрой на ступенях полукруглой паперти, плохо одетые и очень похожие на нищих.

Вслед за церковью и весь садик обратили в склад – построили сараи, завалили бревнами, досками, кирпичом. Ворота садика заперли, но мы все равно проникали туда и играли средь строительного хлама, и груша, несмотря ни на что, цвела, плодоносила и роняла листья.

С другой стороны дома (за перекладиной буквы П) раскинулся огромный парк с липовыми аллеями, дорожками и домиком сторожа в дальнем конце. Смутно помню прогулки с мамой, особенно, осенью под шуршание пряных листьев. Окно нашей комнаты выходило в парк. Мне запомнилось одно мгновенье – проснулся ночью и увидел в небе ослепительную луну над липами, и на полу черные полосы – тени от рамы окна.

Этот парк, деревья и луна были только кратким мигом.

Рядом с нашим домом по Ново-Басманной громоздился Наркомат путей сообщения – НКПС, и его начальство, возглавляемое Л. М. Кагановичем, решило построить на месте парка десятиэтажную громаду жилого дома для сотрудников наркомата – чтобы те могли пешком ходить на работу.

Вот тогда и превратили маленький садик и церковь в склад.

Теперь целыми днями под нашим окном грохотали трактора, выкорчевывавшие столетние липы и клены. Нам, ребятишкам, было на что поглазеть, и мы все дни болтались на стройке.

Под нашим окном свалили две липы, распилили и вывезли неохватные колоды, но чудовищные корни, похожие на спрутов выволочь пока не сумели, и они лежали до тех пор пока не начали рыть котлован под фундамент.

Мы любили лазать по корням и по остатку ствола. Однажды, когда с десяток мальчишек прыгали и бесились

в корнях, оттуда выпал ком земли. Мы заинтересовались, принялись бить его по бокам палками, и когда осыпалась глина, обнаружился большой черный сундук. Это был настоящий клад! Тотчас подбежали рабочие, вызвали милицию, нас оттеснили, и мы издали видели, как сундук открыли и достали серебряное блюдо, подсвечники и еще что-то сказочное... Дальше смотреть не дали – всех отогнали, а наш сундук увезли. Потом говорили, что это драгоценности Куракиных, спрятанные еще во времена нашествия Наполеона и забытые теми, кто прятал.

Находили драгоценности и неофициально, без вызова милиции и оформления протоколом. Жители нашего дома наблюдали за тем, как несколько дней подряд рабочие в церкви-складе беспробудно пили-гуляли. Все знали, что они раскрыли склепы, таившиеся под полом церкви. В склепах были похоронены священники, служившие в княжеской церкви. Работники склада сняли с усопших кресты и украшения и пропили, продав в «Торгсине» (в те годы в Москве открылись магазины, где в обмен на драгоценности выдавали «боны», и на них можно было купить все, чего душа желает. Все давно исчезнувшие из магазинов товары там предлагались в избытке – только тащи золотишко – от апельсинов до шелковых тканей и дорогой обуви, от французских вин до лучших сортов водок).

Нижний этаж дома завораживал невиданными сводчатыми потолками. Длинный коридор этими сводами напоминал древний замок. В нем и комнаты были сводчатые и походили на монашеские кельи. (Потом узнал, что нижний этаж построен в XVI веке, когда не умели еще делать плоские потолки, а верхний в конце XVIII.) По распоряжению князя Куракина в нижнем этаже устроили богадельню для нижних чинов – участников Севастопольской обороны. Так чудесно совпало, что в богадельне этой когда-то жил мой прадед, Василий Алексеев – отец бабушки Анны, оборонявший Севастополь и награжденный солдатским крестом. (Этот крест мне давали в детстве как игрушку.)

Отец мой получил комнату на втором этаже, расположенную точно над той, где некогда обретался прадед Василий. Первоначально отец как студент строительного института занимал койку в бывшем домике сторожа, притулившемся на краю парка и превращенном в общежитие, а когда родился сын, ему выхлопотали комнату в княжеском доме.

Между тем десятиэтажная громадина быстро росла на месте уничтоженного парка. Пришел миг, когда стена нового дома навсегда закрыла от нас небо. Проход между домами составлял не больше тридцати метров. Говорят, что Каганович собирался взорвать наш дом и открыть фасад нововозведенного гиганта. Но когда обследовали фундамент княжеского особняка, оказалось, что он сложен из блоков известняка, скрепленных свинцовыми перемычками, и, чтоб его уничтожить, нужен взрыв такой силы, которая снесет и новостройку...

Так сохранился наш дом. Отец прожил в нем до конца жизни. Наша комната стала темной и сырой. Постоянно протекала крыша, и в углу, на потолке и стене вечно стояло зеленоватое пятно сырости и гнили.

В нижнем коридоре жил старик, которого мы, ребятишки, безжалостно донимали дурацкими приставаниями. Нам нравилось, как он злится и гоняется за нами. Прозвали мы его Дед Злой. Никто из нас долго не знал, кто же этот человек.

Был он высок, прям, носил старомодный сюртук; лицо в крупных морщинах, седые мощные усы и редкие волосы на голове, голубые или серые глаза.

У него, слева от входа в коридор, были две (!) комнатки. На одного – две! Неслыханно. Именно за это нас и науськивали на него взрослые завистники из обделенных жильцов, ютившихся семьей в одной комнатушке.

К себе Дед Злой никого не пускал. Окна всегда были задернуты занавесками. Лишь с годами узналось, что у него старинная мебель и в углу иконостас с лампадами. Пытаюсь вспомнить, как его звали... Кажется, Николай Федорович. Перейдя из детства в юность, я полностью переменил свое стадное мнение. Помню, что здоровался с ним, и он доброжелательно отвечал.

Бабушка Анна была с ним знакома. Она говорила, что он служил камердинером у молодого князя Куракина, пока тот в революцию не уехал за границу.

В начале тридцатых годов произошел случай, который взбудоражил весь дом. Зимой к Деду Злому неожиданно явился иностранец в шубе с енотом, важный, вальяжный и лощеный. Никого ни о чем не расспрашивая, он уверенно прошел по коридору к двери Деда и пробыл у него несколько часов. Позже выяснилось, что это был молодой князь Куракин, приехавший из Парижа.

По тем временам, когда только и разговоров всюду было о шпионах и диверсантах, вредящих нам в строительстве светлого будущего, появление у нас в доме князя да еще из Парижа представлялось чем-то вовсе немыслимым и фантастическим.

Но, как ни странно, камердинер Куракиных продолжал жить в своих комнатках, никто его не тронул, в тюрьму не посадил.

Умер он то ли перед войной, то ли в первые годы войны, будучи глубоким стариком, не потеряв ни рассудка, ни способности самому за собой ухаживать, не прибегая к чужой помощи.

Так мы прикоснулись к живой старине, к последнему осколку разбитого и навсегда отошедшего мира.

Ребята, которые постарше, рассказывали, что бывали в подземных ходах, проложенных под домом: ходы были очень узкие и низкие, приходилось ползти, пока хватало смелости, в полной тьме...

Я хорошо помню начало лаза в подземное царство. В правом крыле дома со стороны садика у самой стены было углубление, обрамленное белым камнем, засыпанное землей и палой листвой. Раскопав завал, ребята открыли лаз в подземелье.

В нашу квартиру был отдельный вход со двора. К нам на второй этаж вела лестница, под которой таилась во тьме еще одна узкая лесенка, спускавшаяся в подвал. Однажды мы решились со свечкой в руках пробраться туда. Лесенка была крута, и лаз напоминал колодец. Кирпичные стены дышали застоявшимся воздухом сухого подвала.

На дне колодца нам открылись две узких сводчатых комнатки с кирпичными же стенами. Комнатки были совсем пустые. А в дальней на торцовой стене мы с ужасом увидели висевший на гвозде в виде маски человеческий череп (у него была спилена затылочная часть). Перепуганные, мы кинулись вон и больше никогда не спускались в страшный подвал.

Во время войны, в конце лета 1941 года, отец мой, инженер-строитель, устав бегать во время немецких бомбежек

в метро, рассчитал толщину перекрытий нашего дома над этим подвалом и решил, что даже прямое попадание пятидесятикилограммовой бомбы не повредит тем, кто туда заберется во время бомбежки.

Благодаря его расчету жильцы нашей квартиры после сигнала воздушной тревоги собирали одеяла и подушки и спокойно досыпали бомбежку в собственном бомбоубежище. Никакого черепа на стене никто из них ни разу не видел...

К счастью, ни одна бомба не попала в наш дом. А вот в скверик напротив дома угодила и разбила в щепу старый тополь, оставив глубокую воронку (ее вскоре засыпали, но в памяти она осталась, как и все вышерассказанное).

Кстати, в начале пятидесятых годов недалеко от нашего дома, вблизи центрального подъезда НКПС, я часто видел высокого старика с длинной седой бородой пророка.

Он был прям, несмотря на возраст и явную немощь, сквозившую в дрожащих руках, державших потрепанную кепку. Ветхое пальто парусило под ветром, рукава замахрились на концах и были грубо заштопаны у локтей, разбитые ботинки перехвачены бечевкой. Ветер относил в сторону бороду и разметывал седую шевелюру, поредевшую у лба.

Старик побирался, но было в нем что-то гордое, независимое. Он молча смотрел поверх голов проходящих мимо, ничем не отвечал тем, кто бросал в кепку мелочь и, казалось, не замечал окружающего. Иногда можно было подумать, что он не просит, а требует, и лишь крайняя немощь не позволяет ему возвысить голос.

Он стоял здесь только по утрам, совсем недолго и исчезал. Видимо, набирал какую-то малость для дневной жизни.

Однажды отец моего школьного друга (профессор Я. Е. Афанасьев), проходя мимо нищего, узнал в нем редчайшего мастера по металлу, который работал в ЦАГИ у самого Н. Е. Жуковского, дедушки русской авиации, и по чертежам великого ученого делал первые в мире приборы и приспособления для самолетов и дирижаблей. Оказалось, что старик получает ничтожную пенсию, которой не хватает на хлеб.

Побирался он около года, а потом исчез.

* * *

Это первое жилище, которое досталось мне в сем мире, благодаря стараниям родителей, ничем не отличалось от тех, где обитали миллионы и миллионы моих соотечественников в городах.

И все ж оно, несмотря на все убожество, представлялось поистине княжеским по сравнению с деревенскими обиталищами.

До конца дней буду видеть соседнюю избу на нашей улице в селе Мосолове. Почерневшие бревна стен оторочены понизу оплывшей завалинкой с прогнившими досочками, подпертыми жалкими колышками. Маленькие оконца с бельмами заплат на месте выбитых глазков просели почти до земли. Щелястая дверь едва держится на разболтанных петлях. Ни крылечка, ни приступок – вместо них плоский камень, подваленный к порогу. Венчает хижину соломенная крыша, нахлобученная на избушку как драный треух с головы ее хозяина. Солома давно истлела, местами обратилась в труху, обрела серый цвет и неотличима от бревен. Ее драли и трясли не только ветры и дожди. Сами обитатели избы не раз вырывали из нее пучки на растопку печки или беремя для оголодавшей в бескормицу коровы. Справа по коньку крыши, соломы нет вовсе, там торчат почерневшие слеги, когда-то поддерживавшие этот кусок кровли. Они словно ребра павшей коровы, которую начали рвать голодные собаки. Все «удобства» во дворе, возле навозной кучи... Вся посуда – старый чугунок, который ставили на стол со щами или картошкой и из него хлебали.

Раз на железной дороге случилось крушение. Разбился вагон с посудой, и сын нашел среди черепков целую тарелку. Принес домой, поставил на стол. Невиданное дело – настоящая тарелка! Мать положила ему из чугунка в тарелку три картофелины. А прямо из чугунка он всегда получал пяток... Делать нечего. Разбил тарелку, хоть и очень было ее жалко. Стал по-старому получать пяток...

В таком виде избушка эта простояла с двадцатых до начала шестидесятых годов. Тетя Анюта вырастила в ней двух дочерей, которые, едва оперившись, удрали в Москву на завод, выпускавший электроугли. Отец, Иван Русак, не мог принять участия в их воспитании – то сидел в тюрьме (утащил с колхозного склада карман «пошана» для детей –

отсидел, с гумна – чуток ржи пополам с половой – для курей – обратно отсидел, подрался по пьянке – еще раз отсидел), то война началась, и он пригодился на ней пулеметчиком, вернулся без ноги, а когда оглянулся – и ребята выросли. Лишь младший сын Василий остался в селе и неплохо устроился на дровяном складе. Именно он на месте развалюхи построил избу-пятистенку под железной крышей.

Развалюха же запомнилась мне еще и потому, что именно в такой мы прожили больше года во время войны. Она стояла чуть дальше по той же улице и внешне ничем не отличалась от описанной выше (как впрочем от сотен и тысяч по соседним деревням и по всей Руси великой). Дверная притолока была так низка, что я не раз больно прикладывался к ней лбом. Особенно доставалось нам осенью и летом во время дождей. Соломенная крыша, внешне вроде бы совсем крепкая, начинала протекать при сильном ливне в нескольких местах, вода легко пробивала потолок, лилась на пол, и приходилось подставлять под капель все, что попадало под руку – ведро, корыто, чугунки и кастрюльки. Зимой нашу избушку заметало снегом до крыши. Сугроб вырастал такой, что по нему я легко поднимался вровень с коньком и заглядывал в печную трубу.

Много каменных домов-изб по деревням и селам стояли под соломенными крышами. Мастера-кровельщики ценились за уменье так положить солому, укрепленную глиной, чтоб вода не проникала сквозь пласт. Искусство это не всем давалось, и нередко новая крыша давала течь к горю неудачливых хозяев.

Так получилось, что мне довелось проехать и пройти по Руси с запада на восток и с севера на юг, и всегда было больно от вида жилья человеческого. И часто приходило на ум сравнить бесконечные наши просторы с бездной.

Так вот в этой бездне, вместившей полконтинента, самыми темными впадинами отверзаются людские обиталища. Деревеньки. Деревни. Села. Поселки. Городки и города.

Когда впереди по ходу поезда выпрастываются из вечерней дымки скопления почерневших изб, домишек и бараков, не сомневаешься, что все они давно заброшены. Различаешь поваленные заборы и прясла, проломленные крыши с торчащей голью стропил, выбитые окна, щелястые

двери, грязь, лужи или пыль по колено... Видишь и не сомневаешься, что селение покинуто...

Но приблизившись совсем вплотную, замечаешь стожок сена, козу или коровенку, бродящую на веревке вокруг кола, избу с тусклыми оконцами, где выбитое стекло заменила пола драного ватника... Видишь детей, играющих среди луж и грязи или пыли, и с удивлением убеждаешься, что селение обитаемо... Ни деревца, ни кустика, ни одного яркого пятнышка.

Дети, ничего иного не видевшие, растут, проникаясь убожеством, нищенством и непотребством этой пустыни, грязной пустотой этой необозримой бездны. Чего ждать от них во взрослости? Куда ни попадают, все вокруг превращают они в подобие родного селения – вырубают деревья, изгаживают почвы, отравляют воздух, выжигают собственную душу спиртом-сырцом.

И тлеет в пьяном тумане пьяная неприязнь ко всему иному и к тем, кто видел и знает что-то иное, кто не желает вязнуть в донном иле бездны, хочет саженца на месте срубленного дерева, хочет ухоженности и уюта и не хочет говорить на кастрированном языке, состоящем из убогой матерщины. Такие принимаются за чужаков, их отвергают и при случае не преминут сунуть в колесо палку или дать палкой по шее, либо совместить то и другое.

Помимо этих полуобиталищ, полувыморочных, полужилых нынешних селений, выплывают и прохлестывают на восток странные, теперешнему не слишком опытному пассажиру непонятные остатки, обтрепки прошлого.

Почерневшие столбушки с окусками ржавой колючки, покосившаяся или упавшая колченогая вышка с дощатой будкой наверху; кирпичные трубы и печи, стоящие среди едва очерченных остатков раструхлявевших стен; остатки широких ворот, похожих на рамы, обтянутые колючей проволокой, куда легко было войти да невозможно выйти.

Теперь эти останки лагерных ограждений, бараков и землянок или стерлись от ветхости, или старательно стерты, чтоб не мозолили глаза, в особенности вдоль великой сибирской магистрали.

В чем-то удивительно схожи эти выплывшие из памяти мрачные поселения с обычными нынешними, хоть и не огороженными колючкой, но очерченными подобной же безысходностью, беспросветностью и тоской.

Селения нашей бездны – осязаемый образ души их обитателей, укоренившихся обычаев, устоявшихся привычек.

С болью и горечью рассматривая их бесконечную череду, не можешь отвязаться от мысли, что все они – лишь временная стоянка странных кочевников. Неотвязно гнетет представление об орде, остановившейся на ночевку... Наспех сгородили балаганы, кое-как укрылись от ветра, переспали ночь, а наутро – дальше в кочевье...

Но обитатели этих жалких жилищ ютятся здесь столетьями, десятилетьями, годами. С прошлых веков и навсегда остались они в своих балаганах, избах, изобретенных еще древлянами и в почти неизменном виде пришедших в двадцатый век. Это совсем особый род кочевых племен. Они кочуют во времени, бредут из года в год, из века в век, из поколения в поколение, оставаясь на одном месте, и к месту этому не выказывают ни малейшего интереса. Кочуя во времени, а не в пространстве, они пространство свое, землю свою не обжили, не узнали, не приспособили для достойной жизни.

Даже в недавно отстроенных поселках новые дома уже погружены в уличную грязь и пыль, которые как проказа разъедают стены, окна и двери, упорно и неизбежно переводя жилища в состояние кочевого балагана. Никто не отшвырнет грязь от дома, где живет, не замостит хотя бы пятачок у крыльца, не отведет в сторону лужу, не посадит деревце или куст. В новом поселке – те же самые постояльцы, кочевники, прибредшие из бездны темного времени и ничего не исповедующие, кроме нравов своей бездны...

Помню новенький гусеничный трактор, погрязший по кабину в грандиозной луже рядом с недавно выстроенными пятиэтажками в молодом городе нефтяников... Он так и погрузится в хляби, где пролежит столетия на радость будущим археологам.

Проехав на поезде от Москвы до Владивостока и назад, льстилось мне отыскать если не поселки, то хотя бы отдельные дома, говорящие о самоуважении, о домовитости хозяев, о каком-то удобстве и приспособленности жилья для житья в современном смысле, то есть о том, что типично для европейского жителя.

Так вот, таких домов в сельской местности на всем пространстве от столицы до тихоокеанского берега осенью 1991 года мне удалось насчитать из окна вагона пять штук...

Домов, которые близки к тем, что на каждом шагу видишь во Франции или Швеции, в Германии или Финляндии.

Правда, позже, лет через пять-семь, настоящих домов появилось много. В феврале 1998 года, проехав до Екатеринбурга, я видел во многих поселках вполне европейские дома «новых русских», не хуже тех, что сооружены в Подмосковье. Как правило, дома эти стоят особняком от старого поселка и составляют совсем особое поселение, ничем не похожее и никак не связанное с коренным. А в массе своей люди продолжают жить в избах, построенных по образцу XVIII–XIX веков и отличающихся от прародительских лишь электрическим столбом да телевизионной антенной на крыше.





Обломок 11

В Москве на улице Грановского в неприметной серой стене есть незаметная калитка. За калиткой – проходная, где страж в ватном пиджаке и фуражке с зеленым околышем проверяет пропуска. Миновав проходную, попадаешь в обширный двор, образованный скушными домами старой постройки, и идешь прямо к высоким дверям в углу двора.

Навстречу из этих дверей выходят люди, поразительно похожие друг на друга, хотя они, конечно же, разные – на головах у них шляпы разного цвета и фасона, на плечах просторные пальто, так же отличающиеся покроем... Однако взгляд невольно отмечает сходство, а не различия. У всех единый тип лица, серьезного, даже хмуроватого,

с уверенно и слегка надменно сжатыми губами, прямо перед собой глядящими и будто никого не замечающими, но очень внимательными боковым зрением глазами. Встретив знакомого, они слегка склоняют голову, очень редко приподнимают шляпу и вовсе уж редко растягивают рот в улыбке.

Все они тщательно выбриты, у всех белые воротнички и дорогие галстуки, выглядывающие из-под аккуратных кашне. И еще одна общая особенность: все выходящие из высоких дверей несут в правой руке увесистый сверток, перевязанный прочным шпагатом. По виду свертка невозможно определить, что же в нем скрывается. Можно лишь предположить, что книги или некие коробки. Но предположение это вовсе неверно.

Вот и высокая дверь, через которую попадаешь в вожделенный всем чиновничеством спецраспределитель (попросту «Кормушку»). Это большой квадратный зал; по его краям вытянулись прилавки из полированного дерева. За прилавками молодые ребята с с безукоризненной выправкой, с одинаковыми прическами, в одинаковых штатских рубашках и черных галстуках.

Между входящими существует некоторая разница в положении, поскольку каждый заранее знает свое место и уверенно идет к своему прилавку.

Расторопный парень в штатском заискивающе здоровается с подошедшим и подвигает ему листок, напоминающий ресторанное меню.

Спокойно-безразличные лица посетителей спецраспределителя тотчас преображаются: в них просыпается и разрастается глубинный истинный интерес. За один миг и на один миг они принимают свое естественное выражение, обратившись к тому, что трогает их скрытые сердечные струны. Ведь именно здесь они чувствуют себя избранными среди бесчисленных горожан и соотечественников, оставшихся за этими стенами. Те сейчас после работы встают в очереди скудных магазинов, давятся у касс и полупустых прилавков, а здесь можно тихонько назвать вежливому служащему номер съестного товара или отчеркнуть его ногтем, и вот уже на столешнице появляется гроздь бананов (которые в открытой продаже бывают раз-два в году и достаются после долгой очереди), пергаментный сверток со

сливочным маслом, баночки с икрой и другими разносолами, пакеты со всякой снедью.

Можно не спеша расспросить служителя, что получше, посвежей и взять побольше. Можно раздумать и отложить деликатес, заменить его на только что замеченное в списке еще более деликатесное...

Вот уж и шляпа лежит на прилавке, и тяжелое пальто вольготно расстегнуто, и легкая улыбка играет на губах.

А подтянутый парень по ту сторону все открывает новые шкафы, холодильники и лари, все несет еще и еще...

Наконец, все, что надо (и не надо) собрано в красивую внушительную кучу.

Ведь в сущности наш посетитель спецраспределителя из-за этой-то кучи и совершил всю свою карьеру от мелкого служащего до руководителя государственного или партийного учреждения.

Вежливый парень за прилавком достает из кармашка заграничную ручку и быстро черкает что-то на бланке, поглядывая на кучу. Протягивает листок.

Покупатель с чувством собственного достоинства (и с «чувством глубокого удовлетворения») берет листок и не без торжественности направляется к кассе, где уже стоит «очередь» из одного-двух таких же достойных представителей партийно-государственной элиты.

Тем временем расторопный парень стелет на прилавок большой лист плотной коричневатой бумаги, со тщанием укладывает на него пакеты, свертки и баночки, чтобы в итоге получился куб или усеченный конус; заворачивает бумагу, перетягивает шпагатом, особым приемом завершает дело удобной петлей-ручкой.

Ответработник вполне ответственно протягивает оплаченный квиток и стягивает с прилавка увесистый сверток. Так подводится итог ответработы.

Мне удалось понаблюдать эту картинку единожды, когда по сущей случайности в семидесятые годы я миновал заветную калитку и не солоно хлебавши, поглядев вышеописанное, вернулся в мир очередей.

Присловье

Есть тип человека, пронизанного ненавистью. Он ненавидит всех инородцев, а внутри своих единоплеменников ненавидит классово-чуждых, то есть живущих лучше,

чем он. Среди классово-своих ненавидит всех, кто хоть в чем-то более удачлив или умен; даже в собственной семье ненавидит тещу, свекра, зятя...

В результате получается, что любит он только себя. Из таких особей (а их тысячи и тысячи) складывается сила, ненавистью своей способная уничтожить все живое и думающее в своем народе, изгадить целую страну.



Обломок 12

Хлестанула такая гроза, что мама едва добежала до ближней избы, укрылась в сенях, постояла, а гроза все расходится и конца ей не видно.

Неловко так вот прятаться в чужом доме, надо показаться хозяевам. В гремящей градом полутьме нашла дверь из сеней в избу, постучала. Не ответили. Еще стукнула, прижалась ухом. Едва различила слабый голос хозяйки и вошла в дом.

В пасмурных потемках мутными пятнами проступали окна, и поначалу ничего больше не разобрать. Слышалось лишь бормотанье и шорох справа. Там на сдвинутых лавках набросаны дерюжки, тулуп и еще какое-то тряпье.

Тулуп слегка сдвинулся, и показалось женское лицо. Взглянув на него, мама испугалась.

Бледные зеленоватые щеки запали, обрисовав череп, пересохшие губы не прикрывали обнажившихся зубов. Женщина не могла внятно произнести слова – получался стон, хрип, слышалось, как язык стучит по сухому небу.

Переборов испуг, мама наклонилась и расслышала, наконец, слова: «Голодаем, милая... сил нет...» Затем женщина с трудом откинула полу тулупа и открылись две детских головки. Девочка лет пяти и мальчик трехлетний. Они не двинулись – лишь открыли глаза и прищурились от света. Большие головы, тонкие шейки, на лицах лоб и темные зрачки, ртов нет...

Было начало тридцатых, на Рязанщине жили по большей части впроголодь. До того как созреет на огородах молодая картошка, главной пищей давно стали черные блины. Пекли их из барды, которую приносили со спиртозавода, что в семи верстах от нашего села Мосолова.

В той избе, куда случайно забежала мама, не водилось даже барды.

Переждав грозу, она поспешила домой и принесла голодающим молока и хлеба, которые в достатке были у отца, моего деда.

Жестокий смерч коллективизации лишь косвенно задевал его, служившего фельдшером в сельской больнице. У него сохранялась некоторая независимость от всеобщего бедствия – он держал корову, у него был большой огород, сад и зарплата.

Голодающих выходили под наблюдением нашего доброго фельдшера, но все это держалось в строгой тайне – за такую благотворительность могли здорово наказать, ведь в советской стране, согласно партийной установке, не могло быть голода.

И еще вспоминается из того же времени...

Мой поулошный дружок Васятка отличался большим круглым пузом, похожим на белесый арбуз. Непонятно, как на таком кругляше держались портки. Все остальное тело было тощим, тщедушным, он был тонконог, тонкорук с припухшими суставами, ребра торчали, как у скелетика, лопат-

ки выпирали как цыплячьи крылышки, на спине виден всякий позвонок. Все это замечаешь, когда купаешься с ним на речке, обычно же скрывается в выцветшей рубахе и драных портках.

Сейчас он говорит мне, что папанька надысь привез барды, и мать теперь печет блины. В голосе прячется радость и нетерпение. Васятка приглашает меня к себе – вместе отведать горячего блинка.

Соглашаюсь только потому, что голос его полон ликования, что он от души хочет приобщить меня к этому ликованию, к скорому насыщению, к сладости жизни. Сами же блины, как ни стыдно признаться, вызывают оторопь, даже отвращение, и я не могу съесть ни одного. Мучительно делать вид, что ешь и что нравится...

Мы идем через улицу к их избе. Уже на крыльце чувствую острую, удушающую вонь, как будто раскрыли яму уборной и содержимое выплеснулось в дом.

А Васятка весело и таинственно поглядывает на меня, ждет такой же, как у него радости и ликования от обилия еды...

В сенях вонь становится почти непереносимой, но я заставляю себя переступить порог избы..

Мать Васятки, тетя Поля, стоит у печки. На загнетке под таганком горит лучина. Тетя Поля черпает половником из кадушки черную жижу и льет на сковороду.

Барда скворчит и пузырится. Испеченный блин кладется в широкую чашку.

На лавке у стола сидят сестры Васятки – Нюшка и Лидка, они с нетерпением посматривают на чашку, ждут, когда мать поставит на стол.

Тетя Поля в черной выцветшей кофте, черной юбке и платок на голове белесо-черный. Она следит за блинами, но успевает заметить и меня и тихо с горьковатой улыбкой усомниться, понравится ли мне ее стряпня.

Мы с Васяткой садимся рядом с девчонками и молча ждем.

Наконец, чашка на столе. Ребятишки хватают по горячему синевато-серому, цвета осенней грязи, блину и почти проглатывают, не успев разжевать.

Одолевая неохоту, стыд за себя и смущение, я откусываю краешек – на зубах скрипит песок, помимо выгребной вони, блин резко отдает керосином... А мои друзья уже уплетают по второму.

Тетя Поля стоит у стола, сложив руки на груди, протяжно смотрит на детей, вздыхает и утирает краешек глаза кончиком платка.

Со временем я узнал, что же такое эта спасительная барда. Оказалось, это то, что остается от картошки после выгонки спирта – черная, вонючая жижа. На задворках завода вырыты в земле ямы, куда и сливают эти отходы.

В былые времена барду брали для откорма свиней, а теперь, в голодные годы, стали печь блины для себя.

Районное начальство сочло, что советским людям не пристало вкушать подобное блюдо, поэтому вышло негласное распоряжение заливать свалочные ямы керосином, чтобы сделать барду вовсе непригодной в пищу и отбить у селян охоту брать зловонную смесь.

Но голод вынуждал, крадучись, черпать ведрами эту благодать и тащить домой за несколько верст. Если удавалось, приезжали на телеге с кадушкой или на самодельной тележке с бачком для белья. Дома барду отстаивали, снимали пленку керосина, процеживали и из черно-синей, похожей на ил, вязкой жижи пекли блины.

Хорошо помню эти синевато-серые кругляши толщиной в палец. Их ели горячими, потому что остынув, они становились резиновыми. Ими набивали голодное брюхо. Они были лучше, чем ничего.

Это было году в тридцать втором-третьем на многострадальной рязанской земле, которую товарищ Сталин в каком-то из разговоров с соратниками назвал «помойной ямой Подмосковья» (слова эти неизвестно каким образом стали известны нам, жившим в этой яме).

Присловье

Европейцы живут, а мы строим будущее. Но ведь на стройке жить нельзя, можно лишь кое-как существовать.
Обыватели, занятые домом, огородом и детьми, есть основа сохранения жизни на земле. Унижение, пренебрежение, преследование обывателей всегда вело к гибели миллионов людей. Они – основа жизни, которая существует в реальном мире, вне фантазий. Переделывают же мир фантазеры, ничего не смыслящие в жизни, одержимые собственной выдумкой, своим «гением» = безумием, невежеством, незнанием.



Обломок 13

По левому борту вынырнул из лозняков поселок Курейка. Почерневшие, вросшие в землю избушки, казалось, еще дрожали от недавних морозов и пурги.

Курейка отличалась ото всех прочих на Енисее невиданными по здешним диким местам сооружениями. Первым среди жалких хижин бросалось в глаза грандиозное здание с высоченными окнами, лепниной, колоннами и другими излишествами. Правда, приблизившись к берегу, можно заметить, что окна выбиты, лепнина пообвалилась, дворцовые двери висят на соплях, а крыша порядком ободрана и продавлена.

Рядом высился над избушками столь же грандиозный и столь же нелепый здесь пьедестал без памятника. С реки можно различить серовато-черные (когда-то, видимо, золотые) буквы: «СТАЛИН».

Штурвальный, заметив, как я рассматриваю курейские чудеса, усмехнулся с непонятным самодовольством, сдвинул фуражку на лоб и посоветовал заглянуть за борт под воду.

Шагнув из рубки и перегнувшись через поручни, я различил в речном донном сумраке некую глыбу – не то колонну, не то скалу... Приглядевшись же, обнаружил смутно прорисовавшуюся голову, знакомые усы и знаменитый «политзачес»... Да это ж Сам... Лежит под водой, недобро разглядывает снизу всякую проходящую посудину и мотает на ус...

– Видал? – спросил рулевой.

Я кивнул, не совсем еще осознавая, что же произошло – так быстро мелькнула Курейка и ее бывший поселенец, столь сумрачно взглянувший на меня сквозь коричневатые воды.

– Моя работа – похвастался штурвальный. – Рассказать?

И с лихачеством, со смешком набросал оставшуюся в отошедших десятилетиях картину.

Работал трактористом в Курейке, когда в марте пятьдесят третьего пришла весть о болезни и смерти «великого вождя, отца всех народов, друга и учителя». Надо сказать, курейчане с давних пор недолюбливали его – очень уж близко знали в свое время как человека злого, злопамятного и жадного. Посему траурное известие их не то, что не опечалило, а, напротив, привело в настоящий восторг.

Весь поселок первым делом бросился к музею, к роскошному павильону, где хранилась достопамятная избушка, которую когда-то облюбовал Хозяин. Дверь всю зиму была заперта (музей открывали только летом для экскурсантов с пароходов) – ее вышибли, ворвались во дворец и с неистовством от полной безнаказанности принялись расшвыривать экспонаты. Потом, опомнившись, прихватили для своих нужд все, что осталось от великого постояльца: чугунки, котелки, посуду, капканы. Кончив безобразничать по мелочам, принялись за самою избушку – раскатали по бревнышку, повыбрасывали на волю...

Тракторист же придумал развлечение позахватистей. Подогнал трактор к подножию бетонного истукана, с помощью односельчан накинул стальной трос на шею статуи и под общее улюлюканье дал газ.

Идолище не вдруг качнулось. Пришлось крепко дернуть не один раз, пока края бетонной шинели отделились от постамента. Потом товарищ Сталин угрожающе накренился, помедлил, словно бы предупреждая собравшийся люд о возможной ответственности, и повалился в снег. Тяжело ухнула промерзшая земля.

Под глумливые выкрики, смех и свист толпы его потащили к реке. Трактор с натугой пер бетонную чушку. Метров с полста пропахал по льду и оставил там до ледохода.

А весной истукан углубился в лед, укутался в снежное одеяло от глаз охальников и в одну из ночей вдруг исчез. Думали, унесло вместе со льдами...

Когда спустили на воду первые лодки, сразу же обнаружили идолище. Оно лежало на спине и с недоброй улыбкой глядело прямо в глаза каждому проплывавшему.





Обломок 14

Анна Захаровна была незаметной, тихой и словно бы постоянно чем-то удрученной, смущенной, скорбной. Она очень редко заходила к нам, о чем-то потихоньку шепталась с мамой, иногда со слезами на глазах, всегда вздыхая и покусывая губы.

Жила она в соседней квартире, куда можно было попасть лишь через «черный ход» – темный коридор и крутую лестницу. Мы дружили с ее дочкой Аллочкой и частенько захаживали к ним в гости. У них было целых две комнаты! Одна светлая и просторная, вторая без окон, темная, и соединялась с первой дверным проемом. Весь захватывающий интерес походов к Аллочке крылся в том, что в этом проеме

висели настоящие качели, сделанные ее отцом. Мы приходили с сестрой и качались сколько влезет, потому что Аллочка на них даже не глядела. Она была избалованной, отличалась от всех сверстников красивыми платьями, бантами в косах, питались они по тем временам с неслыханными изысками на жалком фоне наших картофельно-пшенных блюд.

Постепенно, с годами, узнали мы, что Анна Захаровна работает машинисткой, позже всплыло, что машинистка она в НКВД на Лубянке. Даже нам, малышне, было известно, что это за учреждение. Помню, с какой опаской и скованностью стали мы поглядывать на маму нашей подружки. Правда, видели мы ее очень редко – она постоянно пропадала на работе, и ее словно бы не существовало.

И вот ото всех тех лет осталось в памяти одно, поначалу, казалось бы, неприметное событие, видимо, тридцать седьмого года... Анна Захаровна серой тенью проскользнула к нам, уединилась с мамой за ширмой и долго что-то шептала ей, всхлипывала, вздыхала с захлебом, снова шептала, проскользнула назад совсем зареванная, и мама вела ее до дверей, вконец расстроенная.

Попозже мы с сестрицей подслушали, как мама потихоньку рассказала отцу, что соседка несколько дней и ночей подряд печатала списки приговоренных к расстрелу, и так переживала, так кляла себя за такую работу, что впору повеситься. Потом мама предупредила отца, что это страшный секрет, о котором и заикаться нельзя – окажешься в том же списке...

Родители полагали, что мы ничего еще не понимаем, и берегли тайну от нас с боязнью, со страхом и отвращением, не подозревая, что и мы бережем отныне ту же тайну каждый про себя ото всех остальных.

На соседку с тех пор я смотрел с ужасом, и мне казалось, что она чувствует это. Она совсем сжалась, высохла и мелькала иногда, похожая на тень. Возложив на нас этот страшный груз, она, вероятно, хотела облегчить свою совесть, но вряд ли это ей удалось. А меня до сих пор уже больше полувека пробирает озноб, обжегший в те годы.



Обломок 15

В те суматошные и крикливые времена после повсеместного свержения единого всеобщего гранитно-гипсового грандиозного усатого кумира, по городам и весям стали ставить разнообразных бронзовых кумиров поменьше и пожиже, кумиров местного значения, которых, с легкой руки Хрущева, называли «маяками». Среди них проскакивали то шахтеры, то горновые, то писатели, стройными рядами шли вместе комбайнеры, трактористы, академики и доярки.

Среди доярок на все лады во всех газетах и журналах славили тогда рязанского «маяка» (может, точнее «маячницу») Коврову. Судя по распечатанным повсюду словам, надаивала она одна целые молочные реки. Такое убеждение

не могло не сложиться у всех, кто о Ковровой лишь читал, слушал или смотрел кино. Ее слава и восторженные панегирики по мере приближения к самой героине, к месту ее проживания и работы сильно тускнели, а затем и вовсе меркли в несколько грязноватых сумерках.

По крайней мере в райцентре Шилово, неподалеку от которого жила и героически трудилась на молочной ферме Коврова, все от мала до велика (кроме, конечно, официальных партийно-государственных лиц) эту фамилию произносили не иначе, как с усмешкой, а то и со скоромной прибауткой.

Из уст в уста передавалось, например, что молоко, надоенное Ковровой, идет только на откорм молодняка. На молочный завод его сдавать не решаются, поскольку в нем по весне обнаруживаются головастики и болотная тина...

Тайна рекордных надоев, по словам очевидцев, крылась в болоте, раскинувшемся возле скотных дворов.

После каждой дойки оттуда привозили бочку воды, которой разбавляли молоко, а затем замеряли, и всякий раз удой оказывался рекордным. Таков был путь от победы к победе...

Но поскольку Коврову сам Хрущев в любое время без всякой записи принимал в Кремле, никто во всеуслышание объявить об этой тайне не решался. А если б и решился, без сомненья, был бы тотчас объявлен злопыхателем, очернителем нашей советской действительности и немедленно узнал бы, где проживает Кузькина мать и зимуют раки. Вот и помалкивали в домотканую тряпочку.

...Однажды ранним утром мы со старым другом оказались в сельце, где жила и трудилась славная доярка. То есть спервоначала мы даже не знали, что это за деревня – шли по проселку и выбрели на край селения.

Широкая улица, заросшая травой, солнце еще не вставало, но уже совсем светло, и кое-где поднимаются над трубами первые дымки.

Неспешно проходя вдоль улицы, мы наткнулись на странное, неслыханное и невиданное по здешним местам сооружение – посреди лужайки, заросшей гусиной травой, стоял бронзовый бюст полноватой, не первой молодости женщины...

Опешив от неожиданности, решили – не могила ли с памятником на таком неподходящем месте... Прибли-

зившись же, прочитали бронзовые буквы: «Герой Социалистического Труда Коврова».

И сразу же на глаза попалась другая странность – огромный «букет», если можно так назвать плотный сноп, составленный из крапивы, чертополоха, репейника, и осота, аккуратно положенный перед памятником... Как потом выяснилось, героиня всякое утро начинала с того, что на рассвете выходила из дома и отбрасывала «букет» в канаву, а по праздникам заменяла его настоящим, из цветов. Однако будничный букет неизменно появлялся следующей ночью обязательно. Так все лето, до самой осени.

Вот ведь испытание... От начальства, награды и славословие, а от односельчан – смешки да позорные подношения. С одной стороны, можно бы радоваться да гордиться, а с другой – только плакаться да стыдиться. Но, видно, героиня была крепко скроена и прочно сшита, и противоречие это одолевала день за днем. Ведь не без ее же усердия и желания возвели ранее ничем не приметную доярку на пьедестал известности, отлили из бронзы и поставили посредине родного села на зависть всем безвестным односельчанам.

И верно, как могла воспротивиться такому соблазну полуграмотная, но бойкая колхозница... В район сверху пришла разнарядка: «вам полагается одна единица Героя по молоку». Доярка баба ловкая, с начальством разговаривать умелая. Секретарь райкома помнил ее по встречам передовиков, по выступлениям на собраниях, ее с незапамятных времен «занесли в актив». Кого ж еще выдвигать?..

Ведь задача решалась международного масштаба: догнать и перегнать США по молоку, творогу и маслу! Нужен «Маяк», на который станут равняться остальные труженицы села, и помаленьку, глядишь, да и перегонят Америку-то...

Раз нужен – найдем, зажжем, распалим! И зажгли, благо скотные дворы стояли у самого болота.

* * *

Литературное начальство затеяло встречу писателей с рабочими алюминиевого комбината в Каменске-Уральском.

На сцену местного клуба по заведенному порядку поднялись все привычные к заседательскому делу, и среди них

два Героя Соцтруда. Герои были в возрасте и передвигались уже не без труда. Один высокий, сутуловатый и сухой, другой немного пониже и поплотнее. Одетые в одинаковые добротные костюмы, сидевшие на них мешковато и явно им неудобные, украшенные золотыми звездами, они сходствовали друг с другом и лицами, выражавшими покорность судьбе, которой взбрела прихоть отличить их от всех остальных, собравшихся в зале.

Эти остальные, когда герои всходили на свой Олимп, слегка загудели, и в гуде этом прорывались смешки.

Мой знакомый, только что вернувшийся со смены в горячем цехе, шепотом объяснил: герои давно не вкалывают, они теперь служат свадебными генералами – их возят по собраниям-заседаниям-совещаниям на отсидку... А зарплата идет, и не маленькая. Признаться, жаль ребят, хорошие когда-то были работяги...

Потом, кивнув на сцену, он посоветовал мне засечь время: герой, который повыше засыпает обычно через десять минут, а тот, что поплотней – через двенадцать... Их теперь сажают во второй ряд, за спину начальства, чтоб не очень заметно и подальше от конфуза.

И точно! По героям можно было бы проверять хронометр! У первого героя глаза остановились минута в минуту, он лишь слегка их прикрыл и, чуть вздрогнув, заснул с почти открытыми. Второй откровенно уткнулся подбородком в галстук и забыл обо всем. Он дает иной раз и откровенного храпака, поэтому рядом с ним сажают ответственное лицо, которое одергивает храпуна.

Оживают они обычно лишь на дружеском ужине после отсидки. Порой даже произносят тосты. Сначала бормочут какие-нибудь пышные и омертвевшие фразы, а под конец внятно и хорошо: «ну, будем здоровы!»

Такова, видно, всякая силком навязанная слава, никому не приносящая радости.

* * *

Круглолицая, полная, закутанная в цветастую шаль, она выкатывалась на высокую трибуну и звонко докладывала о достижениях своего колхоза, пересыпая серые окатыши официальных слов бисером простонародной речи, а напо-

следок отчубучит иной раз залихватскую частушку с приплясом прямо на трибуне. Полусонный зал с ее появлением оживал и отхлопывал свое пробуждение во все повеселевшие ладоши.

Несколько раз встречал я Прасковью Малинину при официальных обстоятельствах и в начальственных застольях, и всегда она была веселой, шумной и звонкоголосой. Геройская звезда в ее руках превратилась в волшебный амулет, позволявший напрямую обращаться к самому Хрущеву, мигом «выбивать» любой дефицит, делать немыслимые хозяйственные финты. К сожалению, ни к чему хорошему все эти чудеса не приводили.

Правда, последний вывод мне дался не сразу. Ведь первое знакомство с ней состоялось через ее книгу, выдержавшую несколько изданий и «с фактами в руках» показывающую ее умелое руководство; и достижения выглядели как несомненные, давая повод порадоваться, что есть еще женщины в русских селениях...

А вот как все выглядело на месте.

Возле костромской деревни Саметь начинается унылая равнина, шагать по которой сущая мука – земля давно развороченная мощными плугами, ныне заросла всякой полевой нечистью в рост человека. С непривычки можно заблудиться в этих костромских пампасах. Но тесть мой, Феодосий Александрович, уверенно ведет нашу компанию к нужному месту. Вот остановился у мощного репейника, нагнулся к корню, пошарил по земле и поднял черепок заварного чайника с синим цветочком на потускневшем от непогод фаянсе. Обтер полой пиджака, вздохнул:

– Тут! Здесь наш дом стоял... Этот чайник дедушка еще приобрел.

Огляделся вокруг, обвел рукой бушующие сорняки:

– Это двор. Это сад. Это огород... А это улица... Дома тянулись в ту сторону по обе руки.

Едва заметно улыбается воспоминанию и тут же мрачнеет, бормочет себе под нос: «Ах, поганка, ах, ты сволочь, ах, курва...»

И объясняет, что ругает Парашку Малинину. По ее ведь выдумке деревенька Новоселово (а всего по округе, по волжской пойме пятнадцать деревень) была раскатана по бревнышку, переведена в другие места. Родных гнезд лишились

сотни семей, выбросились в нежиль, заново принялись обустраиваться. Здесь же удумали создать большой массив пахоты, а деревни, видите ли, мешали вовсю развернуться тракторам. Ну, что ж распахали родную улицу, сравняли с землей место, где стоял дом, прирезали к полям бывшие огороды и посеяли «царицу полей» кукурузу.

Лето выдалось холодное с северными ветрами, беспросветными дождями. «Царица», едва поднявшись, продрогла, простудилась и, пожелтевши, отказалась казать свои чудеса. Осенью ее запахали, благо деревеньки уже не мешали мощным тракторам.

Обжегшись на полеводстве, героиня труда приехала однажды со встречи с Хрущевым, окрыленная новой невиданной затеей, подсказанной охочим до новизны генсеком.

Вызванная из города бригада плотников принялась городить неслыханные сооружения – многочисленные клетки для чернобурых лисиц. Потом появились и сами лесные привередницы.

Колхозный люд, привыкший к курям да телятам, с трудом осваивал странное для тутошних краев занятие – ухажерство за капризницами, призванными украшать дамские манто. Но как-никак выходили стаю остромордых зверей.

Первую партию местной пушнины было решено реализовать у себя в Костроме. Кое-кто из жителей Самети купили женам по чернобурому воротнику (знай наших, не лыком шиты!).

Но форсить пришлось не долго. В первую же зиму лисий мех полез клочьями (спецы определили недостаток витаминов, но объяснение это затрат не вернуло, и жены зло пилили мужей).

Потом на лис напал страшный мор. Да и мясо для их кормежки пошло с перебоями, а отруби и комбикорм черные красавицы жрать не захотели...

Прикрыли и эту затею неугомонной героини-председательши.

Наш Феодосий Александрович знал Малинину с детских лет. Вместе бегали в школу-четырехлетку, познавали аз да буки. Парашка, по его словам, отличалась небывалой тупостью, в каждом классе сидела по два года, и за все время учебы едва научилась читать-писать. По окончании же школы (к тому времени молодой Феодосий закончил семилетку) Парашка сразу выскочила замуж за состоя-

тельного старика и занялась домашними хлопотами. Семейное счастье оказалось недолгим. Старик умер, оставив ей большой дом с полным хозяйством.

Именно это обстоятельство и предопределило судьбу незадачливой Парашки. За неимением постоялого двора, приезжее из района или области начальство направляли прямиком к Парашке, благо дом у нее просторный и стоит посередине села, на видном месте.

Не прошло и года, как юная вдова перезнакомилась со всеми начальниками от низших до самых верхних.

В разговорах была бойка, озорна, смешлива и, главное, всегда и всем умела угодить, никогда никому не перечила. Не удивительно, что у начальства сама собой созрела мысль, а затем и предложение (в смысле – «есть мнение») выдвинуть Прасковью в председатели колхоза.

Так, недавно еще сопливая и недалекая Парашка обрела власть надо всей округой.

В тот наш печальный приезд на останки Новоселова, подвыпив в обед, похожий на поминки, Феодосий Александрович, когда возвращались в Кострому, не стал сдерживаться и кричал на весь автобус:

– Народ честной! Как вам не стыдно, терпите над собой эту потаскуху Парашку! Да ей не председателем, ей хвосты коровам вертеть! Герой труда! Ишь ты. Медный бюст в Самети поставили... Будто она и впрямь герой! Книгу напечатали... Да я с ней за одной партой сидел – она пишет как курица лапой. За нее наемный писака начирикал, чего не было. Нашли героя. За блуд ей героя дали! И не стыдно вам, саметские мужики, не стыдно? И-и-эх!

Шлепнул картузом об пол.

Ехавший рядом счетовод из колхозной конторы погрозил деду высадить из автобуса за хулиганские речи в адрес председателя.

Родственникам удалось отстоять незадачливого оратора.

И кто знает, сколько таких дедов из разоренных деревень пусть не вслух, а в душе клянут преступные закидоны жестокосердой и недалекой героини.

Присловье

Старушка разложила деньги в три кучки: на крупу, на чай, на смерть.





Обломок 16

Усадьба Сергея Демьяныча удивляла еще издали. Странны были окружавшие ее деревья: они росли этакой лестницей – длинная ступень высоких, потом ступень пониже, еще ниже и ступень вовсе малорослых, похожих на кусты.

Когда мы подъехали на своих велосипедах поближе, одна из самых высоких ветел накренилась и медленно с треском и шумом листьев ухнула наземь. И там, возле корня ее завиднелся бородатый человек в выцветшей рубахе навыпуск, принявшийся в одиночку двуручной пилой резать только что поваленное дерево.

– А вот он и сам Демьяныч! – кивнул дядя Аким, сильней нажимая на педали.

Завидев нас и узнав моего дядюшку, Демьяныч оставил пилу и пошел нам навстречу.

– Э, да ко мне помочь подвалила! – добродушно раскинул руки, улыбаясь всем лицом в окладе буйной бороды. Он загорел, крепок, пронизан солнцем и ветром, надувающим рубаху веселым пузырем. Рука, протянутая мне, сильна, широка и уважительна к незнакомому.

И тотчас, едва его коснулся, встречаюсь с глазами, синевато-серыми, вырывающимися из буйных зарослей бровей и бороды и живущими самостоятельно. В них доброжелательство, непраздное любопытство и далеко спрятанная опаска, настолько глубинная, что не сразу поймешь – есть она или только почудилась.

– Экий ты кряж свалил! – пнул дядя Аким дерево. – Давай-ко мы в местях его разделаем.

– Ишь, чего удумал! – засмеялся Демьяныч. – Нет уж. У меня до осени еще во-он сколько. Успеется. Идемте в дом. Сейчас обедать будем.

Берет пилу и топор, ведет нас через пустошь к тропинке, а по ней к дому, скрытому уютными зарослями...

Дядя Аким в разговорах о Демьяныче, еще задолго до нашего знакомства, постоянно называл его «Робинзоном». И вот мы только что увидели одно из робинзоновских дел.

Чтобы избавиться от мороки и волокиты переговоров с лесной конторой, поисков грузовой машины, ожиданий, упрашиваний, связанных с погрузкой-выгрузкой дров, Демьяныч придумал свою систему снабжения топливом.

Большой участок земли, отведенный ему как пенсионеру и бывшему агроному, он разделил по изгороди на десять отрезков, которые засадил ветлой. Каждое лето срезает поспевшие деревья на одном из участков – вот тебе и дрова. Никому не кланяться, никого не упрашивать... Спилил здесь, а рядом подрастает следующая очередь. На участок спиленных деревьев вернется через десять лет, когда они зашумят могучими кронами.

Это вечный двигатель, который работает, пока есть в нем нужда.

Просторный дом наполнен солнцем и острыми ароматами полуденного пчельника – воска, меда, пчелиного яда...

Жена Демьяныча Анна принялась ладить обеденный стол, который решили накрыть под яблоней.

Мы с дядюшкой расположились в прохладной горнице, дожидаясь, когда хозяин переоденется после работы. Сте-

ны были украшены множеством картин, больших и малых. Сначала они виделись просто яркими пятнами на бревнах избы, и я подивился столь необычному для деревни украшению. Потом стал приглядываться. Картины были написаны маслом. На одной, самой большой в середине стены, – дом, в котором мы сейчас оказались, на других – пчельник в разных видах, потом улей, еще улей под вишней в цвету, овцы, корова с теленком...

Все несколько плоско и не совсем умело, но со знанием и любованием всякой мелочью. У коровы совсем живые глаза, на правом роге сидит бабочка-капустница, теленок жует цветочек первоцвета. Пчелы летят к улью одна за другой по линеечке, и у каждой можно различить крылышки и цветочную пыльцу на задних лапках.

Дядя Аким, заметив мой интерес, объяснил, что все картины написаны самим Демьянычем. Это его зимнее занятие – в свободное время вспоминает лето...

Тут и сам хозяин объявился. Новая синего сатина рубаха, вышитая по вороту и рукавам, подпоясана шелковым шнурком с кистями.

– А-а-а... картины-то... – погладил расчесанную бороду, – так в общем-то, баловство, конечно, но интересно, вот и занимаюсь. Для себя, да кто зайдет, посмотрит... Специально нигде не показывал. – Провел рукой по одной из висевших пониже. – Для меня это двойной интерес – я ведь и краски сам делаю. Пойду иной раз по речке, разных камешков наберу, а потом растираю их и замешиваю на льняном масле. Хотите поглядеть? Не видали, чай, как делают краски-то? Теперь они готовые, покупные, а ведь раньше даже знаменитые художники сами растирали краски...

Повел нас в чулан, где на лавке лежал плоский камень и второй, поменьше. В берестовом лукошке играло многоцветье гальки, осколков камней, сохлых лепешек глины разных оттенков.

Положил зеленоватый кусочек на камень, придавил вторым, глухо хрустнуло под рукой, рассыпались по поверхности осколки, еще надавил – и растер в песок...

– Кисти? Да я их тоже сам делаю. Пучок волос у себя хоть от бороды отрежу, краешком в воск окуну, примотаю к палочке – вот и кисть. Если помягче нужна, у Ани, у жены попрошу, у нее волосы шелковистые. Пожестче – свиную щетину позаимствую у нашей Хавроньи...

Тут же, в чулане заметил я жернова – на широком дубовом пеньке – плоский спил того же дерева, но потоньше, с деревянной ручкой с краю и широким круглым отверстием в середине. С внутренней стороны в пенек и в жерновок вбиты осколки старого чугунка – они-то и растирают зерно. В голодные военные годы, раздобыв ржи или пшеницы, мы брали у соседей такие жерновки и мололи себе муку. Сейчас, в пятьдесят восьмом, было странновато встретить это древнее, как мир, приспособление...

Взявшись за ручку, я повернул жернов, он отозвался хрустким, аппетитным голоском.

– Хлебушек у нас тоже полностью свой. Не ждем, когда в ларек привезут, – откликнулся Демьяныч. – Сами растим, сами мелем и печем сами. – Анюта на этот счет большая мастерица, сейчас убедитесь...

Тема Робинзона продолжалась и следовала за каждым нашим шагом.

По пути к столу, уже укоренившемуся под яблоней, мы заглянули в хлев к дородной Хавронье, осмотрели двор, куда вечером загонят корову и четырех овец; кудахтанье кур и клекот индюшек тоже продолжали повесть о полной самообеспеченности и довольстве, созданном на этом кусочке рязанской земли.

В огороде с веселым буйством зеленели и пестрели все известные по нашим местам овощи; к огороду примыкал сад, напоминавший корзину, туго набитую фруктами и ягодами; за ним виднелось небольшое, но крепкое поле с полосами подсолнуха, льна и ржи.

И среди всего этого обилия Демьяныч выглядел мощным корнем, питавшим и пестовавшим окружающую жизнь во всем ее обилии.

Даже сейчас, в редкий праздничный перерыв и отдых, он не упускал случая, оставив нас, отойти на грядки, пролезть меж кустов смородины, чтоб взглянуть, как себя чувствует привитая ветка. И в эти минуты пальцы его, почерневшие от земли и солнца, впрямь казались корнями, а глаза между косм бороды и волос – удивительными ягодами, вскормленными этой землей и радевшими об этой земле, и вбиравшими эту землю.

Стол был заставлен чашками и мисками, полными сегодетошними и прошлогодними яствами. Первые пупырчатые огурчики соседствовали с полупрозрачными от остро-

го сока мочеными яблоками. Розовое сало спорило аппетитностью с медово-желтым маслом. Сизо-зеленые перья лука оттеняли рубины соленых помидорчиков... Посреди стола высился запотевший кувшин-глетчик с медовухой и второй со ржаным квасом.

Демьяныч провел рукой над столом, словно бы указуя на каждый предмет, стоящий на нем, и сказал, что здесь только соль покупная – все остальное свое.

И в немногих этих словах, показалось мне, крылось что-то большее, чем просто удовлетворенность, они звучали как итог всей жизни, как философия.

Потом уж, почти через месяц после поездки и знакомства, дядя Аким помаленьку рассказал мне о жизненной философии Сергея Демьяныча.

Тот с ранних лет подумывал об уединенной монашеской жизни, об уходе от мира, от суеты и неправедности. И так случилось, что когда отправился в монастырь, то попал ко дню его «революционной ликвидации», выглядевшей разграблением и разгоном монахов, надругательством над святынями, чтимыми не одну сотню лет...

Увиденное и услышанное было столь тяжело, что он долго не мог прийти в себя, не мог ни есть, ни пить, ни спать.

Новая жизнь, провозглашенная повсеместно, показалась страшной, несправедливой и опасной выдумкой.

И тем не менее живым следовало жить и не поддаваться унынию. Молодой Демьяныч поступил в уездное агрономическое училище. Земля, растения и люди, жившие землей, всегда были по душе начинающему агроному, выросшему в крестьянской семье. Казалось, тут, в деревне, кормящей всех насельников Руси, останется уголок спокойствия в обезумевшем мире.

Но именно тут-то и отверзлась бездна варварства и произвола. Власть опиралась на людей, которых все на селе знали как пьяниц, бездельников или жуликов и горлохватов. Их назвали бедняками и почему-то именно им вручили поводья правления всеми остальными. Зазорным и преступным стали считать умелое ведение хозяйства, хорошие доходы, зажиточность и достаток. В пример ставили бедняка, который по большей части оставался таковым по лености, глупости, бесхозяйственности или разгульной жизни.

Именно бесхозяйственность и сделалась основой коллективного хозяйства, общего, а, значит, ничейного.

И Демьянычу, привыкшему ценить и лелеять всякий росточек живого, пришлось стать колхозным агрономом, занять должность не столько деловую, сколько бумажную, способствующую той показухе, которая так полюбилась новому начальству. Выше всего ценилось не дело, а умело составленный отчет о якобы деле. Самой главной обязанностью агронома стало составление плана, отчета, рапорта (что за слова могильные, мертвые). Особенно донимали рапорты. Рапортовали к Первому мая, к Седьмому ноября, к пленумам и, в особенности, к съездам партии. Мертвые, набившие оскомину слова, оттесняли и закрывали все живое.

Поначалу поражало, что пшеницу, рожь, овес и всякий овощ сеяли сначала где-то в высоких кабинетах на белой бумаге. Эту бумагу привозили высокие уполномоченные, которые и распоряжались всеми колхозными работами.

Когда один из уполномоченных заставил начать сев зерновых по снегу (весна в тутошних краях припоздала), чтоб отрапортовать в день, который ублажал начальство, Демьяныч заболел от сознания своего бессилия перед непомерной глупостью. Впрочем, его участия и не требовалось: сев шел независимо от здравого смысла – ведь требовался рапорт, а не дело. Позже ему пришлось заботиться о семенах и пересевать в сроки, которые назначила природа, а не начальственная тупоголовость.

В другой раз большое поле по директиве свыше засеяли редиской, никому, как выяснилось, не нужной. Редиска перестояла, обрела прочность дерева и осенью была запахана.

Угнетали авральные сборы урожая, который затем обрекался замерзать и гнить в буртах, оставленных в поле, бессмысленные потери труда сотен людей...

Работа превратилась в пытку, и Демьяныч стал мечтать о пенсии, проживая дни и годы как бросовые, пущенные нараспыл, пустые и никчемные.

И вот он построил свой мир, свой монастырь, отгородился от всего света забором из ветел, отказался от всего, что селяне получали через ларьки и магазины.

После нашей поездки к Демьянычу минуло несколько лет.

В редкие приезды в столицу дядюшка передавал мне приветы от нашего рязанского анахорета-пустынника. Од-

нажды на вопрос мой, что нового у деревенского живописца, дядя Аким ответил, что к живописи прибавилась теперь еще и литература. Демьяныч принялся писать что-то большое в стихах: поэму, роман ли – неизвестно. И в следующие годы на мой вопрос: «Ну, что Сергей Демьяныч пишет?», дядюшка отвечал: «Как же! Познать сколько тетрадок исписал... Но не показывает...»

А как-то, приехав года через два, дядя Аким глухо сказал отсыревшим голосом: «Демьяныч наш приказал долго жить. Схоронили его на кладбище в Сасыкине». – Вздохнул, вернулся в прихожую, порылся в кармане пальто и подал мне свернутую в трубку толстую тетрадку в зеленой школьной обложке: «Вот завещал передать тебе свое сочинение».

Да, это была большая поэма. Называлась коротко «Наука». Чем-то напоминала она картины нашего отшельника – ритм, фразы и рифмы были просты, привычны, даже плоски, но таилась в страницах школьной тетради боль за судьбы людей нашего мира, разделенного, разорванного, раздранного в те годы на две враждебных половинки, где туповатые и алчные генералы потрясали друг перед другом ядерными дубинами и выплясывали боевые танцы дикарей. В многочисленных повторах и перепевах главной мысли поэмы: во всех бедах виноваты ученые, смастерившие для правителей атомную бомбу, мелькали и поразительные по боли и уму догадки.

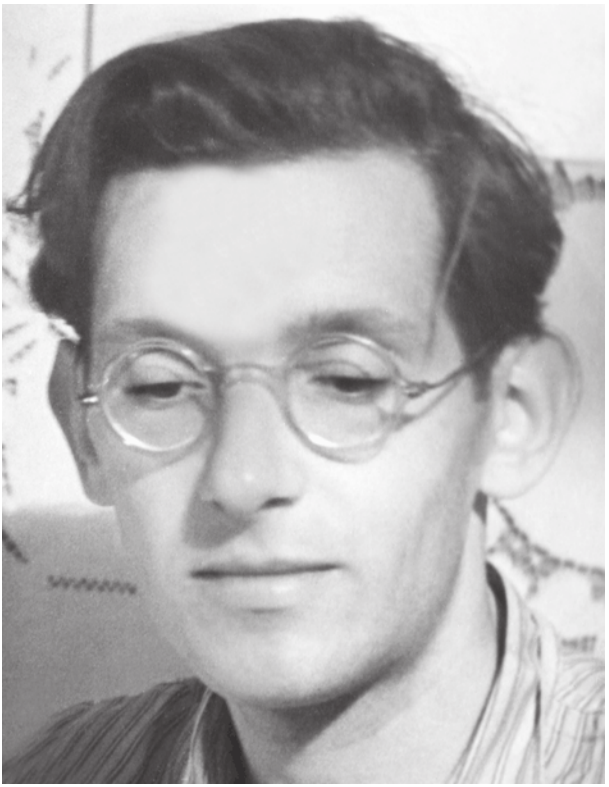
Приведу небольшой отрывок, чтобы дать представление о творчестве нашего анахорета:

Мчится вихрем научный прогресс,
В делах отчет не отдавая,
Слова: мене, текел, фарес
Пишет рука роковая.
Слова те гибель означают
И видны на Земле во всем,
Зловеще Землю освещают,
Они написаны огнем.
И этот гибельный удел –
Вполне законное явленье.
Сам человек из своих дел
Создал себе то положенье
Тут только дела его одни,

Но властно говорят они:
Человек, что ты сеял, то и жни!..
Готовил средства истребленья
С расчетом только для других
И знал ты также без сомненья,
Что то же получишь и от них...

Вслед за Демьянычем вскоре ушла и жена его Анна. Ненамного отстал от них и дядя мой Аким.

Иногда, перебирая бумаги, натыкаюсь на школьную тетрадку с поэмой и вижу пронзительные глаза, руки, похожие на корни, чувствую аромат пчельника и не могу понять, почему насельники земли нашей не приемлют знающего ока и умных рук, почему верх берет ее разоритель, потомок ленивца-бедняка, почему хлеб привозим из-за моря-окияна, и сами стали сплошь бедняками, ежели сравнить с иными народами, и производить умеем только орудия смерти, а не жизни...



Обломок 17

Его нельзя не заметить. Он проходил мимо и сразу навсегда оставался в памяти. Зимой в крепкий мороз удивлял синей толстовкой, подпоясанной тонким ремешком, летними брюками и сандалиями на босу ногу. Летом то же самое, лишь толстовка из сурового полотна. Времен года он не замечал, и его шевелюра, похожая на папаху, не знала ни шапки, ни кепки. Черная борода составляла одно целое с шевелюрой. Мощные волосы сверху, снизу и с боков служили рамой, в которую были заключены большие внимательные глаза, столь же черные, как сама рама, резко поставленный нос. Все остальное скрывалось за стихийной растительностью.

Я знал его с детства, и все в нашем дворе к нему привыкли, но привычка эта не могла стереть первоначального удивления, которое всегда всплывало, едва он показывался на пути.

Сначала он просто существовал в яве и в памяти, потом появилось желание узнать о нем побольше, заглянуть за удивительную наружность.

Спросил у мамы. Оказалось, она давно его знала. Он вместе с моим отцом учился в строительном институте. Тогда, в студенчестве, он был еще большим оригиналом. Зимой и летом одевался в одни только трусы, ходил босиком.

Мама припомнила, как году в 22-м или 23-м студенты-однокурсники провожали его зимой в Ташкент за хлебом. Отрядили именно его по той причине, что ни у кого не было хорошей одежки для столь дальнего путешествия, а он обходился почти ничем. Зима выдалась суровая, мороз под тридцать. Они, закутанные во все, что возможно, дрожали от холода на платформе Казанского вокзала перед товарным вагоном с надписью обычной в те времена: «20 человек, 5 лошадей», хотя набивалась в вагон едва ли не сотня мешочников.

Их однокурсник, одетый в одни черные трусы, стоял на снегу босыми ногами, держал в руке свернутый в трубку пустой мешок и спокойно беседовал с провожающими.

– Неужели не холодно?

– Не больше, чем вам, – спокойно отвечал он на вопрос, который сопровождал его всю жизнь.

Мощная растительность островками курчавилась у него на груди, на спине, руках и ногах. Иногда от него попахивало диким зверем, и людям чувствительным к запахам, особенно девушкам, приходилось перебарывать себя. Впрочем, это неудобство искупалось живостью беседы, оригинальностью суждений, душевной добротой и внимательностью, присущими нашему герою.

Первоначально он, случалось, даже пугал встречных своим видом, но всякий незнакомый, едва заговорив, быстро проникался к нему симпатией, а затем и уважением, и восхищением. Он умел обходиться с людьми, научился прощать их за резкость и располагать к себе.

Мама вспоминала, что ей и подругам всегда было жаль его, поскольку, по их убеждению, ни одна женщина не смог-

ла бы его полюбить, и он был обречен на одиночество – настолько выбивался из привычного круга понятий...

А именно вырваться из этого круга и было целью всей его жизни. Именно такое желание возникло у него еще в ранней юности. Он решил, что станет отличаться ото всех окружающих, и нашел самый простой и убедительный способ: свести одежду до последней малости, не стричься, не бриться, стать «естественным человеком», вернуться к природе...

И вот сейчас на Казанском, он шагнул в полутьму ледяной, открытой всем ветрам щелястой теплушки, взобрался на нары и приготовился к дальнему пути. Закутанные в тулупы и шубы пассажиры встретили его ропотом и смешками, но он несколькими словами их успокоил и стал просто одним из них.

Примерно, через месяц он вернулся с полным мешком муки, которую поделили между студентами и которая многим помогла перенести суровую зиму.

Поближе к весне мама с удивлением узнала, что ее пророчество насчет ожидавшего его одиночества не сбылось.

Он нашел себе девушку, похожую на фарфоровую куколку – светлые кудри, матово-белая кожа и голубые глаза. Впрочем, с житейской стороны она оказалась очень практичной, деловой, прекрасной хозяйкой и хорошим детским врачом.

Она согласилась выйти за него при одном условии – он должен одеться и обуться... Единственное, что ему удалось отстоять – зимой и летом носить сандалии на босу ногу, не стесняя себя носками... И, разумеется, не знать ни пальто, ни шапки...

В таком окончательно сформированном облике я его и увидел.

Годы не могли его изменить. Толстовка осталась толстовкой, хотя никто уже давно не носил подобных блуз; сандалиям не было износу; ни одного седого волоска не блеснуло в его мощной бороде и шевелюре.

У этой удивительной пары родилась дочь, которая незаметно выросла, играя со следующим поколением ребят нашего двора. Я редко ее видел, поскольку сам в играх уже не участвовал.

И однажды встретил ее весенним ярким днем и не сразу узнал – в такую красавицу она превратилась. Соединились

два начала – природная стихия отца и прелестная хрупкость матери. Я смотрел на девушку и не мог поверить в возможность столь изысканного облика, таких законченных, отточенных черт лица, такой удивительной линии шеи и плеч... Ее можно было назвать живой скульптурой или ожившей картиной.

Поравнявшись со мной, она едва слышно поздоровалась и ушла куда-то навсегда. Больше я никогда не видел ни ее, ни ее родителей.

Это было в начале пятидесятых...



Обломок 18

На станции «Шелухово» – нескончаемый эшелон, занявший весь путь, насколько хватает взгляд. Вдоль него бежит боец с винтовкой наперевес и еще издали кричит столпившимся у одной из теплушек бабам и ребятишкам, чтоб отошли.

Бабы отступили на несколько шагов, но не уходят.

Окно теплушки открыто, в нем – никого.

Боец кричит на баб и криком своим привлекает всех, оказавшихся в этот час на станции. Я тоже остановился, ничего еще не понимая. Отогнав собравшихся, боец побежал дальше вдоль эшелона.

И тогда в окне теплушки показалась рука, потом другая, пальцы ухватили край, напряглись, побелели в суставах, и вслед показалось что-то странное, серо-зеленое... Пилотка... Не наша пилотка... О, да это ж немецкая пилотка! Никто еще не видел немецкой формы, но все сразу поняли, кто там в окне... Там немецкий солдат. Пленный немец.

И выглянул продолговатый лоб с жидкими, как бы прозрачными волосами, прозрачными бровями... Потом показались сероватые глаза и поглядели прямо в глаза собравшихся внизу.

Явление немца было поразительно, странно, притягивающе и ужасно, страшно, отвратительно. Трудно смотреть – и оторваться нельзя.

Казалось, подтягивается он бесконечно медленно... Появился прямой нос... Щеки в белесой щетинке... Бледные губы... Длинный подбородок... Появилась шея... острый в волосках кадык... расстегнутый воротник мундира...

Мы, собравшиеся у вагона, застыли, не веря еще в явь того, что видим. Мы знали, что немцы взяли уже много нашей земли, что подходят сюда, немецкие самолеты каждую ночь воют над селом, пролетая бомбить город Горький...

Но в лицо мы видели немца впервые. И видеть его было мучительно – и не смотреть на него было невозможно. Собравшиеся мерили сердцем своим каждый миг, который смотрели. Все движения немца – обычные движения человека, подтягивающегося на руках – выглядели как безмолвное действо, словно в них крылся тайный смысл, недоступный пониманию...

Мы отмечали каждую незначительную мелочь: овалы нечистых ногтей, длину пальцев, строчку пилотки и воротника, – и искали, пытались понять тайну этой неведомой еще силы, терзавшей нашу землю, наших родных и хотевшей добраться до каждого из нас. В этом немце – возможно, самом ничтожном из солдат чудовищной армии – для нас собралось все, обозначавшееся словом «война».

И странно: у собравшихся тут было любопытство, отвращение, брезгливость, гадливость, но не было еще злобы.

На дворе третье октября сорок первого года.

Стоило бойцу с винтовкой отойти, как баба в драном мужнином пиджаке порылась в кошелке, прикрытой мешком, достала большую картофелину, смело шаркнула к вагону и протянула немцу. Тот выпростал руку, она вылезла

из рукава, мослатая в белесых волосках, потянулась к картошке, но достать не смогла. Тогда баба осторожно, чтобы не задеть лица пленного, кинула клубень в окно, и было слышно, как картофелина стукнулась об пол.

И тут немец что-то пробормотал по-своему. Все услышали его голос. Ни на что не похожие чужие звуки, которые, как и весь он, значили одно: «война». До этого мига, пока он молчал, все происходило словно в немом кино, в нереальности, но именно сейчас, когда он заговорил, все наконец уверились, что он и есть живой солдат вражеской армии.

Я впервые услышал тогда из уст немца подлинные звуки языка войны, нисколько не сходные с тем, что слышали и учили в школе. В них была отрывистая жесткость, холодная раскатистость, было что-то от клацанья затвора, хоть немец, вероятно, всего-навсего просто благодарил бабу...

Заметив издали, что баба кинула немцу картошку, боец побежал назад и закричал:

– Туды твою мать! Ты ково жа кормишь! – Оттолкнул бабу, та безропотно отошла. – Он, может, твово мужика убил!

Баба вздохнула и сказала себе самой:

– Может, мово так-то в Ярмании вязуть... Может, кто покормить...

– Да чего ты болтаешь, дура!

Незаметно подошел кто-то еще из охраны эшелона, видимо, начальник и тихонько сказал, что если есть картошка, пусть дадут пленным, и сам откатил дверь теплушки.

В проеме показался немец, выглядывавший из окна. Он был без сапог, во френче с петлицами. Раскатисто сказав что-то, стал собирать картошку, которую баба вывалила в вагон.

За картошкой потянулось еще несколько рук. Показалось лицо другого немца, схватившего картофелину и тут же откусившего от нее, как от яблока и принявшегося жевать сырую, немытую... Он набил рот, раздулись щеки в рыжеватой щетине, заходил кадык...

Боец рванул дверь вагона, которая двинула второго немца по голове.

Представление врага мирному населению закончилось.

* * *

И вот всплывает в памяти лето сорок пятого года... Из скрипевшего в углу репродуктора, который всегда по военной привычке вполуха слушали, прошипело, что нынче через Москву проконвоируют шестьдесят тысяч немецких военнопленных – солдат, офицеров и генералов...

Усидеть в комнате после такого сообщения невозможно. Выхожу на Ново-Басманную. Уже довольно много людей торопятся к Красным Воротам. А на самой площади и по Садовой уже выстроились две стенки зрителей вдоль свободной полосы посреди улицы.

Сегодня жарко, но каждый пробирается на самый солнцепек, поближе к самой середине. Постепенно и я протолкнулся в первый ряд.

Все головы повернуты вправо, откуда должны показаться пленные... И наконец, в асфальтовом мареве Садовой пустая полоса между стенками зрителей вдруг заполнилась чем-то серовато-голубоватым, едва заметно пульсировавшим... И не сразу понялось, что это и есть немцы... Не разобрать еще фигур, тем более лиц... Просто в разношерстную толпу вклинилась инородная масса, протянувшаяся от института Склифосовского к Спасским казармам и дальше...

Они довольно быстро приближались... Вот уж колышутся напротив Орликова переулка... Поднимаются к Красноворотской площади...

И уже различима первая колонна и первый ряд... Уже можно сосчитать: они идут человек по двадцать в ряду... Вместе с ними приближается гул толпы, волна голосов, крика, говора и мальчишеского свиста.

И вот они рядом...

Видны лица... Лица?.. Глаза, носы, рты... Но воспринимаются они не как людские черты... Воспринимаются как подобия... Как ряд масок чужих, враждебных и отвратных... Масок самой смерти... Сама смерть в тысячах ликов идет по Москве... Но сила ее и грозность ее раздавлены. Смерти этой не боишься, и все ж видеть ее тяжело, и на душе гадостно.

Рядом с колонной, почти незаметные и редкие, вышагивают конвоиры, держа наперевес винтовки с примкнутыми штыками. Да еще более редкие кавалеристы медленно

продвигаются верхом на лошадях вдоль шеренги. Они вроде бы даже без оружия... И этих немногих наших солдат теперь достаточно, чтобы сдержать бесконечное шествие побежденных врагов.

Глядишь на фашистов – и охватывает чувство, будто самый лучик, идущий от глаз твоих и прикоснувшийся к ним, пачкается, марается в мерзости, в пакости и хочется оттереть, отмыть глаза...

Это, наверное, потому еще, что лица их черны от загара и пыли, заросли щетиной... Есть и гладковыбритые, вымытые, прилизанные, но они – не менее грязны и мерзки. Такое отношение и убеждение сложилось к ним за годы войны.

У большинства на головах пилотки, фуражки, они сохраняют неизменный вид фашистских солдат, и одно это их обличье отвратно.

Некоторые прикрываются от солнца носовым платком или куском маскировочной сетки. Один фриц в соломенной тюбетейке – единственное яркое пятнышко в мутносером потоке.

Иные идут босиком, перекинув через плечо кованые ботинки. И в этом тоже гадостность – мерзко видеть их грязные ноги, словно бы оставляющие следы на асфальте Садовой.

Общее у всех – к поясу приторочен котелок или консервная банка с проволочной ручкой и у всех, как у одного, из левого кармана френча торчит деревянная ложка.

И все как на подбор – упитанные, гладкие. Нет ни одного изможденного, слабого, больного...

Лица же в толпе зрителей худы и истощены.

Но это не воспринимается как контраст – это граница двух несравнимых стихий. Морды фрицев, их сытость и гладкость принадлежат им так же, как ненавистные пилотки, фуражки, френчи, – и никто не хочет с ними ни в чем равняться...

Потом, по мере того как немцы колонна за колонной проходили через площадь и сворачивали вниз к Каланчевке, к вокзалам, просмотрев сотни и тысячи лиц, я начал отмечать про себя среди них пленных среднего возраста, которых большинство, немногих совсем молодых, которым лет по семнадцать-восемнадцать... Взгляд выхватывал их из колонны и не отпускал... Они рядом, но стена войны и

ненависти напрочь отделяет, отстраняет их в жуткий мир, из которого они появились, эти «гитлерюгенды»... И от того, что они твои однолетки, стена эта видна особенно остро и больно. Есть какая-то труднопонимаемая данность, невероятный факт в том, что они, выросшие в глубине Германии, недавно еще оравшие свое восторженное «хайль Гитлер», сегодня утром проходят по Красноворотской площади, в двух шагах от тебя, от твоего дома...

Пленные молчали, редко-редко кто перекинется словом; одни шли, глядя прямо перед собой, другие – под ноги, но никто не смотрел в сторону обступающих их москвичей, ни один не встретился взглядом со стоявшими по краю людьми...

От колонны доносился запах, как от стада животных или как в цирке... И это нисколько не удивляло, напротив, запах воспринимался как вполне естественный – он и должен быть таким... Фашисты.

Вон тот, с краю, краснохарий в пилотке, идет уставившись в пространство... Рукава закатаны по локоть... Здоровенные рыжеволосые руки, на которых закаменели мозоли от автомата «шмайсер»... Чем иным может от него пахнуть?

Старик дернулся из толпы к конвоиру:

– Откуда стадо гонишь, сынок?

– С Первого Белорусского фронта, – охотно, не отрывая глаз от пленных, ответил солдат.

В толпе засмеялись.

– Да бейте же их! Бейте! Люди! Бейте их! Чего глядите?! – истошно заверещала недалеко от меня седая женщина, только что пробравшаяся вперед. – Бейте! Бейте! Бейте!.. – Закинула худые кулаки, затрясла над головой, упала на асфальт.

Ее подняли, вывели из толпы.

Вот и последняя колонна. Последний ряд.

Следом ползут поливальные машины, в нос ударяет хлорной известью. И простая эта мера предосторожности принимается собравшимися как достойное и единственно верное завершение всего увиденного.

В начальные послевоенные годы пленные немцы стали вполне привычны и повседневны. Они встречались повсюду. Поехал к тетке в Подольск – мимо ее барака утром и вечером проходили на работу и с работы пленные. Без

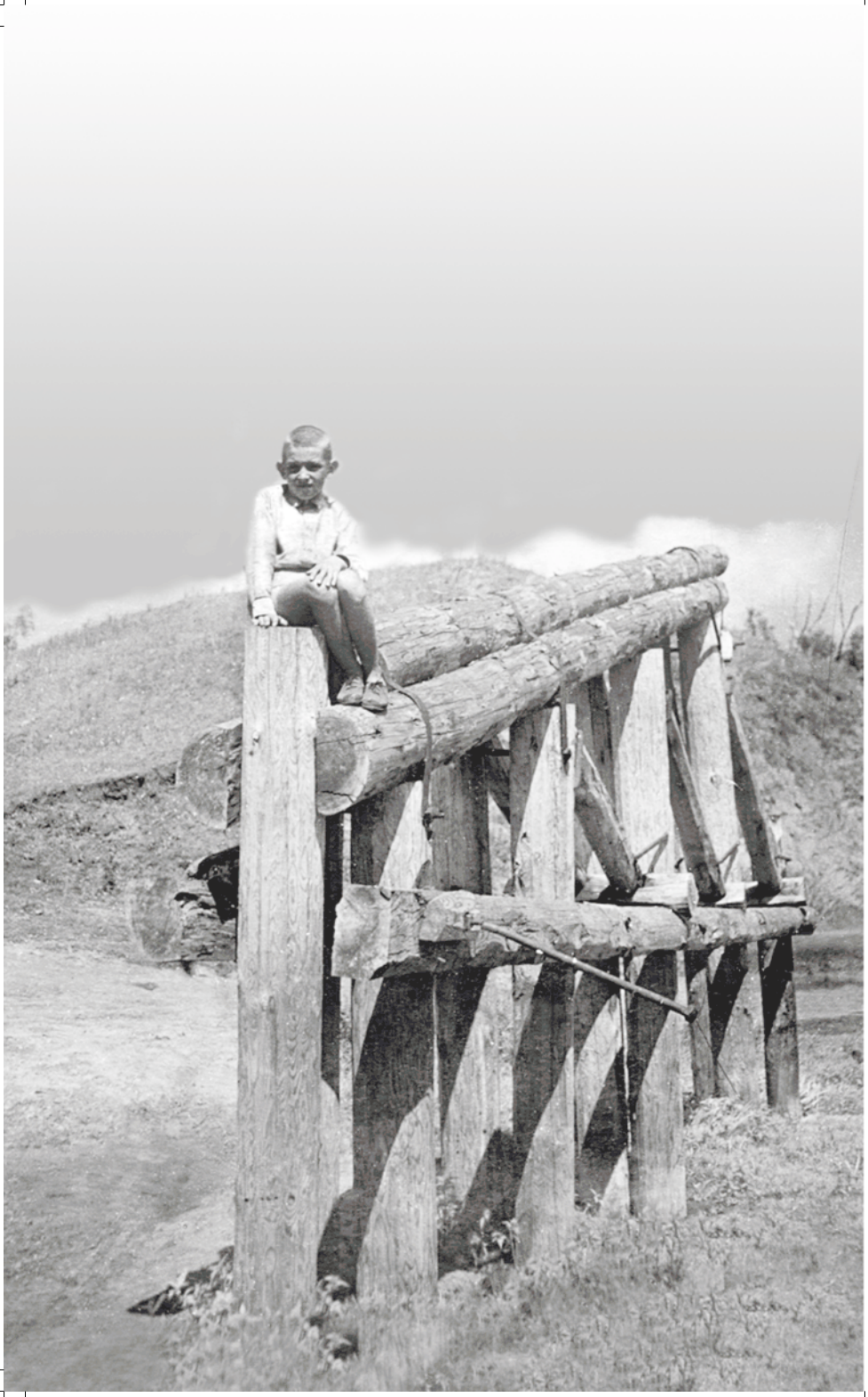
всякого сопровождения. Зеленовато-серые френчи постоянно мелькали на улице, и слышалась немецкая речь, пиликала губная гармоника. Летом сорок шестого на пароходе, долбившем плицами по Оке, я наткнулся на нижней палубе на целый немецкий отряд, перебиравшийся куда-то вниз по течению. Там, правда, были конвоиры и к немцам не пускали.

Но самое грандиозное скопление немцев было в центре Москвы, на Лубянке, где вздумали перестраивать-достраивать мрачный наркомат клеветнических доносов, пыток, лагерей и тюрем, к которому, сколько помню, никого и близко не подпускали часовые, ходившие вдоль стен с винтовками наперевес, но куда всякий мог угодить.

Там пленная немчура появилась неожиданно.

Старое здание (грязно-серое, с часами под крышей) вдруг обнесли длиннейшим забором. А потом за воротами этого забора стали мелькать немецкие френчи и пилотки. Пленные несли на носилках кирпич, раствор для кладки... Потом, когда новые пристройки подросли до второго этажа, стали видны и каменщики, почти по Брюсову, строившие эту тюрьму. Пленные работали слаженно, сосредоточенно, без перекуров и расслаблений. Построенное ими здание замкнуло все пространство за старым домом, и тюрьма стала еще крепче, еще неприступней. По чьей-то прихоти новые стены покрасили в песочный цвет, почему-то отказавшись от цвета старого дома – серо-черного, наиболее подходящего для такого учреждения.

На окраинах Москвы немцы построили немало жилых домов. Их сразу отличишь от привычных наших барачных строений. У них высокие крыши, большие окна, они просторно стоят по улице, каждый особняком, каждый на свой лад, в них есть что-то от того, что впоследствии, через десятки лет, мы увидим за границей.





Обломок 19

Мне пять лет. Любимое занятие – удрать в соседнее «царство-государство». Надо миновать бесконечные ряды картофельных грядок, раздвигая пряно пахнущую ботву, потом идти по высокой траве вдоль забора до того места, где одна планка держится лишь на верхнем гвозде. Отодвинув ее в сторону, перелезаешь в соседний сад к Вальщиковым.

Их дом стоит не в уличном ряду, а внутри сада, отдельно, и уже это замечательно, необычно. Под яблонями меня встречает моя подружка Галинка. Ей тоже пять, и мы играем вместе в их саду, среди старых скрюченных деревьев. Но прежде чем начать игру, она ведет меня за руку в дом к матери или в мастерскую к отцу – дяде Ване.

Дом у Вальщиковых черный, длинный. Он больше других домов из-за мастерской, которая примыкает к нему. Бывать в мастерской мне нравится, но вхожу я в нее с опаской. Вот сейчас Галинка нырнула в темный проем двери, а я не решаюсь, уже почуяв липучую вонь распаренной овечьей шерсти, из которой дядя Ваня с двумя старшими сыновьями валяет валенки. Постояв на пороге и одолев отвращение, вхожу, останавливаюсь у большого чана с горячей водой, привыкаю после яркого солнца к влажной полутьме, в которой у стола работают мастера. Удивительно, как на глазах комок распаренной овечьей шерсти ложится на колодку и превращается в мохнатый, неровный, но уже видный валенок, как его оглаживают, похлопывают и он становится все красивей и тоньше.

И еще интересней быть с главным валяльщиком, с мастером дядей Ваней. Он в грязном, коробящемся на груди фартуке, сильные руки обнажены до локтей, борода такая же рыжевато-черная, как овечья шерсть в его руках. Заметив меня, он оставляет все дела, подхватывает на руки, говорит что-то веселое, подкидывает к черному потолку, и я всем сердчишком чувствую его доброжелательность и уже перестаю замечать вонь овечьей шерсти. Двое его сыновей тоже подходят и тоже говорят что-то веселое, доброе.

Дядя Ваня обещает мне к зиме свалять валеночки-чесанки по ноге. Он прикладывает к моей босой ступне совсем черную, жесткую от мозолей ладонь и что-то отмечает на ней каменным ногтем.

Потом мы уходим с Галинкой в сад играть. Потом меня ищет мама, и находит, и уводит обедать, хотя дядя Ваня оставляет нас обедать у себя и обещает моченое яблоко; и Галинка догоняет нас у забора, и сует мне его в руку, холодное, запотевшее, пахнущее мятой и смородиновым листом.

Осенью перед нашим отъездом в Москву, дядя Ваня сам приносит мне валеночки, я меряю их, и так в них тепло, так уютно, что неохота снимать. Они еще круглые от колодки внизу у ступни, но скоро разносятся и улягутся по ноге.

Дядя Ваня что-то шутливое говорит с мамой. Он отказывается от денег – это-де в счет Галинкиного приданого, и тут все смеются, заметив, что мы с Галинкой стоим, взявшись за руки.

Никто еще не знает, что видимся мы в последний раз.

На следующее лето, едва пришли со станции, я потихоньку ото всех побежал к соседям. Перебравшись через городьбу, я не узнал любимого местечка. Сад зарос травой и крапивой, дом стоял пустой с разбитыми окнами, распахнутыми дверьми, в мастерской чан кверху дном, стола нет вовсе...

Расспросы взрослых дали непонятный ответ: «Вальщиковых раскулачили».

Потом уж постепенно обрисовалось, как все произошло и что значит поначалу непонятное и гадкое словцо «раскулачили».

Поздней осенью большое и доброе семейство вальщиков-валяльщиков разорили, разграбили и согнали с насиженного места за то, что имели мастерскую. Всех, включая малышку Галинку, погнали на станцию, погрузили в бычий вагон и сослали в Казахстан. Там среди голой степи высадили и бросили.

Сосланные принялись рыть землянки, а наступила уже суровая зима с ветрами и морозами. Дядя Ваня простудился и умер на чужбине. Галинка тоже вскоре умерла.

Через многие годы тетушка моя, вспоминая те события, рассказала, что одна из ее подружек, выйдя замуж за Лешку, комсомольского активиста, кулачившего Вальщиковых, однажды появилась с колечком на пальце. Тетушка сразу это колечко узнала, поскольку сама подарила его старшей дочери Вадьщиковых... А подружка похвасталась, что Лешка набрал у раскулаченных целый мешочек перстеньков да ожерелий.

– А че? Не я, дак другой возьметь. Пущай уж у мине останется...

Так ответил активист на теткин вопрос о колечке.

Село наше и соседние деревни остались без валенок – некому стало валять катанки-чесанки.

С той поры поселилось в душе предчувствие постоянного зла, грозящего всем вокруг, и особенно умелым, умным, веселым и добрым, как дядя Ваня и его семья. И предчувствие это подтверждалось чем дальше, тем больше.


ГОСТИНИЦА
„ЛЕНА"



Обломок 20

Этот невысокий, всегда насупленный и надутый человек – председатель Комитета по печати – был в сущности обычным назначенцем, которого поставили стеречь издательства от «проникновения чуждой идеологии». С таким же успехом он мог бы стеречь мясокомбинат, свинофермы, парфюмерную фабрику или парк культуры и отдыха. Его сразу же выдавало лицо кладовщика, завмага или сторожа. Мелкие серые глазки, всюду ищущие обман и идейную нерадивость, проседь бровей, подчеркивающих невыразительную квадратность лица, прямой широкий рот, сизые щеки, почти поглотившие мягкий, как бы ненужный нос. В общем, не лицо, а горка старой картошки, наспех вываленной из котелка.

Владелец не умел им распоряжаться, настолько все в нем неопределенно, расплывчато.

Зато председатель мастерски владел голосом и с его помощью выходил из любых ситуаций. Прием у него был один, но беспроигрышный. Любое совещание или просто разговор он начинал невнятным, едва слышным бормотаньем – что-то мямлил, тянул, вымучивал. Его слова слышали только те, кто сидел совсем рядом, в другом конце стола разговор его сливался в невнятное жужжание, вернее, брюзжание. Протянув так несколько минут, председатель неожиданно громко хлопал ладонью по столу и во всю мочь кричал, если не орал, одно-два слова, подводящих итог бормотанья. Этот резкий ход всех заставлял взрогнуть и понять, что перед ними не хухры-мухры, а министр, облеченный полномочиями, который не даст потачки, не позволит нести отсебятину и всякого обяжет проводить правильную линию по железной линейке, которую партия вручила ему.

Все обсуждения велись по этой немудрящей схеме. Помнится, как к нему принесли на утверждение макет альбома «Золотое кольцо России», посвященного древней русской архитектуре, который замыслили как подарочное издание на двух языках.

Художники, редакторы, полиграфисты, сидевшие вдоль длинного стола, как повелось, сначала прислушивались к бормотанью председателя, ворошившего страницы макета с наклеенными фотографиями, а потом, ничего не поняв из непрожеванных слов начальства, утратили интерес к происходящему.

И тут председатель грохнул по столу короткопалой ладонью. Все вздрогнули, поняв, что начинается главное.

– Кресты! – выкрикнул он, разломав тишину. – Только посмотрите – тут же одни сплошные кресты! От крестов в глазах мельтешит! – Загородился ладонями, и его короткие, похожие на рубленые сосиски, пальцы замелькали возле лица. – Государство тратит огромные деньги на атеистическую пропаганду – и нате вам: сами же себе суем кулаком в бок! Кресты! Что ни страница, то десяток крестов! Это надо решительно поправить со всей партийной ответственностью! Что скажете, товарищи? – с недобрым скрежетом обратился председатель к авторам макета.

Два художника – один совсем молодой, второй уже в летах – не могли собраться с духом для ответа.

– Я вас как авторов спрашиваю! – загрохотал председатель. – Если издательство в лице руководства не смогло вас поправить, то будьте благодарны, что комитет не пропустил ошибки и вовремя указал на грубые нарушения! Так что вы скажете?

Пожилой художник, одолев робость перед разъяренным начальством, попытался все же возразить:

– Но... «Золотое кольцо России» – это прежде всего старинные монастыри, храмы... А какая же церковь без креста?..

– Ваше возражение безответственно! – оборвал его председатель. – Вы же опытный работник и должны знать, что есть такой прием, как кадрирование. – При этих словах он с помощью короткопалых ладоней вырубил перед собой в пространстве квадрат. – Обрежьте фотографии по верхам, и сразу уйдут десятки крестов. Незачем нам педалировать кресты! Неужели мне, председателю комитета выполнять работу, которая должна завершаться на уровне издательства?

Его и без того сизые щеки стали свекольными. Еще миг – и вспыхнут спиртовым пламенем.

И как-то само собой подумалось: он же представляет здесь нечистую силу... Кого, кроме сатаны, могут так бесить кресты?

Его требование равносильно тому, чтобы заставить на групповом снимке обрезать головы и оставить от снимавшихся одни туловища...

Присловье

Религиозные праздники обращены к душе, к сердцу, они – домашние. Святые, в честь которых вершатся праздники, близки людям.

Революционные праздники обращены к сознанию, они абстрактны, предназначены для всех и поэтому не касаются ничьей души.

Первое мая – праздник солидарности с мировым пролетариатом. Но какая может быть солидарность, если даже шапочное знакомство с пролетарием из капиталистической страны карается как преступление – шпионаж

и предательство? Поездка в страны, где проживает мировой пролетариат, строжайше запрещена под страхом жестокого наказания...

При коммунизме сменили православие на язычество. Сотворили идолов из вождей и начальников помельче и поклонялись им, чтобы обезопасить себя от их гнева и капризов.



Обломок 21

Поезд тащился по плоской западно-сибирской бесконечности. От вагонной пыли и паровозной гари лица почернели, волосы свалялись, тело тосковало.

На одном из полустанков эту медленную скуку разорвало и отбросило самым неожиданным образом.

Мимо нашего состава, стоявшего у жалкого вокзальчика, пронесся невиданный товарняк. Его теплушки цвета пропыленной ржавчины были вдоль и поперек обвиты колючей проволокой. На первом и на последнем вагонах громоздились дощатые будки, щетинившиеся пулеметами; справа и слева от вышек-будок торчали прожектора. В зарешеченные оконца выглядывали темные с синевой отрешенные лица. Просверк глаз, как кинжальный огонь...

Придавленность, униженность, боль и ненависть, зависть ко всем, кто на воле...

– Власовцы, – шепотком выдохнул сосед, сидевший у окна.

От одного слова охватывала опасливость, невольно оглядывался – не услышал ли кто, могущий за одно слово отправить следом лагеря на колесах.

По сибирской равнине текло лето сорок седьмого года.

Потом всплывает из того времени деревенька, притулившаяся между всхолмиями предгорий Алтая. Теперь уж не припомню ни названия ее, ни хибарок... Шли мы не в самую деревню, а за нее, туда, где значилось поселение ссыльных литовцев.

Помнится удивление, когда по всем приметам мы к этому поселению подошли, но не увидели ни одной, хоть самой ледащей избушки-развалюшки.

Вдруг справа, прямо из-под земли выскочил мальчишка лет четырнадцати. С любопытством нас оглядел и собрался нырнуть опять к себе под землю.

Я успел спросить, нельзя ли к ним зайти?.. Понимал нелепость вопроса, но ничего иного в голову не пришло.

Из-под земли появилась пожилая женщина в старом ватнике. Лицо ее отличалось от лиц известных мне местных жителей ухоженностью и благородством и не вязалось с убогой одеждой.

Я повторил свою просьбу.

Она удивленно подняла брови, с горечью усмехнулась и досадливо отмахнулась, но под землю не спешила, вероятно, что-то обдумывая. Потом сказала, чтобы мы подождали.

Приглядевшись, я заметил вокруг еще несколько землянок. Там и сям из-под земли появлялись поселенцы и расходились по своим делам.

Землянка, куда нас пригласили, ничем не отличалась от соседних. Над луговиной возвышалась куча земли, поросшая хилой травкой и служившая крышей. Сбоку в эту кучу был вмазан неровный осколок стекла размером чуть больше почтовой открытки. Торчала железная труба.

Из-под земли вынырнул давешний мальчишка и с акцентом сказал, что бабушка зовет войти.

С торца землянки был вырыт глубокий лаз со ступеньками. По срезу земли кое-где успела прорасти трава.

Мальчишка распахнул перед нами дощатую дверь, обитую какой-то рванью и мешковиной. Дохнуло дымком и сыростью.

Оказалось, пока мы дожидались, хозяйка успела переодеться в шерстяную кофту непривычной, наверное заграничной вязки, успела тронуть губы помадой и помолодеть лет на десять.

В отличие от внука, она говорила почти без акцента, приглашая сесть на дощатый топчан, прикрытый потертым одеялом, и извиняясь, что не может предложить кофе. Самое слово к о ф е звучало здесь нелепо и диковато; она почувствовала это и усмехнулась.

Землянка и впрямь не располагала к кофейным церемониям.

Слева от входа стояла печечка, обмазанная глиной; по стенам с обеих сторон – топчаны; у стенки, что напротив входа – дощатый столик, накрытый облупившейся по сгибам клеенкой. С правой стороны в земляную стену ребром вбита досочка и вмазан осколок зеркала. На этой жалкой туалетной полочке лежал великолепный черепаховый гребень и золотилась трубочка губной помады.

Усадив нас, хозяйка присела на топчан напротив и расспросив, кто мы и откуда и как-то сразу поверив нам и нам доверясь, стала рассказывать о себе. Она говорила, не прерываясь, одним потоком, лавиной, водопадом слов. Было видно, что она хочет разорвать петлю безысходности, замкнутую на этой жалкой землянке, на невообразимой нищете здешней жизни. Она рвалась в прошлое, и наш странный приход оказался предлогом забыть окружающее, перебороть и отбросить прочь самое время.

Вскоре откуда-то из-под столика она достала небольшой альбом в полотняном переплете с тесемками-завязками. Такие альбомы художники держат для набросков.

На миг примолкла, погладила переплет и в новом порыве с отчаянием нырнула в былое.

Оказывается, у них в столице в свое время сделался знаменит художник, рисовавший карикатуры и шаржи на людей высшего света.

Начал новоявленный мэтр с самого президента – разразился целой серией забавных рисунков, от которых первое лицо государства осталось в полном восторге...

Сейчас, в сорок седьмом году, нам странно и страшновато было слышать о карикатурах на высоких руководителей

своей страны, удивительно звучала и восторженность, с которой такое воспринималось там тогдашними людьми. Перед нами была женщина из иного мира и времени, нам непонятного и для нас невозможного.

Мы лишь потом поняли, что самое посещение землянки и выслушивание рассказов ее обитательницы могло для нас кончиться непоправимыми бедами.

А наша новая знакомая уже раскрыла альбом и показывала шарж на своего мужа, министра тогдашнего правительства Литвы.

Художник одной линией, не отрывая пера от бумаги, начертил совсем живое лицо. Я не мог разглядеть в этом рисунке ни шаржа, ни тем более карикатуры. Было только что-то веселое, даже озорное, бесшабашное, и в этом, вероятно, крылась соль подобных рисунков.

И тотчас пронзило осознание происходящего: жена министра здесь, в земляных стенах, в нищете, в глуши алтайских предгорий...

Мы разглядывали портрет. А хозяйка смотрела куда-то сквозь альбом, сквозь время. Вот она потянулась перевернуть страницу, но удержалась, не могла оторваться.

Потом изменившимся голосом – о своих друзьях и знакомых, шаржи на которых остались в альбоме. Это были министры, их жены, были известные богачи, был писатель, был журналист, мелькнул автошарж самого художника...

Портрет дамы с замысловатой прической, капризным ртом, своевольным подбородком.

Наша хозяйка коротко и загадочно засмеялась и объяснила, что это знаменитая актриса, от которой все тогда были без ума. Опять засмеялась, прикрыв глаза и поправляя волосы быстрым и молодым движением.

Однажды на пари эта актриса средь бела дня совершенно без ничего из одежды, ну просто в чем мать родила – проехала по центральной улице на извозчике. Об этой ее выходке судачили целый год, а в театр просто ломились – лишь бы на нее взглянуть...

Самозабвенно залилась смехом, закинув руки на затылок, перенеслась в свою прошлую жизнь, переборов гнетущее тяготение нынешнего бытия.

Чуть позже сказала внуку, чтобы сбегал за дровами и водой – хотела вскипятить котелок и угостить нас чаем из зверобоя.

Мы удержали ее, она настаивала, но скоро сникла, постарела, согнулась. Завязывая альбом, вспомнила, как ехали сюда на поселение в холодных грязных теплушках под охраной грубых и наглых солдат... Словно бандиты или воры...

Их выслали на Алтай еще в сороковом году. Литовские семьи подселяли к местным. Трудно представить, как можно жить в таких маленьких, тесных избушках... А тут пришлось ютиться сразу двум семьям. Хозяева, конечно, и остаются владельцами хижин, а ссыльные ютятся в уголке. Хорошо еще, если есть доброта и сочувствие, а то ведь и враждебности немало. Сами знаете, какое отношение к чужакам, да еще не всегда говорящим понятно... В совхозе дали самую грязную и тяжелую работу: чистить коровники, косить траву, возить сено и навоз. Доить коров не доверяли, хотя доярками смогли бы многие поработать.

Не успели привыкнуть к ужасной этой жизни, как пригнали вторую очередь ссыльных. Тех уже и вовсе некуда поселить – все занято. Отдали им клуб – попросту говоря, пустой барак – селитесь, как можете. Двадцать семей, сплошь женщины и дети. Отгородили себе занавесками по куску пола – вот и жилье...

Среди ссыльных оказался лишь один мужчина, пенсионер, бывший военный. Ходил в серой форме литовской армии. Он был грузный, старый человек с большим животом. Местные ребятишки ему прохода не давали, кричали все время: «Беременный! Беременный!»

Через два месяца от переживаний и скудного питания живот у бедняги подтянуло к спине. А мальчишки на улице не унимались, продолжали доводить старика: «Родил! Родил! А где ребеночек?»

Не смогли ссыльные вытерпеть общежитейских условий существования. Как-то летом собрались несколько семей и начали копать на пустыре землянку. Вырыли, обустроили, как могли, и первые счастливцы зажили самостоятельно, независимо от ворчливой хозяйки. Этот опыт захватил всех. Копали днем и ночью...

Наша знакомая совсем согнулась, уперлась подбородком в сложенные на коленях руки, долго молчала.

Арестовали мужа, неизвестно куда выслали дочь и ее супруга. Отобрали все, что было, загнали сюда... Зачем?

Кому от этого стало лучше?.. В этой нищей стране двумя нищими стало больше... И только. Этого добивались?

Распрямилась, промакнула платочком глаза.

Луч солнца пробился через осколок стекла под потолком и осветил альбом, попавший сюда, в пустынные предгорья Алтая, совсем из другого мира, с иной планеты, от людей иных судеб, иного склада и других понятий.

Присловье

«Никогда не забывайте, что мы граничим с Сомали и Эфиопией».

«Как вы не поймете – все это не националисты и шовинисты, не коммунисты и демократы – все это Русь в смене своих безобразных масок (по Бердяеву), это она перенаряжается и всех нас вовлекает в действо на стороне тех, кто захватывает сцену».



Обломок 22

Кабинет был так громаден, что приглашенные на коллегию Министерства культуры СССР уже в дверях чувствовали себя муравьями и букашками, не решаясь одолеть пространство от порога до грандиозного стола заседаний.

За вторым столом, покороче, поставленным поперек первого, пересекавшего кабинет, сидела Фурцева. Росту небольшого, щуплая, в ладно сшитом костюме, в кофточке со шнурком вместо галстука. Лицо ее, вероятно, не будь она министром, можно бы назвать даже миловидным – чистый овал, правильный нос, четкие брови, слегка подведенные губы, ухоженные волосы, очки в тонкой оправе...

Но министерская должность напрочь перечеркивала все эти подробности и сразу как бы лишала ее пола и всего с ним связанного.

Приходили на коллегию по большей части мужчины, но, кажется, никто не только не видел в ней женщину – даже в мыслях не держал ничего подобного.

Для всех собравшихся за столом сидело руководящее существо.

Пока приглашенные толклись в дверях, робко пробирались в конец похожего на шоссе стола, стараясь быть незамеченными, она что-то читала, шелестела бумагами, не замечая окружающего. За спиной ее стоял помощник, который подкладывал бумаги или, напротив, собирал подписанные. Существо-министр работало в автоматическом режиме.

Наконец, стол заполнился прибывшими. Фурцева вскинула белесую головку, сверкнув очками, невидящим взором оглядела пришедших:

– Все в сборе, товарищи?

Помощник склонился к ее уху и что-то зашептал, она недовольно подняла брови:

– Как? Опять опаздывает? Неужели на коллегию раз в месяц нельзя без опозданий?

Оказывается, речь идет о ее заместителе.

Он, кстати, тут же появляется, хозяйским шагом проходит на свое место (первый стул справа от ее стола), извиняясь глубоким рокочущим баритоном. По облику и повадкам – это настоящий барин: под два метра ростом, раза в четыре превосходит министра по всем габаритам. Заняв свой стул, он окончательно заполняет все заседательское пространство, нисколько не нарушив расписание работы коллегии, лишь внеся в ее ход некоторую пикантность своим мнимым опозданием.

По установившемуся правилу ближе к министру за длинным столом расселись наиболее ответственные, а в конце стола почти безответственные (нечто вроде гарнира к министерскому блюду), вроде меня, так и не понявшего, зачем приглашали.

Заместитель министра что-то доверительно рокочет Фурцевой – слов не разобрать, но судя по ее вскинутой головке и почтительной мине, он вернулся с Самого Верха, откуда принес некий важный документ, который осторож-

но, как хрупкий предмет, достал из щегольской черной папки и передал ей через стол.

Шепот между собравшимися замирает. В полной тишине министр просматривает документ, щелкая лощеными страницами.

Ее брови поднимаются и опадают, лицо становится неподвижным и вовсе кукольным. Все застолье понимает, насколько важную бумагу принес заместитель и чего стоило ему, тем не менее, не опоздать на заседание коллегии.

Наконец, Фурцева осторожно укладывает полученные листки в красную с золотым тиснением папку и невыразильным «деревянным» голосом говорит заместителю:

– Это особый разговор. Необходимо провентилировать вопрос в республиках и областях, потом вызовем кого надо на ковер и подработаем обобщающий документ.

Заместитель в экстазе от собственной значимости что-то рокочет ей, видимо, готовый тотчас начать выполнение указания свыше. Фурцева нетерпеливо его обрывает:

– Хорошо, хорошо! Прекратите ваш прессинг! Я же сказала – это особый разговор, а сейчас переходим к повестке дня. Кто у нас слушается первым? Малый театр? Пожалуйста.

Называет главного режиссера.

Тот поднимается где-то в середине стола. Он взволнован, растерян и, несмотря на актерский опыт выступлений перед большими аудиториями, начинает невнятно читать что-то по записке, заикаясь и пропуская слова. Мямлит о материальных нуждах, о ремонте, о закупке и производстве реквизита, о суммах, отпущенных и фактически полученных...

Коллегия постепенно впадает в коллегиальный полусон.

Главреж переходит к репертуару и не без некоторой гордости сообщает, что в перечень, намечаемых к постановке включена новая пьеса современного автора, написанная специально для театра. Уже освоившись и перестав заикаться, он с торжественностью произносит имя автора и название пьесы...

Не успел он закончить фразу, как Фурцева шлепнула ладошкой по столу и сипло крикнула:

– А вот этого, уважаемый, *не надо*! Я сразу предупреждаю – не надо! – Она взволнованно хватает воздух, щеки порозовели, в глазах за стеклами очков что-то похожее на

страх. Овладев собой и успокоившись, она продолжает. – Классику ставьте, сколько хотите, без всяких ограничений – все что угодно! А вот от современных пьес держитесь подальше. Мой вам товарищеский принципиальный совет. – Опять сверкнула очками. – Сколько можно повторять, дорогой товарищ? Современных пьес не надо! Не первый раз возвращаемся к этому вопросу. Пора бы давно взять на карандаш эту не раз и не два отмечавшуюся формулировку!

Ее сухой с хрипотцой голос железным шкворнем вбивает в наши головы эту непреложную истину.

Минули десятки лет, светловолосого министра давно не стало, а требование ее до сих пор стальной занозой сидит в голове и невозможно его забыть, настолько оно нелепо, ретроградно, так режет слух и рвет самое ткань культуры, которой заведовала товарищ министр.

Эта ее реплика вызвала шушуканье за столом. Несколько лиц были явно покороблены, но постарались скрыть свое недоумение. Большинство же многозначительно согласно кивало и записывало ценное указание в толстые «Ежегодники».

Малый театр песочили долго и беспощадно – это был подлиный вызов на ковер. Режиссер то бледнел как молоко, то краснел как рак в кипятке. Он мог бы тут же лишиться места, попасть в высочайшую опалу, слететь со всех катушек...

К счастью, ничего такого не случилось. Министерша провела показательный урок строгого отношения к репертуару без каких-либо «оргвыводов».

Речь Фурцевой полностью соответствовала партийному жаргону, который бытовал всюду – от сельского райкома до ЦК КПСС. Это был комплект готовых фраз, которые подбирались и расставлялись согласно текущему моменту. Часто терзал ухо нелепый, как-то вдруг появившийся глагол «провентилировать», деревянными заусенцами торчали и другие мертвые, стертые слова.

В конце заседания, когда повестка дня подошла к разделу «Разное», Фурцева зачитала несколько поступивших к ней заявлений. Среди прочих прозвучала и просьба Растроповича о разрешении выписать из Швеции лифт для дачи – подниматься с первого на второй этаж.

– Есть мнение, – сказала министр, – просьбу удовлетворить.

Из этого запомнившегося решения заключаю, что заседание происходило еще до изгнания великого музыканта из Советского Союза и вычеркивания его имени изо всех культурных святцев того времени.

Среди широких и безответственных слоев советского народа министерша культуры всегда вызывала позыв к ерничеству в свой адрес. Так к ней прилепили прозвище «Никитские Ворота». Всю страну обошла частушка:

Я Хрущева не боюсь,
Я на Фурцевой женюсь –
Стану тискать сиськи я
Самыя марксиськия.

По кухням шушукались о шикарной даче, построенной министершей, и особенно об озере, вырытом перед замком. В озеро выпустили черных лебедей, и она любила показывать их гостям.

По ней судили о том, как живут руководители культуры и те, кто руководит в стороне от культуры.

Присловье

Темно и дивно варево власти. Сбитенщики, которые готовят его, подчас сами не знают, что бы кинуть в котел и что в результате получится. А ведь получается почти всякий раз мерзость. И так на протяжении тысячи лет.

Мы не сумели обуздать власть (государство, бюрократа), которая взяла над нами верх и гнетет нас. Другие народы заставили служить себе эту силу, превратили ее в свой рабочий инструмент, контролируют, ставят на место, если зарывается, а мы остались у нее в рабстве и покорно ей служим: кормим, поим, одеваем в золото и бархат, отдаем ей на съедение сыновей, позволяем отбирать наши жалкие сбережения, разбойничать на дорогах, творить жуткие беззакония...





Обломок 23

От станции Лабытнанги, что на берегу Оби, напротив Салехарда, едем на местном поезде до полустанка «Елецкий». День пасмурный, с холодной реки бросает мелким дождем, смазывая округу, впереди над ледяными осыпями Полярного Урала неподвижно легли похожие на завал черных камней крутые тучи.

Вдоль дороги через три-пять километров – череда остатков от бывших лагерей. Почерневшие столбы с обрывками ржавой колючей проволоки, развалины бараков – от многих остались только печные трубы. Иной раз мелькают и вовсе крепкие бараки. Помнится, один замухрышистый мужик, указывая на заброшенный лагерь, с тоскливым

восторгом сказал: «Дак там токо крыши поправить да стекла вставить – и снова можно гнать зеков». Он служил в охране, и от тех времен остались у него лучшие воспоминания...

Часто попадаются небольшие горки камней. Безвестные могилы – ни креста, ни фанерки на колышке. Мой попутчик поясняет, что так хоронили немногих. Большинство могил – у нас под колесами... Ведь тут все зеки строили эту самую дорогу. Вот утром, перед началом работ скончавшихся за ночь укладывали рядком поперек полотна и на них сыпали землю. Так они под насыпь и отправлялись навеки – без хлопот, заодно с основным производственным процессом...

На перевале через хребет Полярного Урала открывается вид, сравнимый разве что с картинами преисподней, возникшими в голове мрачного художника. Темные тучи волочатся по самой земле, цепляя смоленными днищами черный камень. В полдень света здесь меньше, чем в иной вечер на тундровой равнине. В июле по склонам, по низинам, вдоль насыпи – длинные пласты снега, серого на черном.

И тут рядом с дорогой заметил я какие-то непонятные углубления в аспидно-черной земле, верней, в камне, составляющем землю на перевале. Что-то вроде больших корыт, протянутых рядами неподалеку от полотна...

Мой спутник, редкий знаток всей подноготной здешних мест, объяснил, что это остатки земляных бараков. Простейший вид жилищ. В земле, в камне, в вечной мерзлоте, которая тут выходит на поверхность, вырубают прямоугольную яму метров так это десять на пять. Стенами служат края ямы и отвал породы, вынутой изнутри. Сверху кладут бревна и засыпают землей же. Окон нет. Оставляют лишь два отверстия: трубу от печки и дверь наружу. Ледником такой барак мог бы стать хорошим – ведь вырыт в вечной мерзлоте... А вот для жилья... Морозы тут зимой, не приведи Бог. А ветры – представить не можете. Были случаи, когда ветром сшибало вагоны с рельсов.

Мой спутник добавил, что мне как человеку пишущему, стоило бы знать: этот лагерь на перевале предназначался специально для писателей неугодных властям. Никто из попавших сюда больше трех месяцев не выживал, поэтому записок об этом лагере оставить не смог и знают о нем только местные старожилы.

Возможно, многие имена сгинувших неизвестно где писателей, помнят лишь эти полустершиеся землянки здесь, на Полярном Урале, а останки их хранит насыпь, и больше никто никогда ничего о них не узнает.

«Елецкий» – полустанок в тундре, уже в Европе, в сущности, совсем недалеко от Москвы.

Переправляешься на лодке на противоположный берег речки Елец и одновременно возвращаешься на несколько столетий в глубь веков.

Я ехал вместе с ветеринарами, у которых были дела в оленьих стадах. За нами прислали из тундры три упряжки оленей. Поначалу кажется странным садиться в сани летом и ехать по траве... Но впереди еще много подобных странностей, о которых и не подозреваешь, избалованный европейскими удобствами двадцатого века.

Переезд в глубокое прошлое занимает одну ночь. Надо сказать, что в тундре всякое передвижение совершается по ночам. Днем тучи комаров и слепней делают поездки невозможными – насекомые, свирепые как волки, досаждают так, что их нападение трудно вынести. Комары – это стихия, как шторм, как ураган. Попав в гущу комаров, с непривычки чувствуешь себя таким же беспомощным, как внутри смерча.

Нарты – сани, на которых едем, собраны без единого гвоздя по способу и «чертежам», взятым из глубин столетий и хранимых в головах пастухов народностей коми и хантов.

Деревянные части скреплены ремешками. Полозья, стояки и сиденье сделаны с помощью топора, ножа и дрели (к короткой палке снизу приделана полукруглая стамеска, сверху ручка, а вращается дрель с помощью ремешка, натянутого наподобие маленького лука и охватывающего палку подвижной петлей). Так делали нарты сто, двести, тысячу лет назад...

На рассвете приехали в стадо, к двум чумам, стоящим около двух озер на речке Кочпель («Заячье ухо»).

Прежде всего обучаешься ритуалу вхождения в чум – перед тем как открыть край брезента, служащего дверью, надо постараться отогнать от себя комаров, тучей висящих над тобой, и пролезть внутрь, стараясь прихватить как можно меньше кровопийц.

Чум – это тридцать шестов, поставленных конусом и накрытых летом – брезентом, а зимой – оленьими шкурами. Угол наклона шестов таков, что зимние ветры, сбрасывающие железнодорожные вагоны с рельсов, не могут ни опрокинуть, ни сдвинуть чум. Ветер лишь крепче прижимает его к земле...

В чуме, куда меня определили, живут две пастушьих семьи. Мужья по очереди дежурят в стаде (почти две тысячи оленей). С ними уходят на дежурство и лайки – это две маленьких собачки, которых беспрекословно слушаются даже красавцы хоры, самцы олени, превосходящие собачек по размерам в десятки раз.

Ежели судить по-городскому, то чум по площади равен двадцатиметровой комнате (если мерить по кругу снизу). Внутри он разделен занавесками, свисающими с покатой стены до полу. За этими занавесками спят обе семьи. Для гостей вешают свою занавеску, мигом сооружая еще одну «комнату».

Посредине чума горит костер из сучьев тальника, которые собирают вдоль речки. (Кстати, за речкой, совсем неподалеку живет медведь, у которого свое хозяйство и его часто видят, приходя на берег за водой.) В верхней части чума к шестам привязаны ремешками две жерди, между которыми перекладина, и к ней крепится закопченый деревянный крюк, поддерживающий над костром котел или чайник. На жердях же сушится и коптится мясо, туда же вешают мокрую одежду.

Проживешь тут несколько дней и становятся вполне привычными занятия обитателей этого древнейшего на земле жилища (предки нынешних обитателей Севера освоили эти края около десяти тысяч лет тому назад...). Помнится, я целый день провел, наблюдая за занятиями Марфы и Дарьи, жен пастухов, и их детишек.

Марфа сидела на круглом берестяном коробе и расщепляла высохшее оленье сухожилие на тонкие волоконцанити. Для сшивания оленьих кож эти нитки непревзойдены. Ее муж, пастух Данила, носит сшитые ею сапоги. Они похожи на чулки, в них нога входит целиком, поэтому даже провалившись в болото почти до пояса – не замочишь ног. Они расшиты красными узорами и пропитаны жиром особой рыбы, пойманной весной. Сапоги непромокаемые и необычайно легкие – не сравнить с резиновыми.

Сшить такие можно только нитью из сухожилий. Фабричной ниткой их шить нельзя, не годится даже капроновая. Секрет в том, что при усыхании и намокании оленья кожа, из которой шьют сапоги, сжимается или разбухает ровно настолько же, насколько сжимается или разбухает нитка из сухожилия, поэтому отверстие, проколотое иглой, всегда плотно закрыто. А фабричная нитка такого свойства не знает, и швы при ней обязательно текут...

Пока Марфа при свете костра щиплет сухожилие и складывает нити на скамеечку, Дарья занимается выделкой оленьей шкуры. Она перегибает краешек шкуры и проходит по сгибу зубами – жует, размягчает, потом жует следующий сгиб и так всю шкуру (примерно, квадратный метр) – получается то, что мы называем замшей... Это тоже, наверное, самый древний способ выделки кожи.

У Дарьи и Марфы зубы стерты почти до корней. Женщины выглядят много старше своих лет. Работа в чуме нелегкая. И одна из ее тягостей в том, что им постоянно приходится дышать дымом от костра, поскольку они занимаются своим делом и бросить его нельзя. Мужчины же, когда дымно – ложатся на пол, где всегда держится слой чистого воздуха, пока дым уходит в отверстие на верху чума. И в этом нет никакого угнетения – просто так поделили работу: пастух – в стаде, а жена – в чуме. Каждый делает свое дело и терпит его трудности.

Поначалу я принимал жен пастухов за их матерей или бабушек, а они были моложе мужчин.

Наведался я к соседнему чуму. Там старик хант сидел на нартах и плел что-то из ремешков. После первых же слов он стал вспоминать, как опасно было пастушествовать в здешней тундре, когда вокруг стояли лагеря. Охранники признавали один закон: свое желание и свою выгоду. Оленеводы старались прогонять стада вдали от лагерного произвола. Но не всегда это удавалось.

Если показывались вдали шайтаны в полушубках – значит, обиделась на тебя судьба. От них не уйдешь. Окружали, били оленей из автоматов, сколько надо и не надо. Иной раз стреляли в стадо, чтобы просто развлечься, а брали всего несколько туш. Распугают оленей, разгонят по всей тундре – собирай потом... И не дай Бог умолять их, а тем более укорять или возражать и говорить поперек. Изобьют или

убьют и оставят на съедение волкам. Право же, с волками лучше дело иметь. Бездушные, железные идолы, настоящие шайтаны-дьяволы. Жаловаться некому – они тут власть и хозяева, а не ханты, не коми, издревле жившие в этих краях...

Старик медленно, с натугой и болью говорил, часто замолкал надолго, словно боялся даже воспоминанием вернуть страшную пору жизни.



Обломок 24

Мама долго нас отговаривала ехать за тем, чего хотел отец. Она убеждала его, чтобы мы просто побывали у знакомых и погуляли в лесу, но отец на такую простоту не соглашался. Не сумев отговорить, она принялась что-то ему шептать, кивая на дверь.

А отец сматывал веревочку, складывал старую клеенку и ветхое одеяльце...

Поехали в Ашукинскую к дяде Гусе.

Громадные, в тяжелых клоках снега елки начинались у платформы. Не верилось, что тут может кто-то жить – кругом непролазная чащоба... И все ж по тропке, прятавшейся в хрусткой перине, мы пришли к двум спрятанным

в перинах же домам, притаившимся под развесистыми елями.

Зимний день короток, поэтому отец, не теряя времени, взял у дяди Гуси ножовку и повлек меня в лес за домом. Выбрали совсем маленькую пушистую елочку, сидевшую в снегу как гриб. Спилив, отец отряхнул ее от снега, прижал ветки к стволу и закутал в одеяльце. Получилось то ли куколка, то ли сверточек с чертежами, которые он приносил домой с работы...

Сделав это главное дело, отец отвел один час на гостевание. Елочку оставили в сенях, но разговор вился вокруг нее. Вспоминали старые, мне неизвестные времена, когда елки открыто продавались в городе на особых рождественских базарах, и в каждом доме наряжали и холили лесных пришелиц. В это мало верилось – ведь мы с отцом скрывали свое смолистое приобретение, и мама шептала ему об опасности, что именно про елку донесут соседи...

В электричке на обратном пути отец больше всего опасался контролеров. Елочка лежала на полке, спеленутая и вовсе на себя не похожая, но у контролеров глаз вострый... Да и среди пассажиров могли отыскаться любители уличить в нарушении строгого указания – елок не наряжать, Рождества и Нового года не справлять. Не далее как вчера я был на утреннике в красном уголке, где бойкий пионер читал:

Рубит ель подкулачник и гад
Для ненужной забавы ребят!

Вспомнился этот вчерашний стишок, но я никак не мог поверить, что, выходит, мой папа – гад и непонятный «подкулачник». А кто же тогда я сам?..

На том же утреннике детишки из физкультурного кружка показали замечательную «пирамиду». Те, кто побольше, встали в ряд на сцене, а малыши поднялись им на плечи, и самую маленькую девочку подняли выше всех. У нее в руках круглился глобус с наклеенными на него серпом и молотом из красной бумаги. Построив пирамиду, физкультурники громко сказали в один голос: «Спасибо дорогому и любимому Лазарю Моисеевичу Кагановичу за счастливое детство!»

Чья-то мамаша из зрителей высказала недоумение, почему спасибо не товарищу Сталину, а Кагановичу... Ей

объяснили, что наш дом ведомственный, он при НКПС, а во главе наркомата стоит товарищ Каганович... Так что никакой политической ошибки в этом нет...

Домой вернулись уже затемно. Отец прислушался у входной двери нет ли кого в коридоре. Было тихо. Прошмыгнули к себе в комнату.

Елочка, освободившись от пеленок, потянулась, расправилась, остатки снега и сосулек соскользнули на пол, и в комнате потянуло ашукинским бором.

Ее поставили в уголок, чтобы не было видно из двери. Папа с мамой договорились никого из соседей в комнату не пускать – по всем делам выходить к ним в коридор. И мне наказали никому не рассказывать, что у нас елка.

Эта страшноватая игра продолжалась и на следующий год, и после... На нас никто не донес. А ведь могло бы статься – упекли бы папу за «религиозную пропаганду», пристегнули бы к какой-нибудь антисоветской группе, как тогда практиковалось.

Потом уж в некоем из тридцатых годов вышло постановление партии и правительства, разрешающее наряжать елки, но не на Рождество, а лишь на Новый год.

И появилась песенка «В лесу родилась елочка». И мужичка, который срубил елочку под самый корешок, уже не называли ни подкулачником, ни гадом, хоть легче от этого мужичку не стало.


1944-1945
1945
год
2.6.45
Per aspera ad as



Обломок 25

Мне он сразу не понравился. Лицо кругленькое, пухлое, сероватое, немигающие глазки вмяты в эту серость и непонятно, куда смотрят. Сам низенький, жмущийся, осторожный, будто постоянно побаивается обо что-то уколоться. Матросский бушлатик. Широченные клеши прикрывают добротные флотские ботинки. И говорит про экипаж, про знакомых моряков-ленинградцев.

Тогда, в семнадцать лет, я мечтал стать моряком, но этот живой моряк сразу чем-то оттолкнул, с первого взгляда сделался неприятен. Не понять, чем, но неприятен.

Дед провел его в горницу, а я остался в кухне – подшивал валенки. Стоптанные пятки решил поправить по-

своему – пришивал каблуки, вырезанные из сосновых дощечек... Дед меня высмеивал за такое новшество, а я все ж продолжал гнуть свое.

С той военной поры минуло много десятков лет, но разговор, который доносился из горницы остался в памяти.

Этот мужичишко родом был из соседней деревни. По счастливой случайности попал в Ленинград, прожил и проработал там несколько лет, а потом война и блокада. Говорит, такого даже в деревне в голодуху не было... Совсем погибал, передвигался, держась за стенку. Потом лежал целыми сутками, укрывшись всем, что было из одежки.

И когда понял, что кончается и помощи ждать неоткуда, решился на последнее.

В соседней комнате их коммуналки недавно помер старик...

Взял косарь, которым лучину для печурки колол, и пошел.

Откинул ветошку, которой старик прикрывался, и увидел, что взять с него нечего... Почитай, одни кости остались... Но голова круглилась, и виделось – она одна наполненная.

Косарем секанул. И впрямь – мозг цельный, ничуть не усохший, не потощавший... Решил начать с него. И не пожалел.

В тот день впервые за блокаду поел досыта. На ноги поднялся скоро. Ни страха, ни стыда, ни раскаяния не почуял. Так было жить охота.

Стал шарить по соседним квартирам в поисках нужного и ни разу не возвращался без поживы. Везде брал только одно. Ничего более не пробовал...

Он рассказывал деловито, буднично, как обычную повседневность, словно про картошку с огорода. Голосок сиповатый, простуженный, и слышится в нем уверенность, что слушатель не осудит, а согласится и поддержит. Видно, не первый раз об этом рассказывает.

Так, значит, поборол голод, увильнул от смерти, нашел постоянный источник питания. Начал интересоваться окружающим, стал выходить в город. Сумел хлеба раздобыть, хоть сам теперь не слишком-то в нем нуждался. Стал вещами интересоваться.

Помнится, как хвастливо он показывал деду свои ботинки, которые и впрямь были невиданно хороши по тем бедственным временам. Приподнял клеши, повертел ногами, со всех сторон продемонстрировал – что кожа, что подметки...

– Как думаешь, за скоко я их взял?

Дед неопределенно замычал в ответ, а гость захлебисто кинул:

– За пайку хлеба! Сто двадцать пять грамм... Да за неполную пайку-то! Во!.. Матроса на улице встрел и обменял. Во как!

Потом сошелся с матросами-то. Голодали они тоже. Всю справу себе у них наменял, да еще и впрок набрал. Все новенькое.

Увлеченно и хвастливо залился воспоминаниями об удаче.

– Эх, жаль немного опоздал, а то б привез царских коньфеток-ирисок... А дело было так. Чего-то оборудовали матросы-то на одном чердаке. Забрались в самый угол, куды никто не заглядывал уж сто лет. Глядь, в пылишши, в грязишши какие-то яшшики. Открыли один... Мать честная – там ириски! Видать, в революцию кто-то припрятал и сгинул. Царские ириски, с орлом. Но пересохли все – как стеклянные, откусить невозможно. А тогда ишшо баня работала. Пошли в баню, ириски завернули в белье, чтоб никто не догадался, налили в шайку горячей воды и ириски-то в нее сунули... Дождались, когда они маленько размокли – стали сладкую воду пить и жевать, что помягчало...

Голосок его сиповато нудел и нудел в горнице о том, как из блокады выбрался, как перебрался обратно в деревню, как помогает ему привезенное добро безбедно жить.

Потом зашуршал веревочкой, развязал солдатский сидор и выставил на табуретку две пары флотских ботинок: «Одни помене, другие поболе, но по цене одинаки».

Дед оглядел товар, однако покупать не стал, сказав, что ботинок не носит.

* * *

В те годы встреча с людоедом была ужасна и запомнилась навсегда. Кто ж тогда мог предположить, что в конце XX века о людоедстве станут писать и людоедов станут показывать как что-то повседневное, обычное для нас и вполне привычное. Вот по телеку показали двух зеков и бачок унитаза, в котором они сварили печенку своего сокамерника и тут же ее съели... Вот в газете статейка о пьянчужках,

закусивших своим собутыльником, о запьянцовской компании, которой очень понравились котлеты, сделанные из участника застолья...

* * *

Ужасы бытия военных лет стали привычной повседневностью. Моя тетя Вера вспоминает, как выживали во время эвакуации в Свердловске (1943 г.). Жили в бараке вместе с соседкой, у которой трое детей. Чтобы их прокормить, соседка пускалась на всякое. Ее знакомая медсестра работала на донорском пункте по приему крови и частенько приносила оттуда подруге то ли самую кровь, то ли какой-то компонент человеческой крови, и соседка пекла из этой жидкости оладьи и кормила детей.

Брат соседки однажды принес заднюю часть барашка. Тут же изжарили, и ребята умяли мясо за милую душу. Дочка тети Веры тоже участвовала в пиршестве. После обеда дети решили отдать кости собаке. Подошли к будке, а там валяется собачья шкура... Только тогда поняли, что был за «барашек».

Раз приехал на побывку муж соседки. Он служил в трофейной команде и себя не забывал, добывая трофеи. На сей раз привез с фронта богатые подарки. Соседка пригласила тетю похвастаться. Вывалила на стол из мешка гору серебряных ложек – несколько килограммов. Потом достала кисет с кольцами и серьгами. Когда налюбовались драгоценностями, соседка подарила на память две ложки и золотое колечко.

В Свердловске у тети Веры родилась вторая дочка. Несмотря ни на что, девочка оказалась крепкой и радовала мать здоровьем. С неделю ее приносили в палату кормить, и она с каждым днем набирала сил и веса. Потом приносить на кормежку перестали – сказали, что ребенок в карантине. И вот принесли совсем полумертвую – только что дышит, бледная, апатичная, глазки ввалились. Пробыла на руках матери день и умерла от истощения.

Матери из эвакуированных замечали не раз, что новорожденные у приезжих почти сплошь умирали, а у местных выживали все без исключения. Появилась страшная догадка, что «чужих» малюток каким-то образом использовали как «материал» в медицинских целях...



Обломок 26

Что осталось в душе от прошедших через нее или около нее войн?..

С раннего детства запомнились бабушкины рассказы о вещах дяди Васи, живших вместе с нами и повседневно стоявших на виду. Дядю Васю я видел только на фотографиях. Он полковник артиллерии. Вещи сопровождали его в Русско-японской войне с 1904 года, когда он в чине штабс-капитана командовал ротой. Вот складная кровать. Не раскладушка, тяжеленное сооружение из железных трубок, обшитых кожей и соединенных литыми латунными шарнирами. Когда она сложена – это неподъемный сверток, помещенный в кожаный футляр и пригодный для перевозки

на вьючной лошади. Вот складной стул из кованого железа с деревянными планками на спинке и сиденье, который тоже грузился на лошадь. В детстве я не мог его сдвинуть с места и жалел бедную лошадь, которая везла кровать и стул вместе. Вот мохнатая папаха. Вот маленькие серебряные стаканчики, украшенные драконами и китайскими иероглифами, привезенные из Манчжурии. Вот шинель с блестящими пуговицами, на которых сидят двуглавые орлы. Она из гладкого черного сукна, покрывающего прекрасной выделки овчину романовской овцы.

У бабушки хранится большая пачка фотографий, сделанных дядей Васей на войне с Японией. Там снята палатка, в которой стоит знакомая кровать, стул около стола, незнакомый почти игрушечный самоварчик...

Один снимок, на который страшно смотреть. Верная лошадь дяди Васи, попавшая под обстрел японцев. У нее разорван живот, и видеть это просто страшно.

По-настоящему шинель я оценил в военные зимы, когда стал ходить в ней в деревенскую школу. Пуговицы с орлами заменили на обыкновенные. В ней не пробирал ни мороз, ни ветер. Она была мне в самый раз... Выходит, дядя Вася ростом был с меня, девятиклассника...

* * *

Война 1914 года осталась в памяти по рассказам родных и знакомых.

Александра Ивановна однажды пришла взволнованная, помолодевшая. Сказала, что чудом побывала в своей юности...

Поздней осенью четырнадцатого года она училась на курсах сестер милосердия. За ней ухаживал поручик, ждавший со дня на день назначения в действующую армию. Она жила в старинном доме на Елоховской площади – там была калитка в виде арки. И вот поручик сказал, что о времени их последней встречи перед отправкой на фронт он напишет ей на стене арки...

Она каждый день ждала появления надписи, и, наконец увидела неровные буквы карандашом: «9 ХП 6 ч.». Они увиделись тогда в последний раз. Поручик погиб в первом же бою.

Сегодня, через сорок лет, приехав из деревни, где жила неотлучно, она отправилась на Елоховскую, вошла под знакомую арку и увидела: «9 XII 6 ч.»... Стояла и плакала.

Я не преминул пойти туда тоже году в 54-м и увидел надпись, уже полустершуюся, но вполне различимую.

* * *

Бабушка Анна рассказывала, как подарила одному из знакомых, отправлявшихся на войну, ладанку с образком св. Георгия. Тот прикрепил ее к цепочке рядом с крестом и носил на груди. Через какое-то время он приехал на побывку и показал исковерканную ладанку, задержавшую пулю и тем спасшую ему жизнь.

* * *

Наш дальний родственник Владимир Петрович участвовал в Брусиловском прорыве, где действовал столь блестяще, что был награжден золотым оружием. Шашку ему вручал сам Государь Император Николай II. Подвиг не был забыт и после революции. Владимира Петровича сослали на Колыму, где он пробыл лет пятнадцать, но старая офицерская закалка помогла выстоять не только против тевтонов. Он был реабилитирован, получил комнатку в общей квартире и закончил жизнь в столице.

* * *

Сохранилось письмо дяди Васи от 1 сентября 1916 г. На конверте печать: «Изъ действующей армии». Письмо распечатано и заклеено полоской бумаги с надписью: «Петроградская военная цензура». «Военный цензоръ № 163». Поражает простота тогдашних фронтовых армейских нравов. Дядя Вася приглашает своего племянника к себе в гости на артиллерийские позиции. Обещает встретить в Двинске (ныне Даугавпилс) на Петроградском вокзале. Если сам не сможет выехать с позиций встречать, то обещает выслать экипаж с денщиком. «Ты справишься тогда, – пишет

он, – есть ли лошади 1-й батареи 17-й артбригады. Думаю, тебе будет интересно поглядеть на нашу жизнь в боевых условиях».

* * *

По рассказам родных знаю, что в наших рязанских местах было немало военнопленных. В Спасске, например, жили турки. В связи с этим было решено увеличить количество городовых на три единицы... В селе Мосолове жили австрийцы. Они свободно ходили по селу, выполняли по найму разные работы. Жителям запомнился молодой австрийский офицер, который играл на скрипке. Он страдал какой-то желудочной немощью и часто спрашивал у местных: «Кислого млека нема?»

* * *

Мой дед был военным фельдшером. Он рассказывал, как однажды после боя к ним в полевой госпиталь привезли австрийского солдата, у которого была разбита голова. Во время операции дед вывалил на лоток почти весь мозг, превратившийся в кашу («никак, с две пригоршни мозгов выгреб и выбросил», – говорил он), потом промыл и зашил рану. Сразу же после операции австриец сел, стал что-то рассказывать о семье, о детях. Дед свернул самокрутку. Раненый с благодарностью закурил, еще поговорил. Дед смотрел на него, как на чудо – ведь только что сам удалил ему мозг, почти полностью... Австрийца уложили спать, и ночью он скончался.

* * *

И вот война, которую пережил сам... В 1941 году утром 22 июня, когда соседская девчонка Нюшка подбежала к нам, отправлявшимся купаться на речку и крикнула: «Война!», сразу будто сам воздух отяжелел и придавил. В тот миг с безнадежной неотвязностью понялось, что тяжесть эта будет давить до конца.

Мы ничего еще не понимали, но ждалось худшее, и выхода из худа не маячило.

Потом тяжесть эта стала отливаться в события, в случаи, которые охватывали и из которых нельзя вырваться, от которых невозможно уйти.

Сейчас, через полвека, вспоминая, что же прежде всего осталось в памяти, слышу одно: вечерние или ночные сумерки над нашим селом пронзает крик, вопль, плач:

– Ой, да на каво ж ты нас па-а-ки-и-нул!

Прозвучав впервые, той осенью похоронное это причитание по погибшему было одиночным и возносилось в небо резко, словно хлыстом по сердцу. Потом с каждым днем к голосу скорбящей женщины стали прибавляться новые голоса в разных концах села. Они сливались в раздирающий душу хор.

Всякий вечер невольно ждалось начало вопля и его разрастание в поднебесье.

Чем же еще вдовы и матери могли помянуть своих родных, погибших далеко от дома и недоступных для последнего прощания, недосягаемых, в одночасье ставших воспоминанием, духом. Без похорон, без могилы, без смертного облика... Одна бумажка – «похоронка», вот и все.

Война эта заполнила душу, жизнь, бытие. И конец ее был радостен, он был как второе рождение. Эта наполненность чувства остается до сих пор, вопреки знанию неприглядностей и всего ужаса ее истинного хода.

* * *

Вскоре после этой войны началась другая – корейская. Она загремела где-то в азиатской дали. Ее причины принялись объяснять наши пропагандисты и агитаторы, которым не верили и ничего достойного душевной отдачи в их пустых словесах не находили. Постепенно понялось, что нужна она одним вождям, которые хотят что-то доказать друг другу. И хоть жаль было погибавших корейцев, китайцев и, как постепенно выяснилось – наших, жалость эта не шла в сравнение с затопляющей горестью недавно отгремевшей у нас войны.

Велика была боязнь, постоянна опаска, что прогремит приказ вождя пустить в ход атомную бомбу и тогда всем не сдобровать.

В целом же, в итоге война эта выглядела искусственной, придуманной вождями и их чиновниками к своей забаве и потребности; и росла жалость к беднягам солдатам, выбиваемым из жизни ради непонятной чиновничьей прихоти.

* * *

Примерно такое же чувство вызвала и война во Вьетнаме, где погибали наши «советники» в боях с американским империализмом. Что-то надуманное, никому из людей не нужное и выгодное только высочайшим государственным деятелям крылось и в этой войне.

Помнится, в ту пору впервые стало известно, что там, во Вьетнаме, испытывается новое советское и американское оружие. Целая страна с нищим неграмотным населением стала объектом опытов, и вьетнамцы гибелью своей подтверждали, что «интеллектуальная» работа ученых из лагерей социализма и капитализма «хороша», «эффективна» или орудия убийства нуждаются в корректировке и недостаточно «хороши»...

Этот цинизм поражал и убивал оставшееся еще в темном сознании уважение и почтение к государственной политике, ее деятелям и вождям, рядящимся в миротворческие тоги.

Образ военачальника, дипломата, ученого стал переворачиваться, перескакивать в свою противоположность – в личину обманщика, стяжателя, грабителя и убийцы.

* * *

Об Афганистане с детства мнилось, как о стране дружественной и сказочной. Еще Есенин пропел про «золотые пески Афганистана»... Изредка с газетной страницы поглядывал на нас красивый и нарядный король Мухаммед Захир Шах, на которого никогда не рисовали карикатур. Фотографии западных руководителей не попадали в печать. Мы знали их только по издевательским изображениям и злобно-изощренным прозвищам, чего в отношении короля Афганистана никогда не допускалось.

Самый вкусный изюм, инжир и курага, которые изредка удавалось «достать», оказывались из Афганистана. Де-

сятилетиями эти сладостно-изюмные отношения длились, не предвещая ничего иного, кроме рахат-лукума.

События, которые вспыхнули в этой сказочной стране поначалу показались настолько нелепыми, что в них не верилось. Понять, что же там случилось было невозможно. Почему свергли симпатягу короля? Зачем разорили сказочную жизнь его подданных, так хорошо готовивших свой изюм? В золоченое кресло сел президент Мухаммед Дауд, тоже к нам расположенный, но и его свергают.

Революция... строительство социализма... Это уж вовсе обескураживало. Зачем этой стране из восточной сказки социализм, который самих-то нас разорил...

Можно было лишь догадываться, что афганцам ничего этого не нужно, а потребно лишь нашим высшим чинам, лезущим во все щели с мечтой о мировом коммунизме. Опыт англичан их ничему не научил. Да они его по безграмотности и не знали или же высокомерно отвергали. Постоянно всплывали догадки, которые подтверждались смутными намеками между строк в газетах, что наши партийные бонзы посылают туда какие-то секретные силы, которые действуют по-бандитски тайно и по сути ничем не отличаются от террористов. Наш спецназ штурмует дворец нашего же друга Иди Амина...

Потом туда ввели «ограниченный контингент» и стало ясно, что мы ввязались в настоящую войну, которую возглавляют наши тайные канцелярии, ждущие свой богатый бакшиш, а жизнью за их выгоды расплачиваются зеленые солдатики, ничего не понимающие в высокопреступной политике.

Впервые после Отечественной войны на улицах и в метро появились юные калеки в пестрой, еще непривычной форме. На костылях, в колясках – безногие, с пустыми рукавами – безрукие.

Они вызывали жалость и недоумение от явной бесцельности такой страшной жертвы.

Все, что печаталось, говорилось и показывалось взахлеб дудело о победах и героизме. В семьях, где подрастали сыновья с ужасом ждали, что их бросят в пекло Афганистана.

Впервые появились страшные казенные слова: «груз 200», которые вскоре стали привычными, и на кладбищах в обилии появились надгробные черные плиты с портретами безусых солдат и стандартной надписью о «выполнении интернационального долга».

Что действительно творилось в пустынных горах можно лишь догадываться. С тех времен запомнился чей-то шепоток о том, что какого-то чина срочно отозвали «оттуда», поскольку афганцы объявили ему кровную месть...

Все это росло как кровавый ком, пока в конец запутавшиеся и обессиленные «интернациональными обязанностями» самые высокие чиновники не объявили о выводе войск. Вывели, и посыпались подробности о таких безобразиях и преступлениях, что потускнели бесчисленные предыдущие безобразия и преступления.

* * *

После падения коммунизма еще бойчей продолжилось падение всякого производства, наступили времена упадка, нищеты и всевозможных грабежей – буквальных, бандитских и государственных финансовых. Казалось, главное сейчас хоть как-то поддержать хозяйство, поощрить земледельца, споспешествовать мастеровому...

Не тут-то было.

Передали как-то по телевидению выступление Дудаева. Он сказал, что ждет: российская армия вот-вот вступит в Чечню и начнет войну с чеченцами...

Слова его показались абсурдом и нелепым вымыслом. Сейчас, когда все развалилось и надо всякую копейку вкладывать в поддержание хозяйства, сейчас воевать? И с кем? Со своей же республикой. Да глупее и преступнее ничего не придумаешь!..

И тут же, через несколько дней – танки в Грозном... Какие-то блудливо-глумливые сообщения официоза – никто не может сказать, чей приказ, кто в танках... Оказывается, «восстанавливают конституционный порядок»... Как ни юли, не уходи от ответа, а дураку понятно, что без ведома президента все это не могло случиться. Значит, сам Ельцин затеял войну внутри России. Вскоре вскочил на телевизионный сучок Грач и прокаркал, что Грозный возьмут за два дня.

И началась позорная война, в которой тысячами гибли не только русские солдаты, но и русские всех возрастов вместе с чеченцами под развалинами городов и деревень. 120 000.

Отупевший от пьянства и обжорства верховный главнокомандующий, едва приоткрывая заплывшие щелки глаз и с трудом выжевывая слова, показывал перед миллионами зрителей, как доблестные снайперы стреляют по чеченским бандитам.

Теперь «груз 200» стал повседневен. Тысячи молодых парней даже не становились этим «грузом», а навсегда оставались погребенными средь развалин и брошенными где попало.

Никакой конституционный порядок не стоит и одной жизни, а тут смертельный поток.

Безграмотные военачальники несли такую околесицу по поводу чеченцев, что виделось – не читали ни истории нашей, ни Толстого, ни Лермонтова, ни тем более Полежаева. Они попросту не знали, с кем воюют.

Поползли сначала слухи, а потом и сообщения, что наши аники-воины с большими звездами на погонах торгуют оружием, сбывая его чеченцам, а потом замелькало, что отцы-командиры торгуют своими солдатами по цене четыре тысячи долларов за штуку...

Калеки, нищие, беженцы валом прокатились по всей земле.

Несколько раз показали роскошную дачу Грачева, нашего главного воеводы.

Запал в память снимок из газеты: в Грозном посреди улицы валяется взрывом разорванный пополам солдат, и две кошки жрут его внутренности.

Позорнейшее поражение кое-как удалось замазать миром.

* * *

Едва вздохнули, чуть стало затягивать страшную рану всеизлечивающим временем, как преемник разваливающегося от пьянства и болезней президента начал новую войну на Кавказе. Теперь уже не по поводу конституционности, а по поводу борьбы с терроризмом.

На сей раз сил поднакопили, но понимания не прибавилось, опыт предыдущих лет и столетий остался втуне.

Снова вдарили всей мощью, снова разнесли в пыль Грозный, перемололи селения, перебили тьму русских и

чеченцев, согнали с насиженных мест сотни тысяч баб, детей, стариков.

Тяжелая артиллерия, танки, боевые самолеты и вертолеты...

Генералы мстили за свои недавние поражения и обещали на сей раз все закончить победой за два месяца. Эти пресловутые два месяца не сходили с их уст, но операция никак не поддавалась завершению. Попали в заколдованный круг, вертелись в нем, не находя выхода и подбадриваясь пустышками деланного оптимизма.

Беспомощность их была вопиюща. Сначала жаловались, что бандиты-чеченцы-арабы-наемники сильно нам досаждают мелкими группами: снайпер, пулеметчик и наводчик... Из засад, черт-те откуда жахают без всяких правил ведения боя... Нехорошо. Нечестно.

Прошло времени с месяц, и появляется сообщение, что наши генералы придумали новую тактику борьбы с бандитами: снайпер, пулеметчик и наводчик появляются там, где их не ждут... Новое слово в военной науке. Наше открытие.

Очистили равнинную Чечню и загнали террористов в горы. Объявили об окончании войсковой операции.

Но вскоре выяснилось, что бандиты продолжают свой террор. Мы укрепляемся на господствующих высотах, а бандиты эти высоты окружают, и покоя от них нет – невозможно с высоты спуститься...

Объявили, что террористы зажаты в горах и со дня на день всех их там перебьют – разбомбят и конец операции. Потом заскользили коротенькие строчки, что бандиты прячутся в пещерах, которые не разбить никакой бомбежкой.

Потом бандиты стали ставить на дорогах управляемые фугасы, подрывать наши колонны. Потом фанатики на грузовиках, груженых взрывчаткой, стали врываться в расположение наших частей...

Российские города и поселки объявляли траур по погибшим в Чечне, по телевидению показывали плачущих женщин у гробов, которые нельзя открыть для прощания...

И тут же картинка по телевидению: отряд боевиков-террористов в новенькой иностранной форме, вооруженный русскими «калашами» и русскими же переносными ракетами, собирается в поход – брать Гудермес или Грозный...

Видать, шибко умные остались у нас от коммунизма генералы – воюют прямо у себя дома, без выезда, устроились

со всеми для себя удобствами. Каким-то непонятным образом вооружают своих врагов, а потом с ними ведут беспощадную войну.

Трудно усомниться, что двадцать первый век мы встретим вскоре в тех же окопах, в которых провожали двадцатый... А двадцать первый в этих окопах проведем целиком.

Неужели не было иных решений? Ведь даже такой человеконенавистник и палач, как Сталин, не пускал там в ход танки и тяжелую артиллерию...

Собрать бы все средства, загубленные и сожженные в Чечне, и с умом их там применить... Можно бы и бакшиш нашим алчным чиновникам выплатить, и нефтеперегонные заводы построить, дать чеченцам заработать, и самим не гробы оттуда везти, а прибыли.

Один старик высказал однажды очень дельную мысль: отдать Чечню в аренду Турции на 99 лет, как когда-то китайцы отдали Англии Сянган – Гонконг. И все неразрешимые для нас вопросы решатся мигом. И территориальную целостность сохраним, и за аренду получим, и нашу молодежь перестанем ломать в мясорубке войны...

Присловье

«Дедовщина» в армии – это своеобразная подготовка к гражданской войне: солдаты приучаются бить своих. Именно к этому нынче и готовится армия. На смену внешнему врагу, на которого еще недавно натравливали армейский люд («мировой империализм»), грядет «враг» внутренний, негласный. Солдаты готовятся бить своих братьев и сверстников.

Традиция «дедовщины» хорошо объясняется мыслью Фрейда: «ребенок причиняет своему товарищу по игре то неприятное, что случилось с ним самим, и мстит за себя этому заменяющему его лицу».

Возможно, со временем разумные люди договорятся, как обезопасить человечество от любителей войн, которые генетически неистребимы и неисправимы. Отведут большой угол пустыни под всемирный полигон, свезут туда горы оружия и пригласят всех любителей драк и смертей:

«деритесь и самоуничтожайтесь». Любителей разведут на две стороны, и в середине будет фронт. Победителям в показательной войне дадут огромный куш из денег, вилл и прочего. И человечеству это выйдет во много раз дешевле, чем настоящие войны. Разумно направить инстинкт самоистребления на самих же любителей этого дела.



Обломок 27

Москва дребезжащих и завывающих на поворотах трамваев, Москва «костлявых пролеток» (Маяковский) и извозчиков в синих поддевках на вате, Москва недавно появившихся такси «Рено», похожих на утюги, Москва красно-желтых автобусов с хлипкими кузовами вроде ящиков для перевозки кур, Москва газовых фонарей...

Год примерно 33–34-й. Вечереет. Наша дворовая компания выкатывается за ворота и ждет, когда покажется фонарщик. Он идет по Ново-Басманной от фонаря к фонарю, и сначала видно, как вдали как бы сами собой зажигаются огни на высоких столбах.

Потом показывается и он сам. Что-то особенное было в его одежде, черной, застегнутой до подбородка. Никто больше так не одевался. У него на плече длинный-предлинный деревянный шест, который слегка пружинит, выгибается в такт шагам.

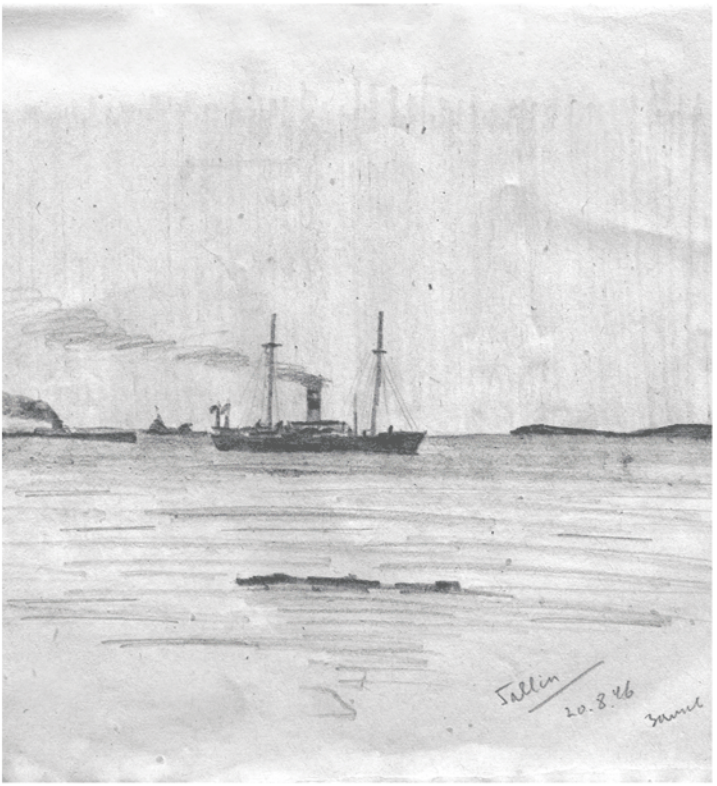
Рядом с фонарщиком мальчишка-помощник, который старается выглядеть таким же степенным и особенным.

Фонарщик подходит к фонарю, что стоит у бульварчика напротив наших ворот, снимает шест с плеча. Мальчишка подбегает к концу шеста, на котором виднеется колпачок с малюсенькой лампадкой, заправленной керосином. Фонарщик громко бросает: «Зажигай!»

Мальчишка чиркает спичкой и под колпачком вспыхивает желтый огонек. После этого фонарщик осторожно и уверенно начинает поднимать шест с мигающим светляком наверху. Одновременно он приближается вплотную к столбу, подносит огонек к газовому рожку, накрытому стеклянным шаром, и слегка нагибается к основанию столба, где поворачивает вентиль.

И тут же наверху столба вспыхивает клубок голубого пламени. Фонарщик подкручивает вентиль, поглядывая наверх, пока пламя не станет ровным и ярким.

На потемневший тротуар спрыгивает круг синеватого света. Мы вбегаем в этот круг, а фонарщик с маленьким помощником, погасив огонек на шесте, идет к следующему фонарю.



Обломок 28

Летом сорок третьего года я познакомился с недавно приехавшим в наше село Славкой. Был он на год старше меня. И не на фронте... Нас, ребятишек двадцать шестого года рождения, уже «приписали» к военкомату, и мы ждали призыва. А он беззаботно разгуливал... На недоуменный вопрос, почему (а может, и без вопроса, просто от намека) он пробормотал что-то про статью освобождения по болезни. После об этом мы никогда не говорили.

Среди деревенских однолетков он поблескивал искрами начитанности и остроумия. Эти-то искры и приманивали меня. Кроме того, он был москвичом, а я уже три года как оторвался от родного города, и мы с удовольствием подолгу вспоминали знакомые улицы и закоулки...

Но, несмотря на всю притягательность, таилось в Славке нечто непонятное, загадочное и даже слегка отталкивающее.

В ту пору с раннего детства усваивался круг вопросов, разговор вблизи которых считался опасным. И я вскоре после знакомства начал замечать, что Славка в пылу самых задушевных воспоминаний и разговоров неожиданно перескакивал за черту дозволенного, общепринятого в повседневных беседах, в особенности с малознакомым человеком.

Вдруг ни с того ни с сего заговорил о Никодимыче, недавно арестованном старом учителе... Ничего у меня не выспрашивал, не настаивал на продолжении этого разговора – просто бросил в воздух одно имя, подождал вопросительно, будто хотел узнать, как я отнесусь к такому разговору. Я ничего не ответил, и он словно бы тут же и забыл о затеянном, продолжал говорить о чем-то московском, милом моему сердцу.

Но меня его перескок поверг в ужас. От волнения я ничего уже не мог спокойно вспоминать и говорить. Учителя Никодимыча арестовали за то, что он в очереди за хлебом вспомнил, какие вкусные пироги раньше пекли на престольные праздники... Так он сочно эти пироги описал, что у всех слюнки потекли, и паек разочаровывал своим недопеченым видом... Конечно же, это «антисоветская пропаганда»... Вот его ночью и взяли. (Кто-то из стоявших в очереди донес... А ведь все село училось у него в начальных классах читать-писать.)

Никодимыч был закадычным другом моего деда, и вплоть до своего исчезновения всякую неделю забредал к нам. Было чего испугаться, услышав осторожный полувопрос от человека, никогда не видевшего нашего старого учителя...

Раньше я сам искал встреч со Славкой, а теперь, насторожившись, стал избегать его, но он сам находил меня, и я уже словно бы по принуждению шел за ним и неохотно, для видимости, поддерживал беседу, теперь уже опасаясь каждого своего слова и взвешивая все, что от него слышал.

Еще один удар я получил, когда знакомый парнишка с нашей улицы сказал мне, что видел Славку, выходящего со двора райуправления НКВД. Мальчишка знал, что я дружу со Славкой и, вероятно, по наивной глупости хотел мне сделать приятное... Вон он, мол, какой – в такой высокий дом вхожий...

Здание местного НКВД стояло на Базарной площади. Желтый одноэтажный дом, когда-то принадлежавший купцу Карташову, опоясан высоким забором с крепкими воротами и похож на небольшую крепость. Дом длинный, приземистый, напоминающий склад. Вдоль фасада под общим навесом – несколько дверей. Я лишь однажды входил в него, когда получал паспорт. Деревенским жителям-колхозникам паспорта не полагались, а я как эвакуированный москвич, прожив 16 лет, паспорт выправил.

Это посещение НКВД навсегда залегло в памяти. Никто на меня не кричал, не угрожал, но ни на миг не отпускало чувство, что *попался*. Что-то холодное, казенное, бездушное, что-то железно-машинное поглотило, едва вошел туда. Что-то непоправимое ждалось от каждого шага, от слова. За всяким вопросом слышался подвох, за каждым своим ответом – непростительная проговорка... Хотя, казалось бы, что мне, шестнадцатилетнему, скрывать, что таить? Не был, не состоял, не участвовал... Но самое пересечение этого порога вело в неисповедимое.

А ведь у Славки паспорт появился еще в прошлом году. Зачем же ему переступать этот порог, которого все от мала до велика боялись пуще любой напасти? Скольких односельчан привели в этот дом, чтоб никогда больше не выпустить! Отсюда люди исчезали. Никто не видел, как их уводили или увозили. Вводили, и несчастные пропадали... А Славка сам сюда пришел.

В тот же день я выкопал в хлеву, примыкавшему к дому, ямку, завернул три тетради своих дневников в кусок клеенки и закопал. Подумалось, что вести дневник опасно. Целый год потом откапывал тетрадки, чтобы сделать запись и снова заваливал землей.

Отвратительное чувство, что за мной наблюдают не оставляло до глубокой осени, когда Славка неожиданно испарился – уехал, ни слова не сказав. И даже после этого я не решался хранить тетрадки дома. Все ждал, что кто-то его заменит и меня не избавит от своего догляда.

Года через два после окончания войны в Москве я однажды встретил Славку.

Мы почти столкнулись на какой-то из станций метро. Названия теперь уж не припомню, но станция была конечная.

Я шел вдоль состава, и навстречу пружинистым шагом – машинист. Я не видел лица... фуражка, китель... мало ли

таких случаев в метро... Вдруг он остановился и назвал меня по имени.

Славка! На разговоры времени не было – он шел к заднему вагону, чтобы гнать состав назад по линии. Похвастался лишь, что очень хорошо устроился. Пополнел, окреп, форма ему очень шла.

Но как же?.. Ведь машинистами берут здоровяков, а его по болезни освободили от фронта...

Так он и остался в памяти довольный жизнью, слегка снисходительный к моей студенческой невзрачности. Адресами мы не обменялись. Не хотелось.

Что же настораживало с первого раза, как его увидел? Ответ пришел много позже. Скорей всего, смущало и напрягало с самого начала скрытое и проскальзывающее лишь иногда противоречие между его располагающим, добродушным и зовущим к откровенности лицом и глазами, существующими как бы сами по себе, жестко и точно вбирающими только то, что им нужно. Игра лица была всего лишь наживкой, а глаза – стальным крючком. Не заметивший крючка легко попадал в садок, из которого выбраться невозможно.

Впрочем, у встречи этой было и положительное свойство. С тех пор я научился отличать лица с крючком в глазах, и ни разу не попался на удочку...

Написал эту фразу и тут же подивился ее хвастливой самоуверенности. Никакое уменье замечать крючок никого не спасало. Просто в то время, когда Славка наблюдал за нами, не поступило разнарядки на аресты молодежи – вот и весь «секрет».

Присловье

Люди, которые боятся жизни, начинают ее упорядочивать, чтобы она стала удобней, обозримей и предсказуемей. Они строят общество, где все расписано заранее по плану. В результате жизнь обедняется, становится скудной, жалкой, но для руководящих кругов – это лучшее, что может быть, ибо жизнь стихийная может выдвинуть на первый план их противника, который окажется сильней и приспособленней к стихии.



Обломок 29

Сначала прошелестел слух, будто собираются строить шоссе на Куйбышев, и пройдет оно через наше Мосолово, где еще до войны прямо по улицам села уложили участок дороги. Слух прошуршал и замер – видать, никому было не до строек в голодном и страшном сорок втором.

Потом кто-то где-то как-то отметил, что и впрямь шоссе тянут к нам и работают на нем заключенные под охраной.

И вновь все на время забылось. Но наступил день, когда проходя по окраине села, я заметил черные фигурки на дороге, долбившие землю и что-то таскавшие на носилках в окружении редкой цепочки солдат с винтовками.

Вдоль грунтовой дороги появились большие кучи известняка, желтоватого со ржавыми хрящами кремня. Таким же камнем была вымощена и наша сельская дорога, избавлявшая нас в распутицу от непролазной грязи и луж. В сухую погоду возницы и шоферы предпочитали грунтовую дорогу, пролегавшую рядом с каменной. Ведь на камне очень уж тряско – того и гляди лопнет тележное колесо, да и покрышки рвать шоферы не хотели.

А теперь такую дорогу тянут на сотни верст от Москвы до Волги.

Наступил день, когда я с друзьями оказался совсем рядом со скорбными строителями дороги будущего. Солдат из охраны молча дернул штыком в сторону, приказывая нам не приближаться.

Мы сошли с дороги на осеннюю стерню, но оглядеть дорожников успели. На полотне шоссе, присев на корточки, вбивали камень в землю несколько пожилых людей, одетых в черные потрепанные ватники, вытертые шапки-ушанки и драные сапоги.

Одинаковая одежда делала и их лица одинаковыми. Желтоватые с синеватыми губами. И еще запоминалась медленность движений. В ней ничего не было от неторопливости мастеров, она происходила от равнодушия подневольных, слабосильных и голодных людей.

К куче известняка, совсем недалеко от нас подошли двое с пустыми носилками и принялись медленно накладывать камень. Эти оказались совсем мальчишками, чуть постарше нас... И так больно и страшно стало от их схожести с теми, пожилыми...

Те же вытянутые желтовато-серые лица, то же равнодушие и обреченность.

Мы невольно остановились, пораженные, представив себя на месте сверстников, но к нам тут же обернулся, потряс винтовкой и громко выругался часовой. Мы бросились прочь от страшного места.

Из передававшихся по селу обрывков разговоров и слов постепенно выяснилось, что ночуют заключенные на соломе в разоренной церкви соседней деревни. Окна там выбиты, и холод в бывшем храме, как снаружи. На дворе же ноябрь. Холодных и голодных, гоняют их на работу за семь верст, и вечером надо оттопать еще столько же до храма. Заключенные смирные – не воры, не убийцы, все по 58-й статье сидят «за слово».

В конце ноября наши знакомые с Больничной улицы шепнули, что к ним попросился на постой и уже несколько дней живет приезжий москвич, хорошо одетый и похожий на начальника, но в обращении простой и душевный. Он приехал к сыну, заключенному, который тяжело болен, лежит в нашей больнице, и так плох, что скорей всего не жилец уже на этом свете.

Вскоре и тайные похороны состоялись. Погребен несчастный мальчишка, погибший «за слово», на нашем кладбище.

Отец его много лет приезжал и в послевоенные годы поздней осенью, ходил на могилу сына, устраивал тихие поминки и уезжал вечерним поездом.

А дорога была построена, как тогда говорилось «трудовым энтузиазмом масс». И долго еще после войны грузовики драли покрышки на ее кремневых хрящах.

Но летом по солнышку норовили все же и шоферы, и возницы съехать с нее на старинный проселок, тянувшийся рядом, и прокатить по грунтовке, отглаженной, как асфальт.

Присловье

Наша древняя традиция – драться деревней против соседней деревни. Стенка на стенку. Просто так, для забавы. Сначала на кулачках, потом с дрекольем и камнями, калеча и убивая соседей. Мой дядя Петр рассказывал о таких драках, участником которых был сам.

Не в этом ли зародыш гражданских войн, возможность массовых уничтожений ни в чем не повинных людей? Очень слаба традиция уважения к соседям, односельчанам, горожанам. Удовольствие: дать по харе, унизить, оскорбить ни за что.

И именно этот зверский инстинкт положил в основу своей системы ликвидации неугодных Сталин, когда брат расстреливал брата, палачи и тюремщики набирались из собственных граждан.





Обломок 30

Это была сказочная квартира. Комнаты выходили в широченный коридор, по которому мы по очереди катались на трехколесном велосипеде. Внук нашей знакомой как хозяин делал по три круга, а нам с сестрой доставалось лишь по одному. Мальчишка был задавалой и на нас смотрел свысока, хоть был младше меня. Конечно, причин для задаванья у него достаточно. Хотя бы сама эта их квартира. Мы жили впятером в одной полутемной комнате, а они, четверо, занимали четыре комнаты в отдельной квартире.

Баба Груша позвала нас в кухню (тоже отдельную, светлую и большую), где каждому дала по куску черного хлеба, политому постным маслом и густо посыпанному сахарным

песком. В ту пору, когда все продукты выдавались по карточкам, это выглядело роскошью. Мальчишка ел небрежно – песок сыпался на пол, недоеденный кусок он бросил на стол. Мы же берегли каждую крупинку, наслаждаясь неожиданным лакомством.

И это было еще только начало чудес. Баба Груша разрешила нам «поиграть на лестнице». Понять, что это такое, мы с сестрицей смогли только, когда открылась стеклянная дверь в конце коридора.

Переступив порог, сразу попадаешь в сказочное царство. Широкая лестница из белого мрамора крутым изгибом спускалась со второго этажа, где располагалась квартира, на первый... Она огибала удивительную башню, тоже мраморную, покрытую сверху донизу чудесными ракушками, присосавшимися к камню, странными рыбами, раками и медузами, сделанными из разноцветного камня и стекла. Сверху сквозь прозрачную крышу на башню и лестницу светило солнышко, и несмотря на зиму, тут было тепло, как летом.

Замирая и раскрыв рты, мы стали спускаться по лестнице. И внизу нам открылось еще одно чудо. В основании башни затаилась настоящая пещера с камнями и каменными сосульками, спускавшимися с потолка, с темными закоулками и пещерками поменьше, с кусками мраморных колонн и чашами из раковин...

Баба Груша объяснила нам, что раньше в этом доме жил знаменитый богач и здесь у него был зимний сад и аквариум. Пещера тогда была отгорожена стеклом, и в ней плавали большие рыбы, а вокруг росли пальмы и цветы, и летали райские птицы. Представить все это было выше сил – ведь и увиденное не умещалось в голове.

Мы принялись играть в пещере, стараясь не наступать на осколки толстого стекла, а баба Груша рассказывала моей бабушке, что ее сын получил такую квартиру, потому что работает на секретной должности, о которой нельзя ничего говорить... Если б не это – жили бы они по-прежнему в своем полуподвале на Нижней Масловке... Она по любому поводу хвалилась сыном, получившим свою выгодную должность и княжеские хоромы.

Вечером, когда мы собрались уходить, пришел с работы и сам сын. Мы лишь мельком видели его в коридоре. Он оказался совсем лысым, толстым и некрасивым. Серая рубашка-косоворотка была сильно потрепанная и мятая. На

ногах старые сапоги. Залатанные брюки-галифе пузырились на коленках. Выглядел он сонным и усталым. С нами едва поздоровался, не улыбнувшись, не спросив ни о чем.

Баба Груша шепотком объяснила, что он только пообедает, отдохнет и в ночь опять уйдет на работу. Дома почти не бывает...

Осенью тридцать четвертого года мой дядя Петя поступил в институт. Однажды, забежав к нам после занятий, он сказал, что с ним на курсе учится сын бабы Груши и живет в их общежитии...

Это было совсем непонятно. Имея такую роскошную квартиру...

Но еще более непонятное началось через год и через два, когда дядя перешел на второй, а затем и на третий курс. Грушин сынок за неуспеваемость был оставлен на первом курсе и просидел там два года. Дядя Петя закончил учебу, получил диплом и уехал на работу, а его нерадивый однокурсник едва переполз на второй курс...

Тогда уж всем было ясно, что за секретная у того должность.

Все эти годы Грушин сынок делал вид, что незнаком с Петром, хоть в детстве дружили. Дядя не напоминал о себе и тоже проходил мимо, а потом, конечно же, и силком бы не стал сближаться с таким типом.

В те гнусные годы не только сексоты, а и просто студенты, чтобы быть на виду у начальства нередко открыто занимались доносительством. Раз перед Октябрьским праздником дядя Петя пришел к нам удрученный и расстроенный и рассказал, что на собрании курса один из комсомольских активистов заявил с трибуны: «Обязуюсь в честь славной годовщины Великого Октября разоблачить не менее двух врагов народа!»

Такие вот ракушки присасывались тогда ко всему вокруг и ни за что губили людей.

Присловье

Все плачем, сетуем, что нас кто-то обидел, объегорил, обокрал... И не приходит в голову, что мы сами себя обокрали, сами себя терзаем и убиваем через созданные по нашему попустительству «органы», передав власть нахрапистым бездумным, а то и вовсе безумным вождям.





Обломок 31

В шалаше ночевала с подругами моя молоденькая тетка – они сторожили сад. Яблоки поспели, и по ночам начались набеги поулошных воришек.

Встав пораньше, я крадучись пошел по тропке к шалашу, чтоб напугать спящих сторожей, но еще издали услышал мужской голос и заметил незнакомого мне парня в невиданной по тем временам рубашке-безрукавке («бобочке») и новеньких серых брюках.

Все случилось так неожиданно, что судорожно подумалось: надо удирать... И в этот самый миг парень сказал: «А это, наверное, и есть твой племянник?»

Тетушка, к которой я относился как к подруге, смущенно кивнула и поманила меня подойти.

– Познакомься, – дрогнувшим голосом сказала она. – Это мой муж Мишка.

Ошарашенный, я ничего не мог понять – ведь еще вчера вечером никакого мужа у нее не было... Откуда ж он взялся?

В середине села высился рубленый дом, который избой никак не назовешь. Большие окна, резные наличники, высокое крыльцо, каменный фундамент. Когда-то его построил местный купец, но об этом редко вспоминали. Дом теперь называли неживым страшноватым словом «Политотдел».

Жили в нем присланные высоким и далеким начальством и сами поэтому ставшие начальниками молодые парни, которых боялись даже председатели колхозов. Вот в этот дом в тот же день и повел меня Мишка. Он сам, оказывается, работал в политотделе и, значит, был начальником, но я, как ни странно, вовсе его не боялся.

Мы поднялись на крыльцо и прошли через сени в небольшую темноватую комнатушку, набитую мешками, ящиками и корзинами, от которых вкусно и призывно пахло. Мишка сдернул фанерку с большого ящика, и я увидел, что он доверху набит переливающимися атласными конфетами-подушечками. Таких красивых и аппетитных я не видел даже в московских магазинах, не говоря уж о деревенских лавках.

Мишка сказал: «Бери, сколько хочешь». Я взял пяток розовых и зеленых конфет. «Бери, бери, набирай как следует», – подтолкнул Мишка, и сам, зачерпнув горсть из ящика, насыпал мне в карман, потом еще и еще, и в другой карман... Я обалдел – никогда не видел столько конфет, никогда мои карманы не оттягивало такое богатство. Вот, оказывается, как живут начальники!

В другой раз Мишка подъехал к нашему дому на стройном красавце коне, вовсе не похожем на здешних деревенских лошадей. Высокое седло, уздечка, украшенная серебряными бляшками, стальные точеные стремена... Он позвал покататься: подал руку, легко поднял меня с земли и посадил перед собой рядом с гладкой кожаной лукой. Потом пустил коня рысью, и мне сразу растрясло все внутренно-

сти, поездка превратилась в мучение, но я терпел, понимая, что еду в первый и последний раз на таком великолепном коне.

Мишка не переставал поражать меня. Раз утром, когда мы с ним вышли в сад, он достал из заднего кармана брюк самый настоящий браунинг и дал мне подержать. Вороненая сталь была теплой и очень тяжелой. Потом взял браунинг обратно, чем-то щелкнул, прицелился в круглый сучок на двери летней избы и выстрелил.

Мы пошли смотреть. Вместо сучка теперь была сквозная дыра, кроме этого пуля прошила толстую стенку старого улья и застряла в противоположной стенке летней избы. В политотделе он проработал года два, а потом вернулся к себе в Тулу, где учился в институте, и увез с собой мою тетушку.

Много раз он заезжал к нам в Москву, когда после учебы начал работать на заводе. Было в нем какое-то основательное начало, он не принимал все происходящее слепо на веру, никогда не говорил казенных слов, пустых хвалебных фраз, хотя и близок был к партийным кругам, только эти слова и фразы признававшим. Дома он был домашним, веселым, остроумным, приносил охапку подарков, угощения, театральные билеты...

Лишь однажды пришел непривычно замкнутым и молчаливым, ни разу не пошутил, не улыбнулся. Позже из разговоров взрослых я узнал, что вызывали его на Лубянку, предлагали работу в НКВД и обещали квартиру в столице. Он решительно отказался. После такого отказа неизвестно, что может случиться. Там отказы не принимались. Ведь само слово «Лубянка» вызывало страх.

А отказался он потому, что узнал одну из тайн этого мрачного учреждения. Там служил кто-то из его давних друзей, не сумевший выдержать характера и легкомысленно согласившийся взвалить на себя дьявольские обязанности. Мишка случайно его встретил, и тот, болтая о пустяках, отвел друга подальше в переулки, где шепотком и намеками рассказал, как в их «конторе» расправляются с арестованными, как после пыток и издевательств размалывают в специальных мясорубках и спускают в канализацию... От человека ничего не остается. И это называется «работой»...

Именно в тот миг Мишка и решил отказаться, принимая любые последствия.

Рассказанное им врезалось в память, и лет с десяти до семидесяти сидело больной занозой, и лишь теперь выскочило на бумагу.

Никогда и нигде мне не приходилось больше слышать про жуткие лубянские мясорубки. Видно, тайна была так замурована, что никакая гласность не смогла ее откопать.

К удивлению и счастью, за отказ Мишке ничего, кроме неудовольствия и брюзжания начальства, не было.

Он оказался прекрасным инженером, сделал какое-то важное изобретение «оборонного значения», которое так понравилось начальству, что руководитель конструкторского бюро оформил его под своим именем и получил хорошую премию.

Во время войны семья моей тетки эвакуировалась на Урал, где свирепствовал настоящий голод, и Мишка решил пойти на фронт добровольцем, отказавшись от брони.

Он тем самым помог семье, которая получила паек за фронтовика, и сам стал питаться в танковой части, формировавшейся для отправки на фронт.

Кто не знает, что такое голод, не поймет этого.

Он погиб летом 1943 года в танковой битве на Курской дуге и похоронен в братской могиле.



Обломок 32

В осеннем сумраке, перескакивая через лужи, перехожу Базарную площадь села. Назойливо плюется дождичек. Едва светятся окошки в расползшихся по мути пятнах изб.

Над всей этой унылостью со столба, на котором гнездится невидимый радиорепродуктор, грохочет бодрый голос:

– Передаем программу передач на завтра... 6.30. Песни о Сталине. 7.15. Сталинский план преобразования природы (выступление академика...) ...9.00. Десять сталинских ударов (удар седьмой)... 11.20. Сталин – создатель индустриальной мощи страны... 13.15. Передача для самостоятельно изучающих историю ВКП(б): выдающаяся роль

товарища Сталина в разгроме троцкистско-зиновьевского охвостья... 16.15. Сталин – великий друг и учитель советской молодежи... 17.45. Письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину от колхозников Дзун-Хемчикского района Тувинской АССР...

19.20. Великому Сталину – песни сердец (выступления видных советских поэтов)... 20.50. Сталинские пятилетки и вдохновенное творчество трудящихся масс... 21.30. Образ Сталина в изобразительном искусстве... 23.30. Песни и стихи о Сталине...

Остальные передачи дня были не более, чем прокладками-заплатками на эфирном времени. Для души оставались редкие мгновенья классической музыки, всплывавшие иногда среди политизированной тягомотины, которая так навязла в ушах, так приелась, что почти не воспринималась. Теперь, через десятилетия, вспоминаю, как выключал свою «радиоточку» – программы передач было невыносимо слушать, а сами передачи до сих пор «сидят в печенках...» (навязчивым бредом плывут слова песен, фразы торжественных и пустозвонных славословий, голова была набита ими до боли, ими тошнило, от них воротило). Разве не болезнь – изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год слушать такие передачи, неужели не больные сочиняли их, неужто не больные пели, читали, рассказывали?..

Но вернемся в то прошлое. Столб с громкоговорителем стоит возле магазина, в котором завтра должны «давать» хлеб (по спискам, где значится число едоков или по буханке в одни руки – в разные годы это происходило по-разному). Надо чем свет занять очередь... А вдруг хлеб не привезут? Могут и не привезти... Очередь покорно разойдется, и на другое утро снова соберутся селяне, сойдутся еще до того, как из динамика бодро и весело замаршируют песни о великом друге и вожде – о Сталине мудром, родном и любимом...

Насколько и как он был «любим» деревенскими жителями мне открылось еще в военные годы. Однажды днем к нам зашла знакомая из соседней деревни. Из узелка, который она держала в руке, торчала свернутая в трубочку лощеная бумага – по тем временам невиданная роскошь. На вопрос, что это за невидаль, баба немного смутилась, махнула рукой: «Да так... Сталян... патрет... В книжном давали... Взяла вот сабе да соседке...» В словах ее, в тоне,

во всем ее облике в этот миг сквозило что-то беспокойное, стеснительное, виделось желание поскорей покончить с этой темой. Тетушка Галя пошла проводить ее, и вернувшись рассказала такое, за что всех нас следовало навсегда запечь куда Макар телят не гонял, а энкавэдэ людей гоняло целыми стадами.

По ночам, когда особенно припекала тоска по погибшим мужьям, соседки собирались, укладывали на столе портрет Сталина, освещенный дрожащим светом «моргасика» (фитилек в пузырьке с керосином) и по очереди, взяв нож тыкали острием в глаза, в губы, в лоб и нос портрета, всхлипывали и приговаривали сквозь слезы: «Вот табе за мово! Так-то табе, ироду! На, получай ишшо, ишшо!»

Наверное, тогда и запало, забередило душу страшное противоречие между громогласно провозглашаемыми здравицами и хвалой и настоящим отношением к происходящему вокруг, истинным настроением, скрытым, запрятанным в недоступные тайники.

Впоследствии культ личности Сталина осудили, покойному вождю крепко врезал Хрущев. Казалось, пора незнающих удержу славословий миновала. Хрущева сменил Брежнев, который на первых порах вел себя скромно и очень тихо. Случалось, за месяц о нем не заикались ни по радио, ни в газетах. После шумного и непоседливого Никиты (не говоря уж, конечно, о Самом Усатом) это казалось примером скромности истинного руководителя, строящего светлое здание коммунизма. Но думавшие так глубоко заблуждались.

Хорошо помню собрание в огромном зале недавно построенного здания Московского университета. Зачитывали секретное письмо ЦК КПСС, в котором хоть и мягко, но осуждалась излишняя скромность недавно избранного генсека. Мало выступает перед массами, мало общается, мало пишет в газетах и журналах. Не так должен вести себя вождь мирового пролетариата. Заканчивалось письмо постановлением, обязывавшим Брежнева больше выступать, показываться и писать. Руководителей же радио, телевидения, газет и журналов обязывали незамедлительно каждый день твердить о Леониде Ильиче, прививая тем самым широким массам безграничную любовь к нему, безграничное же доверие и чувство глубокого удовлетворения от его титанической работы на благо всего прогрессивного человечества.

По этой команде тут же появились и уже не исчезали портреты, статьи, передачи, репортажи... За два-три дня генсек преобразился. А затем из незаметного обитателя Кремля превратился в видного теоретика коммунизма, в увенчанного славой военачальника, в известного писателя, удостоенного Ленинской премии, в пример для всеобщего подражания и обожания...

...И еще раз вспомнилось и заставило меня вернуться на деревенскую нашу Базарную площадь. Году в пятидесятом на ней соорудили памятник Сталину. Таких тогда ставили по городам и весям бессчетно. Великий вождь был отлит из бетона, и все в нем как положено, как все привыкли – френч, сапоги, политзачес и усы; правая рука согнута, и ладонь покоится за бортом френча, а левая свободно опущена. Фигура вождя покрашена белилами. Вокруг памятника разбили большую клумбу с красными цветами и огородили зеленым заборчиком. Дважды в году по революционным праздникам возле памятника проходили строем с флагами и транспарантами сомкнутые ряды местных трудящихся и школьников. Они выстраивались перед дощатой трибуной, с которой секретарь райкома партии произносил долгую речь, где имя Сталина звучало почти в каждой строке.

После смерти вождя про памятник как-то незаметно подзабыли. Пришла весна, когда клумбу не засадили цветами и их место сразу же заняли сорняки. Постепенно растащили по штакетине и загородку. Давно перестали подкрашивать бетонную фигуру белилами; от дождей, ветра и снега она облезла и стала пегой. Место бывшей клумбы полюбилось крапиве, полыни и чернобыльнику – они вымахивали выше сапог вождя, и издали могло показаться, что он шествует среди удивительных растений, выведенных его любимцем, академиком Лысенко.

На бетонное изображение уже не обращали внимания. Но однажды оно вновь привлекло к себе взгляды селян. В левой руке вождя вдруг появился длинный ивовый прут. Когда через Базарную проходила к речке гусиная стая, казалось, что вождь своим хлыстом направляет ее ход, указывает путь... Даже с дальних улиц приходили поглядеть на чудесное преображение вождя. Раз кто-то выдернул указующий прут из его руки, но утром этот жезл вновь появился и уже не оставлял своего владельца.

Потом в расположенную неподалеку пожарную часть пришло секретное распоряжение райкома, и ночью фигура вождя исчезла с Базарной площади. Вскоре все узнали, куда спрятали памятник, и к нему началось паломничество в основном ребятишек, но и взрослые при случае навещали свергнутого с пьедестала, чтобы убедиться в низвержении страшной силы, угнетавшей их всю жизнь.

За пожарным сараем он лежал на спине, примяв перину густой крапивы, на куче мусора, собравшегося тут за вековую историю села. В его руке еще торчал обломок хлыста, которым при жизни вождь засек насмерть сонмы лучших людей.

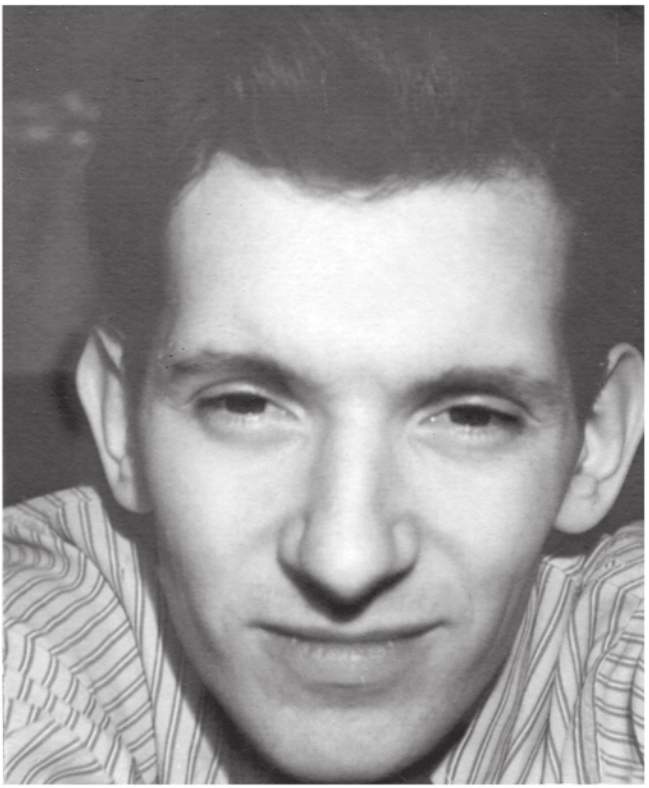
В ту пору никому не могло и поблазниться, что на излете двадцатого века в столице откроют новый, из меди литой памятник Сталину, а на окраинах уже не существующей империи станут из-за сараев и со свалок вынимать, отчищать и вновь ставить на площадях бетонных и бронзовых истуканов.

Присловье

Когда власти начинают много говорить о необходимости борьбы с мафией, а сами все дальше уходят от этой борьбы, знай – мафия заняла ключевые высоты и сама диктует власти, как себя вести.

Мафия (проще сказать, «воры в законе») у нас давно пользуется неприкосновенностью и стала тайной составляющей власти.





Обломок 33

Это осенью случилось, после каникул, едва начались занятия. Меня в коридоре встретил редактор факультетской стенной газеты и попросил дать что-нибудь из летних впечатлений.

Тем летом (1946 год) я побывал в Таллинне. Бродя по морскому берегу, где волны еще перекатывали немецкие каски и гильзы, написал стихи про готический город:

Гудящий город, как орган
в готической кирхе,
он гимны западным ветрам
поет один в тоске...

Еще никогда мне не приходилось видеть свои строчки даже в стенной газете, и я не сразу решился отдать их на всеобщее обозрение. И все ж отдал с замиранием. Редактор, мой однокурсник, хоть и много старше меня (прошел войну, майор, разведчик, ордена...), стихи одобрил и тут же отдал в деканат машинистке, чтобы тотчас же наклеить...

На другой день с утра стенгазета появилась в коридоре. Стихи мои красовались как раз в середине листа, окруженные акварелью нашего художника: в морской дали смутно рисуется за туманом стрельчатый город.

Студенты толпились вдоль довольно длинной газеты, вытягивали шеи, высматривая, кому что по душе. Двое однокурсников заметили стихи и поздравили меня с публикацией. Все это было впервой, и я удивлялся, что у меня нашлись читатели.

Стенгазета, как известно, по-настоящему живет полчаса-час, пока ее, новую, просматривают, а потом становится ненужным украшением коридорной стены и целый месяц ее никто не замечает.

На этот раз случилось что-то необычное. Звякнул звонок, мы ушли на лекцию, а когда высыпали в коридор на следующий перерыв, газета исчезла...

Редактор, несмотря на весь житейский опыт, не мог скрыть тревоги. Ушел, выяснять, в чем дело. Вернулся же и вовсе озабоченным; подошел сразу ко мне, отвел в сторонку и, стараясь выглядеть спокойным, тревожным шепотком сказал, что стенгазету сняли из-за моих стихов. Они очень не понравились секретарю партбюро, который сегодня утром вернулся из отпуска и поэтому заранее материалы для газеты не прочитал...

Здесь редактор попытался улыбнуться, успокаивая меня тем, что главный удар придется по его шее – это ведь он пропустил стихи. Мне посоветовал не перечить, признать критику, какой бы она ни была, со всем согласиться, и на том, по его мнению, все закончится. Партбюро на свое экстренное заседание соберется сразу после занятий, и мы пойдем туда вместе.

Никогда еще не попадал я в такие переделки. Само слово «партбюро» вызывало холодок и скуку. А тут оно собирается из-за меня одного, из-за моих стихов. Это было страшновато, и редактор, пытаясь меня успокоить, только прибавлял трусоватой дрожи.

Вот, оказывается, что тянет за собой публикация стихов...

Последний час занятий походил на пытку. Я все больше раскисал. И только счастливая мысль, неожиданно пришедшая в голову, – отнестись к предстоящему, как к экзамену, слегка смирила меня с происходящим. Я вспомнил, что на самом экзамене всегда легче, чем при ожидании.

Сейчас, преодолевая полувековую пропасть времени, отчетливо помню, как стоял в полутьме коридора, как приоткрыл дверь, где на бумажке кривыми буквами выведено чернилами: «ПАРТБЮРО». Небольшая комната почти полностью заполнена огромным столом, вокруг которого расселись часто мелькавшие в коридорах люди, но я не знал, что они принадлежат к этому кругу, вершащему судьбы.

Редактор стенгазеты, расстегнув верхние пуговицы кителя, пестревшего планками боевых орденов, раскрасневшийся и взволнованный, стоя объяснял что-то присутствовавшим.

Увидев меня в дверной щели, он замолк. Кто-то из сидевших за столом отталкивающим жестом показал мне подождать в коридоре.

Но даже этой мимолетности было достаточно, чтобы мое настроение переломилось. Я почти успокоился и заранее смирился с тем что случится. Точно так всегда бывало на экзамене...

Вот уже и вызывают. Вошел. Встал у двери. Очень неловко от того, что все на меня смотрят и молчат. Видно, здорово пропесочили редактора и устали, а на меня ярости не хватает.

Наконец, профессор, единственный в партбюро среди студентов и аспирантов, удивил меня спокойным голосом, каким принялся то ли расспрашивать, то ли рассуждать о том, почему у такого молодого человека появились нотки грусти и пессимизма в стихах... Зачем было писать о «западных ветрах», которым наш, советский город, поет, видите ли, гимны... Незачем ему петь гимны этим ветрам, которые мы сломали в победоносной войне. Потом профессор сказал, что стихи, на его взгляд, не лишены таланта и именно поэтому они представляют собой идейную опасность. В завершение он посоветовал мне вдохновляться социально-значимыми темами, помогающими, а не мешающими...

Так простой головомойкой все и ограничилось. Не стали раздувать кадило и выносить сор из избы.

Стихи же, осужденные за появление в стенгазете, через полвека, в 1996 году были напечатаны в моей книжке, когда цензура уже не существовала.



Обломок 34

О такого рода вызовах сообщал всегда только сам директор издательства.

Прихватив с собой верстку непонравившейся цензорам книги, я отправлялся в Китайский проезд, где в огромном доме гнездилось бессчетное множество контор. Главлит (так именовалась цензура) прятался на шестом, самом верхнем этаже, не обнаруживая себя даже вывеской.

Выйдя из лифта, сразу оказываешься в проходной с милицейским дежурным, который брал паспорт и сверял со своим списком за барьером конторки, затем выписывал пропуск и впускал в коридоры, слабо освещенные желтоватым светом.

Настроение при таких посещениях всегда бывало отвратительным, поскольку по радостным поводам сюда никогда не вызывали. Медленно и неохотно бреду по длинному колену коридора, отыскивая нужный кабинет. Здесь совершенно тихо и безлюдно, и хочется, чтоб подольше не попадалась нужная дверь. Но она выплывает из желтой полутьмы. Останавливаюсь, не без отвращения, ломая себя, открываю ее.

Полутемный «предбанник» дуплится двумя внутренними дверьми. Наудачу открываю правую. Молодой, одетый в черную тройку, чиновник, тщательно причесанный, с непроницаемым лицом и хорошей строевой выправкой, бесстрастно спрашивает, почему пришел я, а не главный редактор, которому положено сюда приходить. Цензор всем видом показывает крайнюю озабоченность и недоумение по такому поводу – мол, можно ли со мной разговаривать и как разговаривать? Выказав свое недовольство, он почтительно снижает голос и говорит, что прежде мне предстоит разговор с Владимиром Алексеевичем... От этих слов у меня пересыхает в горле – ведь это сам главный цензор Советского Союза...

Коль оплошность, ошибка, ляп в нашей верстке выскочили на такой уровень, не избежать ужасного разноса. И надо же именно мне угодить сюда по такому поводу. Ведь к этой верстке я никакого отношения не имею – даже не прочитал ее ни разу...

Молодой цензор достает из стола пакет и влечет меня в здешние эмпиреи. Смутно вижу полутьму коридоров. Останавливаемся перед дверью без номера и без какой-либо таблички. Я чувствую, что мой гид робеет и не сразу берется за ручку. Мне становится безразлично все, что должно произойти – ведь все уже решено и ничего не поправишь.

Входим в большой кабинет. Левее от входа стоит широченный письменный стол, а дальше – окно, за которым яркое небо и солнце. Но это совершенно ненужная деталь. Главное – стол. Чиновник подходит к нему, и я замечаю по другую его сторону человека лет пятидесяти с глубокими пролысинами, перетекающими в зализанные волосы, с правильным, слегка помятым розовато-красноватым лицом. Несомненно, это и есть Владимир Алексеевич.

Оставив меня ждать у дверей, молодой цензор почтительно к нему подходит, что-то тихо говорит.

В ответ главный цензор поднимается, обходит стол и оказывается около меня, мягко улыбнувшись, он протягивает руку, и поздоровавшись, приглашает занять глубокое кресло у стола. Вернувшись на свое место, он некоторое время рассматривает меня и спрашивает, почему же не пришел директор или главный редактор?

После моего ответа он заменяет легкую улыбку сухим официальным выражением лица и повторяет, что сюда положено являться директору или главному редактору. Поставив таким образом меня на место, он скучновато объявляет, что соглашается беседовать со мной.

Кивком головы отпускает цензора-служку, оставив у себя принесенную им верстку. Изучающе поглядывая на меня, распечатывает пачку сигарет «Кемел» (по тем временам роскошь невиданная), холеными руками артистически, как бы балетным движением, посылает сигарету в рот и щелкает зажигалкой, потом с наслаждением, прикрыв глаза, глотает дым, откидывается к спинке кресла и начинает свой допрос.

Рассмотрев подписи на титульном листе, выясняет, кто же именно подписал верстку «в печать» – на листе фамилии неразборчивы. Записывает в блокнот, подняв правую бровь. Голос бархатно-рокочущий, барский, сигарета подрагивает в ухоженных пальцах, украшенных перстнем, мизинец с полированным ногтем отставлен.

Переходит к делу. Оказывается, в книге допущены крупные идеологические и политические просчеты, делается попытка под маской занимательности протащить чуждые нам взгляды.

Начав с общей оценки, он переходит к примерам по тексту, тихонько мычит про себя, перечитывая фразы.

– Вот полюбуйтесь! – найдя нужное место восклицает он. – В издательстве, я убежден, собрались политически грамотные да и просто культурные люди с литературным вкусом. Ну, как же можно позволять автору такое... – читает строку, слегка зажмурившись от дыма сигареты, листает верстку, – или такое (сочно произносит довольно яркую строку, в которой я не могу усмотреть ничего криминального и понимаю, что мы говорим на разных языках). Режет меня взглядом. – Это ж, как говорится, ни в какие ворота... мало того, что это политически вредно, это ж и с художественной стороны никуда не годится! Позволю себе

напомнить, что постановление ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград» никто не отменял. А в этом рассказе присутствует прямое очернительство нашей действительности, дается искаженный образ советского человека. Вот, полюбуйтесь, этот, с позволения сказать, «герой», по сути – отпетый пьяница, грязный развратник – лезет под юбку к знакомой и незнакомой...

Кладет сигарету на край большой пепельницы из лощеного камня, устало прислоняется к спинке кресла, закрывает глаза, что-то припоминая, и вдруг с новыми силами продолжает разъяснение:

– Взять хотя бы Солженицына, – замолкает, наблюдая мою реакцию на столь неожиданный перескок. – Только что на западе вышел его «Август 14-го». Вещь, несомненно, нам глубоко враждебная, но ведь как написана! Язык, образ, художественность... Тут есть с чем бороться, что критиковать и ненавидеть. И вот эта верстка – прямо скажу: жалкое впечатление... На мой взгляд, рассказ надо просто снять.

Он снова берет сигарету и, слегка наклонив голову к столу, смотрит на меня так, что взгляд почти незаметен. – Кстати, вы знакомы с этой вещью Солженицына? Как? Не читали? Позвольте, такие вещи обязательно надо читать!

Его лицемерие и иезуитство переходят все границы. Он не может не знать, что одно хранение книг Солженицына карается, как преступление, а чтение приравнено к пропаганде и преследуется наряду со шпионажем в пользу империализма...

И этот деланно-наивный вопрос, эта холеная рука с заграничной сигаретой, этот поучительно рокочущий голос...

Барин вдоволь позабавился дворовым дураком, показал свое превосходство, свою власть и свой либерализм. Аудиенция окончена. Главный цензор встает из-за стола, протягивает мне верстку:

– Подробней по тексту с вами поговорит наш сотрудник, с которым вы знакомы. Кстати, очень способный молодой человек. Это он обнаружил грубейшие идеологические ляпы в тексте.

Передав верстку и дождавшись, когда я направился к двери, главный цензор удержал меня возгласом:

– Да, хочу вас предупредить: о нашем разговоре никто не должен знать. Ни в коем случае на нас не ссылайтесь,

когда станете говорить с автором! Преподнесите все как мнение издательства. Договорились? Вот и ладненько. Да, не забудьте отметить пропуск, иначе милиция вас не выпустит...

Взглянув на него, в этот миг я увидел дряхлого старика – никакая прилизанность не может этого скрыть. А впрочем... Так свет упал – контраст солнечного окна и темноватого кабинета... Вот он опять вполне респектабелен, бодр, прям и всемогущ.

Таких встреч с главным цензором в Главлите у меня было две. Последний, третий, раз я видел его на Международной книжной выставке-ярмарке.

После ее закрытия мы устроили в своем офисе банкет-междусобойчик и уже расходились по домам. Остался лишь я, собираясь отнести книжку в немецкое издательство, да заведующая отделом рекламы, довольно пикантная молодящаяся дама.

И тут с треском размахнуло дверь, и к нам, едва не падая, ввалился главный цензор страны, собственной персоной... Он пьян вдрабадан, растрепан и помят почти до неузнаваемости. Несколько заискивающе здоровается, поздравляет с успешным окончанием работы, скользящий взгляд зацепляется за заведующую рекламой. Пытается галантно поклониться, затем, едва не упав, слюнявит ей руку и плюхается на стул.

– Фу-у-у-у! Какой сумасшедший день! – Пытается поправить сбитый на сторону галстук. – Просто невозможный день...

Заведующая рекламой, как ни странно, знает неожиданного гостя. Она смущена и польщена его появлением.

На столе недопитая бутылка водки, и в тарелках огрызки от былой закуски. Она наливает стопку для главного цензора Советского Союза.

Мне обязательно надо успеть в немецкий офис – отдать книгу для перевода, но сцена так неожиданна и удивительна... есть в ней что-то еще совсем недавно невозможное, немыслимое... Я не могу сдвинуться с места.

На дворе – самое начало перестройки, и всякая черточка виделась преувеличенной, ей придавалось больше значения, чем она значила на самом деле. И в этот миг с затаенной радостью подумалось, что всемогущая цензура покачнулась, должно случиться что-то коренное... А ведь пока

всего-то и случилось, что гебешный бонза, прятавшийся в полутьме кабинета, явился открыто в своем истинном обличье.

Я ушел, и вернулся минут через двадцать. Главного цензора в офисе уже не было. Заврекламой, взволнованная и раскрасневшаяся собирала со стола посуду. Не глядя на меня, она бросила:

– Представляете, едва вы вышли, он полез ко мне под юбку. Я с трудом вытолкала его... Совершенно пьяный и ничего не соображает... Такую высокую должность занимает, а повел себя как последний пошляк...

* * *

О запуске очередного спутника благовестили по радио обычно во второй половине дня. И хоть мы, газетчики, уже чуяли, что спутники пойдут теперь чередом, все же каждый запуск заставал нас врасплох.

По газетному порядку полагалось вслед за кургузым официальным сообщением давать статью ученого или публицистику писателя, а на первую полосу – плакат, где спутник просвистывал мимо звезд, прославляя советскую науку и технику.

Со временем попривыкли, освоились, подыскали быстроделов – ученого и художника. Те встретили космическую эру во всеоружии и к событиям готовились заранее, поэтому сразу же после нашего отчаянного звонкоа статья и рисунок появлялись мигом.

Но все это было еще полдела. Никакая, пусть разгениальная статья и никакой «шедевральный» рисунок ничего не значили, если они не прошли цензуру, а без нее нельзя напечатать ни одной запятой.

Цензура же выкаблучивала самые неожиданные фортели...

Помнится, как уже после полуночи, я прибежал из типографии к цензору с еще сырым оттиском статьи, скроенной из много раз печатавшихся трудов ученого, который дал все нужные ссылки и сами книги, где статейки публиковались. Поэтому сомнений, что цензор проштампует текст даже не шевельнулось. Рисунок тем более не смущал – художник заранее признался, что изобразил на нем

свой самовар, у которого убрал кран и добавил усы четырех антенн...

Цензор, незаметный скучный человечек, склонился над гранками у письменного стола.

Материалы по космосу шли в особом режиме, поэтому он без промедления взял у меня оттиск, скучающе его оглядел со всех сторон и сухо, с ехидцей спросил: «А где ж виза космической цензуры?»

– Какой цензуры? – переспросил я.

– А вы не слышали? – изобразил он крайнее удивление, – с сегодняшнего дня весь космос идет по спеццензуре... Отнесите им, а по их визе я поставлю штамп, не читая.

– Может, все-таки для первого раза сами посмотрите?.. Статья вся публиковалась – вот книги... Рисунок – обыкновенный самовар...

– Нет, нет, нет... – вернул оттиск цензор. – Только что пришла инструкция, запрещающая нам самим ставить штамп. Обязательна виза космической цензуры. Запишите телефончик. Спросите Сергея Тимофеича и все с ним решите.

Половина первого ночи. Где искать новую цензуру? А без нашего материала газета выйти не может.

Бегу к телефону. Безнадежно глухие гудки. Долго никто не подходит. Наконец, недовольно-сонный голос отвечает, что рабочий день давно кончился и Сергей Тимофеич отдыхает дома. Упрашиваю дать его домашний телефон. Сонный голос сквозь зевок объясняет, что домашние телефоны давать не положено. Затем, помурыжив меня в собственное удовольствие, сквозь зевоту и кашель все же выжевывает номер.

У космического цензора голос на удивление дневной, бодрый и похоже почти благожелательный. Выслушав, в чем дело, он без упрашиваний тотчас диктует домашний адрес, объясняет, как проехать и по какому признаку отыскать дом.

В третьем часу ночи находим его в арбатских переулках. Подъезд погружен в полную тьму. Жгу спички на кошачьей лестнице, отыскивая нужную квартиру.

В пятне желтого света за открывшейся дверью возникает невзрачный человек в халате и шлепанцах. Идем по коридору, убегающему в космическую бесконечность.

По дороге я в который раз объясняю, что статья составлена из напечатанных-перепечатанных кусков, а картинка – обыкновеннейший самовар...

Сергей Тимофеич посмеивается, шаркает шлепанцами, что-то сочувственно бормочет. Он чем-то меня обнадеживает, и я уже с уверенностью в успехе следую за ним.

В полутемной комнате усаживает меня в кресло, сам садится на всклоченную кровать под конус тускловатого света от лампы на тумбочке.

Наспех пробежав статью, сразу же пристроил ее на коленку и подписал.

Один из пудовых мешков, давивших душу, сваливается, я распрямляюсь.

Цензор рассматривает рисунок. Рассматривает. Рассматривает. Рассматривание до тревожности затягивается.

Свалившийся было мешок, опять наваливается на плечи, давит сердце.

Космический цензор концом ручки почесывает подбородок с отросшей за день щетиной. Ее треск ничего доброго не сулит. Потом он отводит рисунок на вытянутую руку и рассматривает самовар с явным подозрением. Через мучительно растянувшееся время произносит: «М-м-да-с-с...»

Я понимаю, что с рисунком полный провал и грандиозный скандал ждет меня близким уже утром.

Цензор почесывает подбородок и сквозь искривленные губы цедит: «Не нравится мне ваш самовар... Он состоит из трех частей: подставки, водогрея и конфорки... Три части, понимаете ли... Это может быть воспринято как намек...

– Какой же намек, Сергей Тимофеич? Ведь художник никогда не видел настоящий спутник, он понятия о нем не имеет... Потому и нарисовал самовар... Вы же сами сказали «водогрей», «конфорка»...

Еще в том же духе я бормотал, пока он вертел картинку так и сяк. Я принялся описывать огорчения, которые ждут наших многочисленных читателей, не увидящих рисунка со спутником, намекнул на неприятности, ожидающие меня самого.

После трудного раздумья, цензор сказал: «Конфорочку уберите непременно. Только при таком условии...» Оторвал ручку от собственной щетины, и совершая подвиг самоотречения, подписал самовар, поставив в скобках: «без верхней крышки».

Дальше все замелькало уже в радостном калейдоскопе. Я вылетел на темную лестницу, бросился к машине, кинулся к редакционному цензору, предварительно замазав белилами страшный секрет самоварной конфорки... Штампы засияли на статье и рисунке. Типография заработала.

Потом, когда спутники зачастили каждую неделю, к Сергею Тимофеичу стали посылать бойкого практиканта. Он до того пришелся по душе космическому цензору, что стал прихватывать с собой чекушку коньяка (водки) и «нехитрую закуску». После очередного подписания они устраивали дружеский ужин.

Мы получили некоторую фору против других изданий и зажили припеваючи. Наловчились сами с помощью ножниц и клея стряпать статьи за ученого (накупили его брошюр и кромсали их, как хотели, прокладывая длиннейшие цитаты связующими фразами). Ученый не возражал, поелику мы тотчас по выходе статьи сообщали ему по телефону о дне получения гонорара.

С художниками тоже все наладилось. Предупреждали их, чтоб не было трех частей – и дело оказывалось в шляпе.

И лишь по прошествии многих лет стала понятна вся глубина непомерного идиотизма, заставлявшего уйму сил и времени затрачивать на глупейшие «согласования» самоварной конфорки с космической цензурой.

* * *

Надо отметить, эта цензура была самой молодой, и поэтому, видимо, такой доступной вплоть до некоторого панибратства и даже совместного выпивона. Помимо нее, где-то в полутьме Министерства обороны гнездилась еще военная цензура. Увидеть ее мне не удалось ни разу. Все ее таинственные ритуалы разыгрывались по телефону или через посыльных в погонах старшины...

Книгу одного боевого генерала, прошедшего войну от Бреста через Будапешт до Манчжурии и интересную как живое свидетельство военного быта в самых немыслимых условиях, вышеназванная цензура мурыжила больше года.

В начале эпопеи (а точней сказать – «опупеи»), созвонившись с военным цензором, я отнес верстку книги генерала в старинный особняк на Кропоткинской улице

(Пречистенка). Мне назвали только номер дома. Никаких вывесок, конечно, не было.

Полутемный вестибюль отгорожен от входных дверей барьером. У конторки сидит дежурный офицер. Сыроватая серая скука полнит пространство. Дежурный изнывает от нее, и мое появление воспринимает как неожиданное развлечение. Сначала он не показывает вида, что заметил меня и с каменным лицом перекладывает что-то на конторке.

Лишь когда я назвал фамилию нужного мне цензора, он поднял глаза, не двинув ни одним мускулом. Оглядел меня, как неизвестно откуда свалившуюся вещь. Спросил документы. Медленно раскрыл, сверил со списком, скрытым за барьером конторки, вновь поднял глаза и сказал в пустоту номер местного телефона.

Звоню. Четкий с металлическим вызвоном голос цензора, помимо слов, говорил еще о том, в какие недоступные штатскому пониманию глубины я забрался, какие меня подстерегают неожиданности и трудности именно по причине моего цивильного состояния и безмерной удаленности от звезд и звездочек, сияющих на погонах. Ошарашив меня таким монологом, цензор в приказном тоне сказал, чтобы я ждал посыльного, который и возьмет у меня верстку генеральской книги.

Хотя особняк всего лишь двухэтажный, посыльного пришлось ждать порядочно. Понялось, как перегружены работой в этом учреждении. Наконец, гулкий вестибюль чеканным шагом пересек подтянутый старшина. Не замечая меня, переглянулся с дежурным и только тогда меня увидел, взял верстку и удалился в полутемные недра.

Как условились, недели через две я позвонил цензору. В голосе его, помимо металла, появились еще нотки раздражения и озабоченности. Он сказал, что в силу занятости не успел прочитать верстку, и предложил позвонить дней через десять.

Через десять дней по голосу улавливаю, что цензор не без неприязни ждал моего звонка. В словах звенит один металл. Просит не беспокоить его месяц. Мои доводы, что у издательства есть план выпуска, который нельзя нарушать, пролетают впустую. «Не раньше месяца. Вам понятно?» – режет цензор и бросает трубку.

Через месяц в голосе слышится лишь звон перемерзшего металла. Вот как! Верстку направили главному военно-

му цензору в Минобороны... Затем голос железного автомата называет адрес, по которому искать решение судьбы книги старого генерала.

Перебираю в памяти содержание верстки и не могу найти ничего, что могло бы составить военную тайну, тем более, что после войны минуло сорок лет и обо всех операциях, упоминаемых автором, написаны книги, сняты фильмы. Наш генерал оригинален лишь в описании житейских подробностей фронтового быта, человеческих отношений при нечеловеческих трудностях отступления... Что за секреты усмотрел цензор? Почему послал на высший суд цензурного Олимпа?

Впрочем, график выхода книги давно сорван, и ее выпуск перенесен на следующий год.

Автору недавно исполнилось девяносто лет, и подарка к столь редкому в наши дни юбилею не получилось... Кстати, среди всех радеющих за книгу он выглядит самым отстраненным. По-стариковски мудро и неторопливо успокаивает меня, просит не переживать – ведь рукопись была готова еще двадцать пять лет назад и лежала без движения, а теперь, несмотря ни на что, наметилось некоторое шевеление... Он подкрепляет свои слова латинской пословицей.

С первого знакомства меня подкупило в нем то, что генерал знает греческий, латинский, итальянский и немецкий (окончил в давние времена классическую гимназию), и склад ума у него не ограничен военной сферой, а отмечен разнообразными интересами, среди которых любовь к живому русскому слову и настоящая писательская хватка.

За всем, что происходило и говорилось в эти месяцы мытарств и неопределенности, подспудно и постоянно чувствовалось, что о судьбе своей книги он знает больше нас и судит о ней по каким-то неизвестным нам обстоятельствам и неуловимым признакам.

И вдруг через несколько дней совершается настоящее чудо. Однажды утром – звонок с Олимпа военной цензуры. Мужественный и в то же время мягкий голос просит зайти за версткой, которую подписали без особых замечаний... Сами! Просят! Не могу поверить ушам. Где это видано, чтобы цензор сам сообщал редактору о своем решении?!!

Неведомое чувство подсказывает, что в глубинах безмерного ведомства произошли некие тектонические сдвиги: что-то рухнуло, что-то воздвиглось... Не иначе.

На крыльях лечу в Минобороны.

Огромное здание. Гранитные ступени. Десятки всевозможных чинов от рядового до генерала поднимаются и сбегают по лестнице.

Привычный уже барьер в проходной громадного вестибюля.

Спрашиваю дежурного офицера, где здесь военная цензура. Он проверяет документы у проходящих и меня не слышит.

Дожидаюсь, когда поток входящих прерывается; переспрашиваю. Он меня, наконец, замечает. Что-то бросает стоящему рядом старшине. Тот поворачивается ко мне и объясняет: надо завернуть за угол и войти во двор – там справа вход...

Огибаю циклопическое здание, которое с тыла оказывается не таким уж вылизанным и сверкающим. Погружаюсь в серый сумрак двора. Солдаты в потрепанной форме тащат бидоны, ящики и корзины, видимо, в буфет или в столовку. В грязной луже стоит грузовик. С этой стороны здание не солнечно-желтое, как с фасада, а мрачно-серое, окна пыльные, тусклые. По затоптанной лестнице поднимаюсь на подобие крыльца. Вхожу в узкий коридор, где за барьером, продолженным проволочной сеткой почти до потолка, сидит дежурный. Он дает местный телефон. Вскоре посыльный приносит верстку.

Звоню долготерпеливому автору, рассказываю о последних главах цензурной эпопеи («опупеи»). Генерал – это слышно по телефону – улыбается и говорит латинскую пословицу: «Sic transit gloria mundi» (Так проходит мирская слава).

Смысл пословицы применительно к произошедшему мне стал понятен лишь после разговора с одним из бывших сослуживцев генерала.

Тот объяснил, что на днях был снят важный чин, который поклялся не давать книге хода, пока жив. Когда-то генерал дал этому чину уничтожающую характеристику. Тот и действительно был никудышним артиллеристом, но оказался блестящим карьеристом и со временем стал выше своего бывшего начальника...

* * *

Всегда утром и всегда неожиданно всех редакторов приглашали к директору издательства послушать замечания цензора, накопившиеся за квартал, а также новые инструкции и изменения в старых инструкциях.

Цензор, ничем не примечательная женщина неопределенного возраста, неопределенной наружности, в чем-то неопределенно сером, сидит за столиком, приставленным к директорскому столу. И всякий раз директор, явно заискивая, предлагает ей занять его место. Она всякий раз подчеркнуто-скромно отказывается.

Звучат ритуальные слова директора, всякий раз предваряющие ее сообщение – все, о чем будет говорить цензор, нельзя записывать и кому бы то ни было сообщать; только запоминать и руководствоваться...

Цензорша принимается перечислять вмешательства: книги и редакторов, которые повинны в том, что цензуре пришлось изымать то-то и то-то. Затем она в который раз предлагает приходить к ней заранее и советоваться, что можно печатать, а что нельзя.

Больше всех достается редактору, книги которого интересны и оригинальны (по тогдашним понятиям). Он привык к похвалам в прессе, к успеху на выставках, и теперь сидит согнувшись, прячется за спинами.

Цензорша щучит его за то, что не посоветовался заранее, не просматривал список запрещенных к упоминанию объектов, и потому пришлось перекраивать верстку, задержать выход книги.

Редактор краснеет, синеет, сдерживаясь, но нудные поучения все капают и капают на голову, и он не выдерживает, едва слышно выдавливает:

– В книге речь идет о событиях такой давности... кому в голову взбредет, что они секретные...

Директор поднимается из-за стола:

– Юрий Петрович, мы собрались послушать Ларису Ивановну, а не вас. Принимайте истину, как бы она ни была горька.

– Принимаю, принимаю... – бурчит редактор.

Все понимают, что в этой невзрачной женщине сосредоточились никому не подвластные силы, которые могут смести любого, которые невозможно переспорить, переубедить,

уговорить. Это неподдающаяся ни разумению, ни воздействию стихия. Она может все, мы не можем ничего. Это даже похлеще стихии. От ветра, дождя и снега можно укрыться, а тут любой гол и немощен.

– В верстке, поступившей к нам, содержатся имена ученых, которые теперь нельзя упоминать в открытой печати, – говорит цензорша согнувшемуся Юрию Петровичу. – У вас там они все еще молодые и неизвестные, но книга-то выйдет сейчас, когда они стали совершенно закрытыми...

– Извините, – не может сдержаться редактор, – а если сейчас закроют Ивана Калиту или Александра Невского... Они что же, исчезнут из своего времени, пропадут из истории?..

Директор во второй раз поднимается и с извиняющейся полуулыбкой смотрит на цензора, осаживая строптивого подчиненного.

– Не утрируйте, Юрий Петрович! Прислушайтесь к замечаниям. Мы все благодарны Ларисе Дмитриевне за объективную и обоснованную критику... Как говорится, мотайте на ус и учитывайте при дальнейшей работе.

Цензорша понимает свою неодолимость и не удостаивает ответом строптивого редактора. Она переходит к следующей верстке, где несколько раз проскочило слово «лагерь».

– Ну как же так, товарищи дорогие, – трагическим полушепотом произносит она, – я много раз повторяла вам, что у нас не было и нет «лагерей»... Откуда ваши авторы выкапывают это словечко? Запомните же раз и навсегда: у нас имеются «места лишения свободы» или «места заключения».

Изобразив на лице недоумение, удивление и разочарование, она листает страницы, выискивая новые ляпы, допущенные незадачливыми редакторами (об авторах и речи нет – они заранее и навсегда отнесены к категории ничего не смыслящих идиотов).

– Вот еще типичный случай, повторяющийся из верстки в верстку: механический завод в городе Коврове... Это закрытый объект, о нем нельзя упоминать в открытой печати... Что у нас еще? Опять завод, опять закрытый... и еще... и еще... Товарищи, убедительно вас прошу: всякий раз, когда видите название завода, обязательно приходите ко мне и сверяйтесь со списком закрытых предприятий...

Так она нудит час, полтора и больше. В конце накачки в сотый раз напоминает, что в разговорах с авторами ссылаться на цензуру строжайше запрещено. Объясняясь с автором, редактор обязан все замечания цензора преподносить как собственные соображения, брать на себя всю тяжесть разъяснений и самому утрясать все вопросы и недоумения.

* * *

Пожалуй, единственными не знавшими цензурных вмешательств, были книги по атеизму. Из года в год одни и те же авторы изготовляли свои не говорившие ни уму ни сердцу писания, обращенные неизвестно к кому. Люди верующие их не читали, а неверующие и без них не верили. Никаких острых поворотов в этих писаниях не находилось – сплошные перепевы того, что изложили атеисты за последние двести лет.

Среди авторов, как и всюду, были начинающие, были средние, всплывали и известные в своих кругах.

И вот году в восемьдесят шестом случилось невиданное. Цензура напрочь зарезала книгу известнейшего в узких кругах автора...

Нас вызвали на самый верх, в Китайский проезд. Сам главный цензор страны, листая верстку, недовольно брюзжал, что в ней слишком много нападок на Церковь, не исключая Патриарха, есть и прямое «попоедство» – приписывание священникам всех грехов и прочее, и прочее...

Мы впервые услышали столь резко высказанное недовольство атеистической книгой и не могли еще понять, куда же клонит цензурный боярин. Вряд ли он сомневается именно в этой книге – ведь подобных писаний вышли сотни и сотни... А-а-а... Видимо, автор в чем-то провинился перед высокими инстанциями... Но об этой догадке нельзя и заикаться.

Наши судорожные соображения прервал сам боярин. Он закурил свой неизменный «Кемел» и доверительно (неслыханная откровенность в этих стенах!) сообщил, что у Михаила Сергеевича совсем иное отношение к Церкви, чем у покойного Константина Устиновича. Оказывается, Михаил Сергеевич регулярно встречается с Патриархом и подолгу беседует. Больше того, Патриарху разрешено в любое

время без предварительной записи посещать Генерального секретаря ЦК и решать волнующие Церковь вопросы.

На таком фоне наша книга, где не дается спуску самому Патриарху, вряд ли встретит положительную оценку там (глава цензуры почтительно указал сигаретой на потолок). Затем он глубокомысленно помолчал, давая понять, в какие тайны нас посвятил и изрек решение, от которого брала оторопь: книгу выпускать категорически невозможно.

Перечеркивалась таким образом козырная карта всей идеологической работы, на которую постоянно ставили все наши редко сменяемые руководители, подвергалась сомнению вся предыдущая история отношений с религией и Церковью. Впервые за все советские десятилетия Церковь ограждалась от язвительных выпадов всесильных атеистов.

Боже, что же произошло, что случилось?.. Ах, да – Михаил Сергеевич... Патриарх всея Руси...

Цензурный боярин, как всегда, завершил присказкой о недопустимости ссылок на цензуру при разговорах с автором.

Узко известный автор был вальяжен, самоуверен и в разговоре с редактором слегка небрежен. На замечание насчет чрезмерных нападок на священнослужителей, он едва заметно улыбнулся, показывая, что редактор не знает и малой части известного ему по этому вопросу, но все же сделал вид, что прислушивается...

Когда же редактор с трудом выдавил из себя слова о решении не печатать книгу, автор сначала онемел, а потом бросился защищаться:

– Как? Из-за трех абзацев, которые вам не понравились, губите всю книгу!? Это неслыханно! Я доктор наук, заслуженный деятель, это моя юбилейная, двадцать пятая книга! Я сейчас же иду в идеологический отдел ЦК! Меня там все знают!..

Продолжив такого рода довольно длинный монолог, автор несколько поостыл:

– Ну, хорошо, я согласен, что резковато высказывался в адрес Патриарха, но ведь это все можно смягчить, можно и вовсе снять, наконец. В целом-то книга, надеюсь, не вызывает сомнений?

Редактор долго мялся и с трудом еще раз выдавил будто бы свое собственное решение ни под каким видом книжку не печатать....

Только тогда до автора дошло, что все происходящее неслучайно, все санкционировано сверху, и спорить бесполез-

но. Он почувствовал у горла незримые железные пальцы и посмотрел на редактора уже безо всякой запальчивости:

– Надеюсь, гонорар мне выплатят согласно договора?..

– Конечно, конечно, – обрадовался его сообразительности редактор.

* * *

А впервые могущество и нелепость цензуры я познал еще в сорок четвертом году, осенью, вернувшись в Москву из эвакуации. Впрочем, тогда я и не знал, что это цензура – ведь привычным это слово было только по черным печатям на письмах: «Проверено военной цензурой».

В те времена прошел слух о выселении калмыков куда-то в Сибирь. Чем-то они провинились перед Вождем всех народов. Слух этот бродил по городам и весям, но никакого подтверждения не было...

И вот однажды, заново открывая для себя после разлуки родной город, я забрел на Пушкинскую площадь, подошел к памятнику Пушкину, огладил его взглядом как старого знакомого, впервые встреченного за долгие годы войны.

Перечитал отлитые из металла строки на пьедестале... И не сразу понял, в чем же нелепость, в чем странность прочитанного... Перечитал еще раз:

И назовет меня всяк сущий в ней язык
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус,
И друг степей...

Ах, вот что! Нет слова «калмык»... Оно сбито зубилом, и следы букв затерты. Нет слова, значит, и калмыков нет. Выходит, слухи об их выселении верны.

И стало вдруг не по себе. Оглянулся – не следит ли кто за тем, как я читаю изуродованную строку Пушкина, не слышит ли, как про себя произношу запретное слово...

И долго еще это слово отсутствовало в великом творении. «Памятник» читали по радио и в концертах, и все с купюрой, и стало даже вроде бы привычным, когда чтец недоговаривал слово и произвольно обрывал строку на «и друг степей...», будто так и надо...





Обломок 35

Году в 38–39 в сельмаге появились гипсовые бюстики тов. Сталина – единственное за многие годы украшение для домашнего уюта. Ведь лебеди, коты и голубки из гипса давно были осуждены как атрибут мещанства и напрочь исчезли с прилавков. И, наконец-то, в высоких наркоматах культуры решили взамен им предложить домашний образок вождя, отца, друга и учителя всех народов.

Вскоре и у нас в горнице на столике под зеркалом поселился свой домашний тов. Сталин. Он был преподнесен кем-то из знакомых в подарок, поскольку ничего более подарочного в округе не продавалось.

Мы, ребятишки, любили рассматривать его – дивились выделке каждого волоска в знаменитом политзачесе и усах, и едва приметной доброй улыбке. Трогать его взрослые запрещали, но случалось, когда они уходили из дома, сестренка брала бюстик, повязывала платочком и надевала поверх френча кукольное платьице.

Миновало лето, мы уехали в Москву. Когда же в следующем году вернулись к деду и бабушке, первым делом побежали в горницу... Но тов. Сталина на столике не оказалось.

На наши расспросы бабушка ответила, что весной, когда прибирались к Пасхе, бюстик упал, и у него отвалилась голова.

– А где ж он, сломанный?

– Да куды-то кинули... не упомню...

Зайдя как-то в полдневную жару за квасом в темный чулан, я приметил в уголке знакомый контур... Гипсовые плечи по-прежнему были затянуты во френч, и отложной воротничок плотно облегал обрубок шеи... Я заглянул подальше в угол. Голова лежала позади бюстика среди паутины. Она ничуть не пострадала – зачес, нос и усы были на месте, а губы улыбались чуть обиженно, без доброты.

Увидев эту голову, я сразу сообразил, какие замечательные возможности она таит... Сунул средний палец в дырочку, открывшуюся на сколе шеи – и тов. Сталин кивнул мне, потом замотал головой...

Уже к вечеру я натянул в проеме двери бабушкину старую шаль и устроил кукольный театр. Голову тов. Сталина мне удалось преобразить до неузнаваемости: политзачес я заклеил ватными кудрями, а к подбородку прилепил длинную бороду. Получился настоящий Черномор из «Руслана и Людмилы»! Сестричка была в восторге от спектакля, и я, желая развить успех, тут же перенес представление на уличное крыльцо. Поулошные друзья глазели на бородатого карлика словно на чудо; вскоре стали приходить ребята и с соседних улиц...

Возвратившийся с работы дед, остановился у крыльца, посмотрел представление, потом взял куклу и, заведя меня в сени, сказал: «С этой головой шутки плохи». Сунул ее в карман, и с тех пор она исчезла навсегда.

Лишь много позже я понял, какую беду мог накликать на всю нашу семью своим увлечением кукольным театром.

Представилось, как некто безликий одетый в форму энкавэдэ спрашивает:

– Мальчик, ты любишь товарища Сталина?

– Да-а-а...

– А почему ж наклеил ему бороду Черномора? Кто тебя научил?

Скажи, кто? Дедушка научил? Нет. Папа? Нет. Дядя с улицы, прохожий? Припомни, кто?..

Присловье

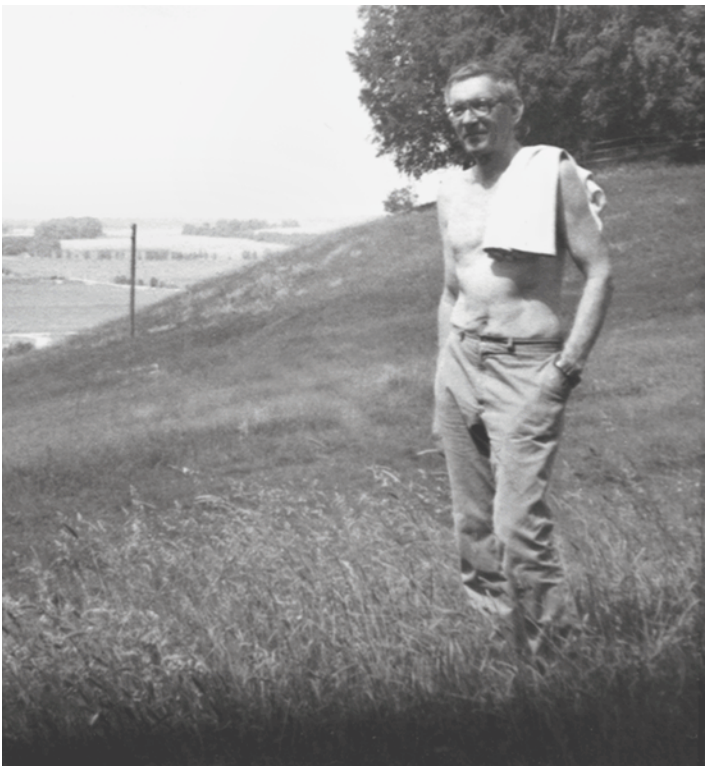
Сложилась новая форма политического управления – куклократия. В конце развитого социализма стареющий, спивающийся и выживший из ума генсек сделался куклой в руках скрывающейся за его спиной камарильи, которую интересовала не слава и известность, а настоящая власть и блага, от нее получаемые. Брежнев первым из вождей стал куклой. В нее же превратился и Андропов, прикованный болезнью к медицинским аппаратам и препаратам.

С самого начала своей генсековской карьеры сразу и определенно куклой стал Черненко, который едва передвигался и, ничего не соображая, «озвучивал» любую ахинею, нужную невидимым кукловодам.

Начав с самостоятельной акции, Ельцин попал в сети хитроумного окружения, которое споив его, превратило в полную развалину, и он всецело подчинился кукловодам. Доказательством тому – как охотно он бросился в чеченскую войну, не понимая, что это такое и куда он тянет нищую страну. Дернули за нужную ниточку, и «царь» тотчас подчинился, не сознавая в какую бездну потащил сонмы россиян.

Так номинальная власть одного лица (генсека, президента) стала ширмой для закулисных сил, по-настоящему правящих и держащих вожжи (нитки) в невидимых, но безжалостных и сильных руках.





Обломок 36

Ныне вымершее, оставшееся лишь на географических картах рязанское село Ряссы я знал всю жизнь. В детстве еще, на пути в Старую Рязань первой вехой представали Ряссы. Мы проходили вдоль широкой улицы с крепкими домами, со стайками ребятишек, с курами, гусями, со свиньей, развалившейся в неиссыхающей луже...

Миновав село, выходили в поле, где грунтовая дорога шла по бывшей губернской дороге. Если приглядеться, хорошо видны кюветы и выпуклость заросшего густой травой полотна, уходящего до горизонта. Все приметы добротного шоссе, которое осталось в прошлом веке, а ныне жители довольствуются тележной колеей, промятой меж травяной поросли.

Довольно долго прошагав, упираешься в глубокий овраг. До сих пор сохранились каменные основания моста, когда-то перекрывавшего овраг. Ныне проселок ныряет по склону вниз к ручью, к броду. Весной и осенью в дожди ручей разливается, и не остается ни брода ни хода.

По рассказам родных, в годы революции в овраге хозяйничали бандиты, и путь в Старую Рязань и Спасск-Рязанский был очень опасен.

Село Ряссы, стоявшее на губернской дороге, в годы юности моего деда было волостным центром. Здесь устраивались грандиозные ярмарки, а по будням вовсю торговали местные купцы и лавочники. Здесь же располагалась и волостная управа. Именно в Ряссах мой дед призывался в армию в 1890 году. По его рассказам, управу составляли два человека – урядник и писарь, которые вполне справлялись со всеми делами, включая наведение порядка в селе и округе.

После революции бывшую Рясскую волость разбили на районы: Шиловский и Шелуховский. Начальства наплодилось видимо-невидимо: в каждом районе – Райком ВКП(б), Райком комсомола (ВЛКСМ), Райисполком, Райуправление НКВД, Милиция, Райфо, Районо, Райзо, Райзаготзерно, Райзаготскот, Райпотребсоюз и т. п. – всего не упомнишь.

С упразднением урядника и писаря, с ликвидацией классовых врагов в лице купцов и лавочников село Ряссы сделалось обыкновенным поселением, неотличимым от остальных. Но прошлое процветание еще подпирало, и его жалкое настоящее, словно корень срубленного дерева, продолжающий гнать никому уже не нужные соки. Еще многие годы здесь удивляло множество лавок и магазинов, когда уж и торговать было вроде бы нечем.

Хорошо помню, как осенью 1941 года, когда с началом войны повсюду замерла торговая жизнь, ко мне заглянул дружок и выпалил, что в рясском культмаге есть фотопленка и все химикаты для проявления. Мы вскочили на велосипеды и основательно запаслись пленкой, на которой потом мне довелось запечатлеть друзей и сделать единственные фотографии перед их отправкой на фронт, откуда они не вернулись.

И летом победного сорок пятого, когда все разорились до крайности, когда посудой служили консервные банки, в Ряссах мне повезло купить невиданные по тем временам стаканчики из тонкого стекла с матовым рисунком.

Нечасто, с перерывами в пять-десять лет проходил я по знакомой улице Рясс, и она мало чем отличалась от той, которую застал еще в детстве.

Наступил день, когда я со старым другом в последний раз (как теперь понятно) шел в Старую Рязань в конце шестидесятых. Миновали пустоши давно не засевавшихся полей. Дорога лишь кое-где проглядывала белесыми пролысинами среди травы. По ней давным-давно никто не проезжал – нет ни следа шин, ни тем более тележного колеса, поскольку лошади стали большой редкостью. И все ж это было непонятно, непривычно. Подумалось: вероятно, дорогу перенесли, проторили новую, а мы идем, по старой памяти...

Вот и дома Рясс завиднелись вдали, показались из-за зарослей полыни и чернобыльника – самых распространенных ныне растений. Выходим на широкую улицу, но тишина заброшенных полей не покидает нас. Нет ни квохтанья кур, ни петушиного крика, ни свиного хрюка, ни звонких колокольцев детских голосов. Улица плотно заросла крепким ковром гусиной травы, подорожника, лопухов и куртин полыни. Нет ни дороги, ни тропинки вдоль домов.

От этой тишины становится не по себе, ждется что-то тревожное, болезненное, что-то плохое и мучительное.

Продрались по густой траве к первому попавшемуся дому. Палисадник огорожен посеревшим от непогоды заборчиком, а за ним – крапива в рост человека, заглохшие кусты сирени, подсохшие ветки вишен.

Сквозь ступени крыльца проросла та же крапива, и вьюнок развесил свои цветки-граммофончики.

Дверь в дом кое-как переколочена двумя досками крестнакрест, и ржавчина от неряшливо вбитых гвоздей стекает по дереву струйками запекшейся крови. Окна тоже перекрещены потемневшими досками.

Стены и крыша еще добротные. Пожалуй, простоят не один десяток лет и поведают случайным прохожим о былой жизни в этом старинном, славном, ныне вымершем селе.

Сквозь щель в воротах оглядываю просторный двор, хлев, сенной сарай – все уже похилилось, утонуло в крапиве.

Дальше виднеются яблони большого сада, увешанные зелеными фонариками никому не нужных завязей и тоже попавшие в бушующие волны крапивы и полыни.

Точно такие же заброшенные дома и на другой стороне улицы, такие же и дальше, и за проулком, и вокруг площади, где когда-то широко гомонили ярмарки, а теперь все та же полынь да чертополох.

Но вот неподалеку звучно разнеслись в мертвой тишине голоса. Идем на них, словно в дремучем лесу. Возле одного из домов – показался верх «жигуля».

Это кажется невероятным, это, как наваждение, и режет безотрадностью, словно пиршество на кладбище.

Перед домом свежевыкошенная луговина около крыльца и на ней запылившийся автомобиль.

На крыльце мужик лет сорока в трусах, сползающих с круглящегося брюшка; на ступеньке сидит его жена в того и гляди могущем лопнуть красном лифчике и набедренном уборе, тонущем среди грандиозных телесных масс.

Вовсе голые девочка и мальчик годиков по четыре-пять копаются в раскрытом багажнике.

Семья чувствует себя, как на необитаемом острове, и не на шутку пугается нашему появлению, однако все тут же встает на места.

Приехали в отпуск в дом отца, который всю жизнь тут прожил, как и дед, построивший дом. Внук, стоящий перед нами, провел здесь юность до армии. Потом осел в Рязани. Теперь у них там хорошая квартира, а отцовская изба вместо дачи.

В селе теперь никто постоянно не живет. Старики попримерли, а молодежи тут делать нечего. Лишь дачники еще навещают усопшее село. Да и тех семей пять-шесть, не больше...

Прощайте, Ряссы, вечная вам память.

По рязанским просторам нынче сплошь и рядом брошенные деревни. Двоюродный брат провез меня летом по местам, которые еще оставались в памяти как полные жизни и движения. А теперь, в девяносто пятом, они упокоились, ушли в небытие. Избы без крыш, небо сквозь выломанные окна, коровники, где забыто мычанье, и навозный дух давно улетел неизвестно, куда. А былые поля... Едем, едем – нет края, и все бурьян, полынь, пижма, чернобыльник. Земля давно забыла про плуг. Конец двадцатого века. Усыхает корень древней нашей земли, умирает Русь.

Раньше, еще в начале шестидесятых, видел я брошенные поселения в Сибири. Прожил с неделю в мертвом селе Кова, сказочно живописно устроившемся при впадении речки Кова в Ангару. Там стояла деревянная церковка, совсем старые, почерневшие избы, и среди них почти новые, добротные дома из ангарской сосны метровой толщины.

В домах сохранилась мебель, на полках кое-где еще стояли книги, в шкафах – посуда. Здесь жили сосланные в Сибирь прибалты. Едва им объявили об отмене крепостной неволи, они в тот же час схватили только необходимое в дороге и убежали, не теряя ни минуты, зная как переменчивы настроения нашего высокого начальства. Таких поселков множество по Ангаре.

Там все было понятно – бежали, освободившись от рабства.

А в центральной России – это страшно, это шествие самой смерти. Брошенные поселения видятся как осуществленный Апокалипсис, и нет оправдания, нет утешения. Есть только горе и безнадежность, как перед гробом.

Присловье

Одна из причин нищенства нашей жизни, протекающей над золотой жилой, на поверхности богатейшей земли – в необъятности просторов этой земли. Задача государства всегда сводилась к тому, чтобы удержать эти просторы, не растерять их, связать единой кандальной цепью. Отсюда – пренебрежение к человеку и его потребностям; все внимание и привязанность обращались лишь к армии, к сыску и тюрьме, к запугиванию людей, их унижению и уничтожению.

Благополучие и процветание европейских стран обусловлено их компактностью, управляемостью всеми частями-областями-землями. Люди чувствуют себя в стране, как в собственном доме, и трудятся для дома, для себя. Для нашего благополучия, для выживания необходимо разделение колоссальной империи на небольшие управляемые губернии, округа, земли, где правительства без помощи кнута и кандалов могли бы управлять обозримой площадью. Отпала бы забота об удержании бескрайней вселенной, отпала бы нужда рассылать указания от Чухлинки до Чукотки – когда приступать к севу кукурузы...

Этот процесс начался, Центр передал кое-что кое-кому, но сознание у Центра еще имперское, мечты еще о возрождении прежней огромной тюрьмы.
Так вот и голодаем, сидя на кисельном берегу молочной реки.



Обломок 37

Мой тесть Феодосий Александрович обретался в лагере под Нижним Тагилом на Урале. Вместе с ним сидел грузин, который очень тяжело переносил здешние зимы, часто вспоминал свою Грузию, ее тепло и плоды. Постепенно они прониклись доверием, и грузин поведал, что он – молочный брат Джугашвили-Сталина. Дело в том, что у матери Иосифа не было молока, и младенца стали носить к соседке, у которой недавно тоже родился сын. Так они породнились, несколько раз на дню лежа рядом на одних коленях и кормясь из одной груди.

– Так за что ж тебя посадили? – удивился Феодосий Александрович.

– А тэбэ за что? – спросил грузин.

– Меня ни за что.

– И мэнэ тоже...

Это признание еще больше их сблизило, и грузин не уставал приглашать лагерного друга после отсидки к себе в Грузию, с упоением перечисляя вина и закуски, которыми встретит.

Голод и холод угнетали южанина, и он все больше сникал и истончался.

Феодосий Александрович, напротив, не уставал искать пути к выживанию. Он слушался звериных инстинктов, которые неожиданно пробудились и помогали в звериной здешней жизни.

Так еще с самого начала, когда в сибирские морозы жили в палатке с печкой посередке, и все зеки, после пригона с работы, бросались к этой печке греться, он сразу решил к печке не подходить, согреваться только своим теплом. Валился на нары и отходил от усталости и холода. Не раз случалось, что сосед по нарам, разогревшись у печки, к утру замерзал. И Феодосий, который инстинктивно прижимался к нему ночью, чтоб прихватить малость тепла, чуял, как от новопреставленного веет могильным холодом.

Непроходящий голод гнал его к кухне, где варили баланду. Просто так, конечно, никто не подкормит, но Феодосий был мастером на все руки, при случае любил побалагурить и рассказать смешную байку. Все это и помогало выживать. На кухне постоянно появлялась нужда в умельце: поправить разбившийся глазок в окне, подбить войлок у двери, заменить в плите раскрошившийся кирпич, вбить гвоздь для черпака или поправить сам натруженный и разболтавшийся черпак. Без отказа Феодосий делал все, о чем бы ни попросили поварихи. Сделав дело, он смешил королев баланды, всемогущих даровательниц жизни рассказом или анекдотом. И стал на кухне незаменимым после отбоя.

Всякий раз одна из вольных небожительниц выходила на крыльцо с черпаком смывок от котла и звала:

– Лексаныч, подставляй котелок!

Это она фигурально выражалась, зная, что никакого котелка у мастера нет и не было.

Лексаныч снимал шапку и подставлял под живительную струю. Добрая фея лила в шапку мутную жижу, в которой иной раз мелькнет даже ленточка капустного листа.

Шапка быстро промокала, из нее сочилась теплая сукровица. Лексаныч, подняв шапку над головой, слизывал живительную капель и ждал, пока баланду схватит морозом. Ожидание не затягивалось – морозы такие, что ведро с водой мигом обращалось в ледышку.

Держа шапку перед собой, он шел в укромный уголок с приметой – вот хоть к согнутой березке. Пока подходит, в шапке уже тяжелеет сытная ледышка. Ее-то он и прячет в сугробе у ствола. Сейчас, после недавнего обеда, живот еще не подвело голодухой, а часа через два-три забурчит, запросит жратвы ненасытная утроба...

Грузин колодой лежит на нарах. Лексаныч хочет побаловать его и приносит из заначки баландийную ледышку: «На-ко, покусай...»

Грузин нюхает, пробует языком, откусывает кусочек слабыми зубами, кривится: «Нэт... нэ могу, спасиба, дарагой...» А потом выговаривает по-своему какие-то непонятные слова: сациви, лоби, хачапури, хаш... Заговаривается, как понимает Феодосий Александрович.

Погнали их строить железную дорогу в местах диких и непроходимых, куда раньше и не заглядывал никто. Когда вышли к какому-то ручью, один из зеков ради смеха подцепил ковшовую лопату песка и стал промывать с дурацкой ухмылкой. Весь кураж быстро кончился, когда на дне лопаты сверкнуло несколько золотых крупинок. Богатейшее месторождение, про которое слыхом не слыхивали! Вскоре все принялись мыть. Любая возможность – сразу к ручью с лопатой. От начальства скрывали, сколько могли, но оно, конечно, проведало...

Поближе к осени объявили, что всем зекам выдают полностью новую одежку, а старую надо тут же сдать. На землю положили железные листы и рядом – прилавок со всем новым. Подходишь, раздеваешься догола, замызганное свое старье складываешь на железо, а сам, как король, натягиваешь все новенькое.

Когда переодевание закончили, вокруг кучи выставили усиленную охрану, а старый хлам подожгли. Замызганные бушлаты и подштанники долго тлели, и когда от них остался один пепел, под ним засверкали слитки золота. Так хитрецы начальники перехитрили хитрюг зеков. О богатейшем месторождении они никуда не сообщали, оставили для себя,

и первые килограммы драгоценного металла, заначили как сувенир с уральского непролазья.

В эти переплеты Феодосий Александрович угодил в тридцать седьмом. А до этого жизнь его протекала очень удачно и весело. В деревне Новоселово, что в пойме Волги, мужики избрали его председателем колхоза. Он решил на всю катушку разыграть близость их хозяйства к Костроме и предложил сеять не картошку, как все в округе, а разные овощи и продавать на рынке. Огурцы тут сажали испокон века; он же вприбавку к ним раздобыл семена помидоров – овоща в здешних местах невиданного. Когда зазеленели плоды, стали пробовать и плеваться; и лишь настойчивость председателя поставила все по местам – дождались, когда помидоры покраснели, и тогда поняли, что это за штука.

На больших лодках повезли нежный товар в город, и там помидоры расхватывали за минуты – давай-давай еще! Огурцы тоже шли за милую душу. Хорошо выручали на огуречных семенах. В конце лета дорогу в деревне застилали брезентом и на нем сушили эти самые семена. Ребятишки любили «купаться» в семенах, набирая их в ладоши и посыпая себя с головы до ног. Им разрешалась эта забава, потому что ворошить семена необходимо, и они играя делали вполне взрослое дело. Колхозный люд здорово тогда поживился плодами своего труда, благодаря соображалистому председателю.

Новоселово стоит на плоской луговине довольно далеко от реки. Феодосий подбил мужиков выкопать пруд, обсадить его березовой рощицей, поставить лавочки, чтоб молодежи было где гулять и купаться. Пруд этот, заросший камышом и едва различимый, существует до сих пор, а березки все вырубили, как стерли с лица земли и самою деревню Новоселово. Но об этом уже говорилось.

В те времена нашелся среди мужиков один ярый противник всего, что делал председатель. А точнее сказать, завистник, ибо сам, хоть и был единственным в деревне членом партии, ничего дельного ни предложить, ни сделать не мог. Умел лишь кичиться своим членством да брюзжать, что председатель развел «кулацкий колхоз» и всех хочет превратить в кулаков.

Этот член и начал искать повод для доноса на председателя. Один повод у него уже был, но его недостаточно:

любил Феодосий, слегка подвыпив, петь песню: «Выдь на Волгу – чей стон раздается над великою русской рекой...» Песня явно была антисоветской...

Второй повод вскоре тоже нашелся. На колхозном собрании, где подводили итоги года и разбирались с трудоднями, выступил член и понес далекую от дел околесицу, на каждом слове славя товарища Сталина, повторяя то и дело: «отец ро́дный, отец ро́дный»...

Феодосий не стерпел и вставил: «Хорошо, что не двоюро́дный...»

Через пару дней председателя арестовали и запрятали в местное НКВД.

В доносе ему вменялось неуважение к товарищу Сталину, кулацкая пропаганда обогащения и распевание песен антисоветского содержания.

Новоселовские мужики написали письмо с просьбой освободить председателя, подписалась вся деревня. Но Лексаныч уже обретался в местах не столь отдаленных. (Как выяснится через четверть века, «15.10.1937 тройкой УНКВД Ярославской обл. осужден за антисоветскую агитацию к 10 годам лишения свободы по статье 58-10 УК РСФСР». Реабилитирован лишь в 1961-м...)

Возмущение колхозников было так велико, что они в сердцах кинулись к дому члена-доносчика и забили его насмерть, а чтобы разделить вину поровну, каждый сунул в бездыханное тело ножом.

Как ни удивительно, дело раздувать не стали, замяли и забыли.

С началом войны Феодосия, как и многих зеков, нехитрым политико-юридическим финтом перевели из врагов народа в защитников Родины. Он попал в стройбат, с которым отмахал всю войну.

В сорок пятом вернулся к себе в деревню и сразу же занялся хлопотами по продаже дома. А дом был дедовский, прекрасный – высокий с клетями и подклетями, с обширным двором и службами.

Жена плакала, не желая расставаться с родным гнездом.

– А тебе сладко было в этом дому, когда я в тюрьме сидел?

– Так ведь отсидел...

– Отсидел. Но если тут останусь, не утерплю, буду хозяйство поднимать, стану мужикам платить, опять разведу «кулацкий колхоз» и снова меня засадят.

Купил в городе развалюшку, подправил, перевез семью и устроился на завод плотником.

Настало время, когда старшая дочь пошла в бывшую контору НКВД, запросила дело отца. Ей выдали папку, на которой значилось Ф. И. О. осужденного, статья и срок отбывания наказания. Она раскрыла папку, а там пусто, ни одной бумажки... Вскоре Феодосия Александровича полностью реабилитировали «за отсутствием состава преступления»...

Однажды он повел младшую дочку в лес, и собирая грибы да ягоды, стал ей показывать съедобные травы, которыми спасался от голода в лагере. Девочка смотрела на листья и корни и вдруг расплакалась.

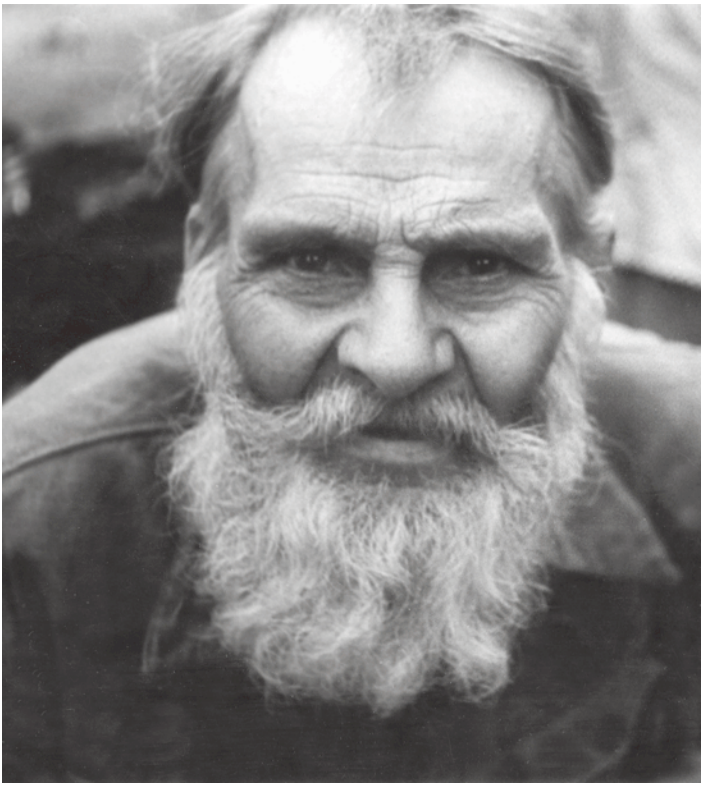
– Да что ты ревешь-то? Смотри и запоминай – пригодится в жизни.

– Тебя жалко... – прохныкала девочка.

– Меня? Да я ведь жив-здоров, и нос в табаке!

Когда он был в заключении, дочка пела песенку, распространенную в те времена:

Все папаши землю пашут,
а мово папаши нет.
Мой папаша на Урале
отбывает десять лет.



Обломок 38

Он созвал всех, кто еще оставался в этих местах из старых знакомых, к кому лежали душа и сердце. На стол выставили все лучшее, что еще сохранилось в погребах, что могли сварить и испечь. Такого пира давно не случалось в здешних местах.

Он, владелец имения, был в ударе – блестящ, остроумен и трогательно внимателен к каждому гостю.

Когда пир развернулся во всю ширь и все были во вдохновении, он приказал подать к веранде своего любимого жеребца. Гости перешли в сад, окружили щедрого хозяина. Тот выпил вместе с ними бокал вина, разбил о ступени, вскочил в седло, пришпорил коня и во весь опор помчался по саду.

Гости вспомнили, что в конце сада – обрыв к реке, и только тогда всполошились.

А он в забвении и ярости гнал и гнал. Конь вытянулся в струну и полетел сначала над землей, а потом оторвался от нее и вместе с седоком прянул в омут под обрывом. Только вода вспенилась, и всадник исчез навсегда.

Это было летом восемнадцатого года, возле села Покровского, когда начали грабить и жечь помещичьи имения.

Этот случай остался в памяти местных жителей. Там, в Покровском, у моего школьного друга Бориса жил дед. До революции дед был крепким мужиком со справным хозяйством, потом же стал, как все, полунищим. Он терпеть не мог нынешнюю власть и всех, кто с нею связан.

После школы Борис некоторое время работал инструктором в райкоме комсомола. Этого было достаточно, чтобы заработать неприязнь деда. Однако, несмотря на всю нелюбовь к нынешним порядкам и людям, дед не мог окончательно побороть родственные чувства.

Однажды, когда на праздник Борис с родителями приехали погостить в Покровском, дед пришел поглядеть на дочь и внука. Сел со всеми за стол, крепко выпил; прогуляли тогда всю ночь и легли только под утро.

Спали на полу. Борис лежал с краю и проснулся от того, что кто-то взял его за волосы и приподнял голову с подушки. Открыл глаза и увидел лицо деда, который слегка тряхнул его, продолжая держать за волосы, и сказал с тихой злобой: «Социалист, паралик тя расшиби...» Отпустил и ушел.

Жил он отдельно и никого из детей никогда не приглашал, а если кто сам приходил – не пускал за порог.

Году в пятьдесят шестом мы с Борисом были в Покровском, остановились у его тетки. Как-то днем, глянув в окно, она сказала, что пришел дед – поглядеть на внука.

Мы вышли на крыльцо. У ступенек стоял старик, заросший космами седых волос, из которых выглядывали серые резкие глаза и сизый нос. Он был бос, выцветшие, когда-то черные портки, серая рубаха колоколом без подпояски...

Оглядел нас, ухмыльнулся, ни слова не проронив, повернулся на голой пятке и пошел прочь по дорожной пыли.

Присловье

Исторический смысл и оправдание монархии, объяснение того, почему в прошлых столетиях народ сам искал наследного монарха для успокоения неурядиц: власть монарха была более выгодна для народа, чем смена властей и приход к власти человека незнатного. Старая ветвь монархов была для народа дешевле в отношении затрат – ведь она уже захватила все, что ей необходимо (земли, деньги, дворцы) – все это уже в руках монарха. Новая же власть начинает себе хапать все заново, обирает народ вторично, и это для него накладно. Поэтому люди боялись и не желали смены властей. Старая власть выгоднее новой.





Обломок 39

Стоило мне войти в коридорчик, как Лидия Владимировна вырывалась из своей комнатки навстречу.

Как всегда, в странном сероватом балахоне (что-то среднее между ночной сорочкой, пеньюаром и халатом), в космах, кое-как отхваченных ножницами седых волос, в расхристанных шлепанцах на босу ногу. Ее полное лицо плющится в беззубой улыбке. Вся она – порыв, бросок в высшие сферы политики.

Она плохо слышит, поэтому кричит, едва поздоровавшись:

– Вы представляете, что на днях отмочил в Фултоне Черчилль? Нарочно не придумаешь! Как он мог себе

позволить? Это же подлинное безобразие... да, да – безобразие! Должна вам сказать, что я еще в 1912 году, когда Черчилль только заявил о себе, сразу поняла, что это за фрукт... А еще из такой почтенной аристократической фамилии...

Она высока, грузна, размашиста, она заполнила собой весь коридорчик, и мне остается, прижавшись к двери, молча пережидать приступ ее неизменного, взрывного красноречия.

Вслед за первым артналетом, Лидия Владимировна начинает основательную бомбежку слушателя – она переходит к расстановке сил в английском парламенте, к анализу палаты общин и палаты лордов, потом делает прогноз мировой политики на ближайшие месяцы и даже годы. Она не дает мне ни на шаг отойти от двери.

Она сожалеет, что нынче нельзя купить «Таймс», «Вашингтон пост», «Монд» или, на худой конец, хоть «Фигаро»... В них должны быть детали, которых не найдешь в наших газетах... Она понимает, что хватила через край, что сетования ее неуместны и вовсе небезобидны, осекается и говорит, что впрочем и без деталей все понятно. Она не может привыкнуть, что существуют закрытые темы и необсуждаемые вопросы, а за ссылки на буржуазную прессу можно угодить в лучшем случае в ссылку...

В молодости она немало поездила по миру; политики, партии, программы и доктрины виделись ей живо, осязаемо. Кое-кого из политических светил она видела вживе, и хоть не знала лично, за их карьерами следила не одно десятилетие и о каждом могла рассказать целый роман, который сама для себя записывала в памяти уже больше восьмидесяти лет, теперь уже редко выходя даже из собственной комнаты в коммуналке.

Политика занимала ее именно, как роман, как книга судеб отдельных людей и целых народов. Попав в нынешнюю нашу изоляцию, она какое-то время задыхалась, выброшенная на скудную сушу, потом переубедила себя, стала довольствоваться тем, что дают, приняла правила новой игры, согласившись, что единственные в мире мудрецы от политики обретаются в Кремле.

Здесь, в узком коридорчике, почти половину пространства занимал грандиозный, как вагон, сундук, набитый книгами на английском, французском и немецком, разрозненными номерами газет, журналов и кипами вырезок...

Мы с закадычным другом Костей, племянником Лидии Владимировны, любили нырять в этот сундук и плавать по волнам прошедшего времени. Так мне особенно запомнился единственный номер газеты «ОТТУДА. Вестник общения с загробным миром» за 1908 год, сплошь заполненный письмами «туда» и ответами родственников и друзей «оттуда», а также сообщениями о снах, видениях, привидениях и всевозможных истолкованиях всех этих явлений.

Конечно, ни в одной библиотеке ничего подобного не найти – такие штучки давно запрещены и изъяты. И держать в руках эти хрупкие, обугленные временем страницы страшновато. Ведь если кто проведает и донесет... Эта всегдашняя и уже привычная опаска постоянно сопровождает всякий шаг, связанный с прошлым, не просеянным через сито нынешних истолкований, согласованных с «Историей ВКП(б). Кратким курсом»...

Лидия Владимировна жила на пенсию, которую получала за мужа, спеца по железным дорогам, известного в Европе и, как ни странно, не уличенного ни в шпионаже, ни во вредительстве и умершего просто от старости (с ним-то тетя Лида и объехала полмира).

Денег хватало на самое скудное питание. Но я не помню случая за наше двадцатилетнее знакомство, чтобы она посетовала на скудость, чтобы хоть раз опустилась до разговоров о продуктах и еде. Она никогда не покидала эмпиреев высокой политики.

Даже когда слегла, почти ослепла, она с утра до полуночи не снимала наушников, включенных в городскую радиотрансляцию, и едва кто-то входил, начинала выкрикивать свой комментарий к последним событиям.





Обломок 40

По телефону сказала, что едет в прокуратуру – это недалеко от меня, и мы можем встретиться у метро «Красные Ворота»...

Галю я не видел больше десяти лет и знал о ней только то, что она вернулась из лагеря. Она помнилась совсем девчонкой, и поэтому жуткие слова «прокуратура», «освобождение», «реабилитация» не вязались с оставшимися в памяти завитками пушистых волос, смелой челкой, карими глазами и овалом смуглого лица, когда-то сливавшимися в одно праздничное чудо.

Был весенний день пятьдеся шестого или пятьдесят седьмого, дотаивал последний снег, верещали воробьи.

Она вышла из метро, и я сразу ее узнал, хотя она стала совсем взрослой женщиной, и я почему-то с трудом мог в это поверить. Мы были одногодками, но сейчас, в этот миг я понял, что нас разделяет пропасть – такая умудренность крылась в ней, таилась во всем – от походки до глаз и голоса.

Я со стеснительностью, удивившей меня самого, пожал ее руку, а она потянулась ко мне и поцеловала в щеку. Поцеловала в первый и последний раз. Потом отступила на шаг, оглядела незнакомым мне взглядом, улыбнулась отрешенно, задумчиво, и вдруг легонько воскликнула:

– О, да ты в калошах...

Я в ответ – что-то насчет луж и сырости, и понял, что все это лепет, что я остался мальчишкой, остался в другом времени, а она где-то далеко-далеко, в страшной недоступности. В ту пору многие еще носили калоши, и я знал, что это не модно, и тут же понял, что дело не в моде... Она не о моде подумала, а о разрыве времен, который мы пережили.

Галя взяла меня под руку, и мы медленно пошли. Она улыбалась и посматривала на меня, и я не мог отделаться от чувства, что она глядит из-за какой-то грани, через которую мне не переступить.

И без моей просьбы стала рассказывать, что просидела в «Карлаге» – карагандинских лагерях – почти десять лет. Сказала, что ей очень повезло оттого, что в детстве занималась в музыкальной школе... Поэтому на общих работах пробыла недолго и попала в концертную бригаду, которую начальник лагеря составил из своих рабов – артистов и музыкантов – для услаждения слуха. Их возили по разным лагпунктам и им жилось во сто крат лучше, чем просто заключенным...

Подумать только, как бывало капризничала перед мамой, не желая заниматься музыкой, а мама-то о ее будущем заботилась...

В этой бригаде и познакомилась с драматическим артистом, тоже москвичом, и у них в лагере родился сын... И мальчика удалось сохранить при себе, его не оторвали, не поместили в детский лагерь...

Было странно и страшно это слышать под пригревающим солнышком под веселую болтовню воробьев.

...Но несмотря на все события, она до сих пор под обаянием замечательного американца, военного атташе, с кото-

рым случайно познакомилась в конце войны и который намеревался жениться на ней и увезти к себе в Штаты.

Но наши «органы» оказались проворней. Вместо свадьбы она получила арест и «бокс» на Лубянке. Там, оказывается, огромная внутренняя тюрьма, скрытая от глаз москвичей... «Бокс» – это что-то вроде шкафа, куда сажают человека и где нельзя не только повернуться – пошевелиться, и уснуть невозможно: прямо в лицо светит прожектор – слепящий свет и жара невыносимая. И так несколько суток.

«Оформили» как американскую шпионку.

Во время допросов выяснилось, что даже в автомобиль к ее американцу подсунули магнитофон и записали их разговор в одну из поездок. Она впервые услышала запись своего голоса и вдруг поняла, чего стоила эта запись и какая бездарная глупость была в том, что ее записывали, тратили время, силы и деньги... Ловили ветер в голове юной дурочки... Чистейшая любовная болтовня, пустяки, но вывернули так, будто это передача «сведений». Какие у нее сведения? Из учебника за десятый класс?.. Глупость, глупость и глупость... Но жизнь разбили...

А ведь если просто трезво на все взглянуть. Что в сущности произошло? Девчонка влюбилась в «принца», а «принц» в нее. Что за новость в этой жизни! Но вокруг этого пустяка началась страшная суета, бурная деятельность «органов». Десятки здоровенных специально обученных мужиков стали девчонку «вести», наблюдать круглосуточно, включать редкостную дорогую аппаратуру, получать за это немалые деньги и продвижения по чинам... И все из ничего, из пустышки, все из-за девичьей фантазии... Ха-ха-ха! Состряпали «дело» о выеденном яйце. Дать бы им в руки косы, грабли, лопаты да занять чем-нибудь дельным, и платить то же самое, и чины им гнать, как положено... Сколько бы они пользы принесли!

Мы подошли к подъезду прокуратуры. Галя остановилась, взяла меня за лацканы пальто, длинно с болью посмотрела в глаза:

– Подожди здесь на солнышке. Я ненадолго. – И юркнула за высокую дверь.

И верно – через полчаса она вышла.

– Желаю тебе одного: никогда не иметь дел с прокуратурой. – И мы отправились по солнечной мокряди.

Я видел, что ей нравится наша бесцельная прогулка, нравится свобода выбора пути, дыхания и мысли.

Я спросил ее о сыне, и она улыбнулась, и ответила не сразу.

Мальчику сейчас семь лет. И всю свою жизнь он провел за колючей проволокой. Иной жизни он не знал, и рассказам о воле верил не больше, чем сказкам.

Из Караганды вернулись в свою комнату на Плющихе. Мальчик долго не мог взять в толк, не мог осмыслить, как можно жить без привычных, и по его разумению, естественных лагерных порядков. Ему пришлось объяснять, что здесь нет «зоны», нет ворот, затянутых колючкой, нет вохры (охраны), нет вышек... Он не мог понять, как это можно, когда угодно выйти из дома и пойти куда хочешь... Здесь не бывает «шмона» (обыска), его не устраивают среди ночи и вовсе никогда не устраивают. Здесь можно делать что хочешь и когда захочешь. Малышу особенно непонятным показалось, как это можно уходить в любое время и приходить, когда вздумается...

Так мы шли и шли по раскисшему снегу, по солнцепеку, и я, может быть, впервые по-настоящему понял, какое это счастье, какая роскошь просто идти никуда и ни за чем в такой светлый весенний день.

Присловье

Родившись во всеобщей тюрьме страны, мы самим актом своего рождения были приговорены к пожизненному заключению в камере родной деревни, города, области, республики...



Обломок 41

Летом сорок пятого возвращавшиеся фронтовики чего только ни привозили из Германии...

Зайдя как-то утром к своему однокласснику, я увидел в палисаднике перед домом странное довольно большое существо, похожее на поджарого козла с лисьей мордой и собачьим хвостом, украшенным рыжей бахромой. Существо рыскало меж смородинных кустов, и я с недоумением поглядывал на него через калитку.

Из распахнутых окон раскатисто выплескивался говор незнакомых голосов, выкатывался тупой стук стаканов, и вытекал крутой табачный дым.

Тетя Таня, мать Бориса, вышла на крыльцо с чашкой объедков и помоев (обычно из нее кормили кур), поставила на нижнюю ступеньку и позвала невиданного кобеля:

– Герман, Герман! Поешь-ко вот...

Увидела меня у забора, поспешила к калитке:

– Чего встал-то? Не бойсь, он смирнай. Заходи, заходи. Ванюшка, брат мой, из Ярмании вернулси. Вот подарочек припер оттеда... Ишь, получше ничаво не нашел...

Козлозадый кобель брезгливо поглядел на чашку, подошел и неохотно сунул морду в объедки.

На крыльцо выскочил Борис, потащил меня в дом к столу, стал знакомить, угощать.

Разговор повернулся к трофейному подарку, и дядя Ваня, в который раз с удовольствием рассказал, как ворвались в имение самого Германа Геринга, какая там роскошь и невидаль: псарня как дворец, собаки живут почище иных людей (он оглядел горницу, словно бы сравнивая что-то). Свора охотничьих собак вовсе у нас невиданных. Вот одну и привез, дал ей кличку «Герман» по ее бывшему владельцу. Пусть тут поживет до осени, а тогда с ней на охоту пойдем. Во как поохотимся – от самого Геринга толстопузого кобель. Теперь пусть нам послужит, побегает по болотам за уткой. Дядя Ваня тряхнул головой:

– Это надо же, у меня в услужении любимчик их поганого министра авиации, главбумштурмбандита! Мужики, давайте за победу!

Словно поняв, что речь о нем, кобель вбежал в избу, без стеснения положил башку на стол рядом с новым хозяином. Видать, избалован людским вниманием.

Дядя Ваня потрепал его по морде:

– Мать честная, курица лесная! У меня в услужении пес самого «кровавого пса Геринга», главного фашиста, дружка людоеда Гитлера! Ну и ну, братцы мои, товарищи...

Провел ладонью вдоль собачьей спины:

– Вчера у него во дворце, а сегодня у нас в избе. А? Танюха, сеструха!

Кобель высокомерно и брезгливо поглядывал на собравшихся.

Стало не по себе, когда вдруг ясно и четко понялось, откуда этот странный пес и кто его ласкал вот так же, как дядя Ваня. Вроде бы прямая связь с самим главарем... Не услышал бы кто... Не подсмотрел бы... Самого Геринга мы

знали только по карикатурам – с непомерным пузом, увешанным орденами, в фуражке с высокой тульей, украшенной черепом и костями, с окровавленным топором в руке...

Постепенно застолье взяло свое. Разговор перекинулся на другое, собака ушла, тетя Таня загремела в кухне чугунками.

Но вскоре мирную беседу оборвал ее крик:

– Эх, паралик тя расшиби! Ах, ты козел душно́й, эх ты черт срамной!

Шлепки мокрой тряпкой, трусливый визг собаки, стук двери.

Тетя Таня ворвалась к нам в полном растрепе одежды и чувств, подскочила к брату пихнула кулаком в плечо:

– Мигом гони отсель свово блудню! Вон со двора! Штоб его духу здесь боле не было! Куды хошь девай, а тут не оставляй! Ишь, поганец, ишь охальник!

– Да чего стряслось-то? Чего он учудил?

– «Учудил»! – взвилась тетя Таня. – Да он меня изнасильничать хотел! Я к чугунку нагнулась, а он, гад, сзади подкрался, передними лапами на плечи и давай сзади шуровать... Фу ты... Склизький, мокрай, как глиста...

Посмеялись, успокоили, как могли. Дядя Ваня задумался, сказал, что, видно, пес пользовался там успехом у фашистских мадамов... Подивились такому повороту дела, но до конца не верилось. Неужто и впрямь придворные мадамы жили с этим псом? Тогда, конечно, пакость неслыханная. Надо что-то с ним делать.





Обломок 42

Праздничное просыпание. Еще в полусне слышишь голос большого колокола и малиновый перезвон вслед и радостно вспоминаешь, что сегодня Успение и ярмарка, и от этого мигом пробуждаешься, видишь синеву сквозь оконце чулана, различаешь гул тополиной листвы, вторящей колоколам, вскакиваешь, бежишь босиком через сени в избу, где взрослые уже сидят за завтраком, и досадуешь на себя, что проспал...

Нехотя перехватив что-то за столом, выскакиваешь на влажную от росы траву у крыльца и видишь на дороге телеги – полки́ и одры, накрытые рогожами и дерюгами, видишь празднично одетых баб из соседних деревень и

мужиков в ярких рубахах, подпоясанных шнурком с кистями, в картузах с лаковым козырьком. На бабах клетчатые паневы из домотканой шерсти (красные и белые нити по синему), только что вынутые из сундука и хранящие торчком стоящие складки; белые кофты вышитые красными и черными узорами, тоже чистые, яркие, тоже только из сундука. На головах разноцветье платков, косынок, шалей... У некоторых красуются кики – этакие сложные сооружения с рожками на затылке... Бабы веселы, возбуждены праздником и нарядом – шутят, смеются, напевают... Успенье.

А колокол нанизывает все эти звуки на свой мерный, тяжеловатый, но тоже веселый ритм.

Если прислушаться к прохожим, можно не спрашивая узнать, кто из какой деревни. Все они различаются своим говором и покроем одежды. Для многих деревень издавна существуют присказки – дразнилки, вроде: «Пустынские цоколки захотели свеколки». Это в деревне Пустынь все говорят на «цо»: «Цаво табе?», «Ты цо? Да ни цо! Цаво, цаво?»

Деревни густо заселены, народу много, и в праздники он стекается пестрыми ручейками в большое озеро Базарной площади, раскинувшейся у церкви нашего села Мосолова.

Церковь была особенная. В начале XIX века крестьяне миром выкупили у генерала Мосолова (оставшегося в памяти, благодаря строкам Лермонтова о нем) его дом, построенный в стиле ампир – с двух сторон высокие портики с колоннами, внутри – хоры с балюстрадой. К торцу дома пристроили трехъярусную колокольню, в которой был вход в церковь. Помнится, там всегда было темновато, и поэтому даже в солнечный день огоньки свечей сияли особенно ярко, и сразу охватывал праздничный аромат разогретого воска и ладана.

Смутно помню, как бабушка Катерина водила меня, пятилетнего, к причастию, и с тех пор остались в сердце торжественность и душевный уют, наполнявшие мир нашей сельской церкви...

В нынешнее праздничное утро я иду с уличными дружками на Базарную. Уже расставлены ряды телег и одров с яблоками, огурцами, мелкими дулями, грушами и всякой другой садовой снедью. Поодаль на траве – целые выстав-

ки горшков, корчаг, кринок, махоток, глетчиков, чашек, позванивающих под палочкой продавца-гончара, тут же табуны глиняных лошадок-свистулек, заливающихся на все лады в руках босоногих покупателей. Рядом разложены лапти разных фасонов и размеров – от махоньких детских до разлапистых, как баржи, мужицких. Китайцы у своих пестрых лотков завлекают ребятишек блестящими на солнце оловянными пугачами, оловянными же свистульками-петушками, надувными шариками «уди-уди», веерами, фонариками...

Гомон, говор, крик спора, пение нищих побирушек, фырканье и ржанье лошадей, визг поросят, принесенных в мешке, кудахтанье кур...

Нас обогнал кряжистый мужик с тяжелым мешком через плечо. Что-то в нем виделось необычное, привлекшее нас не выпускать его из внимания. И верно. Мы не ошиблись. Выбрав свободное место на луговине, он бросил наземь глухо звякнувший мешок и стал раздеваться, будто на берегу речки перед купанием. Не мы одни заметили его. Пока он снимал пыльные мелестиновые портки и складывал их на такую же куртку, уложенную на траву, вокруг начала собираться кучка любопытных.

Сняв верхнюю, ничем не примечательную одежку, мужик оказался в невиданном желтом трико, облегающем мощный торс и ноги чуть ниже колен... Тем самым он мигом отделился ото всех и превратился в настоящего циркача – артиста. Вокруг загомонила тотчас выросшая толпа любопытных.

Циркач выудил из мешка яркий коврик, расстелил на траве, а потом вынул две двухпудовых гири. Встав на коврик босыми ногами (он так и пришел босиком), силач без всякого усилия поднял обе гири над головой, приветственно помахал ими и принялся жонглировать этой страшной тяжестью, как шариками «уди-уди»... Кто-то из толпы без стесненья крикнул, что гири пустые. Силач поставил их наземь и позвал любого поднять.

Пока он отдыхал, к гирям установилась очередь, и даже крепкие парни не могли осилить такую тяжесть.

...Эти ярмарки (их называли у нас «ярманки») и еженедельные базары остались только в памяти почти отошедшего поколения. Молодежь выросла в бесцветности и скудости сельского бытия.

В тридцать пятом закрыли церковь, сбили кресты и колокола, разграбили внутреннее убранство. Потом разрушили колокольню. В бывшем доме Мосолова основали Дворец пионеров. Но принимал он юных ленинцев года два-три, а потом про него забыли; дом забросили, выбили камнями пыльные окна; любопытствующие забирались внутрь, чтоб наложить посреди зала кучу...

Сто лет вокруг церкви, как и положено, просуществовало кладбище. На нем была похоронена мама моей крестной матери. При основании Дворца пионеров могилы решили срыть и разбить клумбы. Крестная помнила место и многие годы приходила к нему положить букетик полевых цветов. Потом по этому клочку земли прошла дорога, и она приходила поклониться месту... Перезахоронить мать местное начальство «категорически» не разрешало.

Пустой церковный дом простоял несколько десятилетий без окон и дверей. В начале восьмидесятых его разобрали на кирпич и на этом месте воздвигли безобразную коробку панельного дома.

Была стерта даже память о когда-то существовавшем храме Успения Пресвятой Богородицы.

Не стало и базаров. Теперь жалкие торжки у магазина, на которых две-три бабки раскладывают огурцы да лук, не могут и отдаленно напомнить о праздничном размахе былых ярмарок. Впрочем, не стало и самой Базарной. Как уже говорилось, на ее месте по распоряжению райкома разбили «парк»: часть площади огородили штакетником, воткнули прутики-деревца, водрузили бетонную статую Сталина. Все это со временем исчезло, стерлось, растворилось в удивительной скуке и безразличии.

Теперь нет ночных уличных гуляний с гармошкой и частушкой, не слышно песен и смеха. Некому смеяться. Бывшая молодежь разъехалась по городам и возвращается лишь на неделю в отпуск. Старики, мои поулошные друзья, по большей части тоже разъехались, а оставшиеся собрались на местном кладбище. Пустеют дома, пустеют улицы, пустеет село. Былые гармони и певучие голоса заменил глухой карк телевизоров, мертвенным светом полыхающих до полуночи в избах, где еще теплится жизнь.

Из деревни улетучилась сама душа, испарилась вместе с честностью, добротой, вместе с собственным взглядом на жизнь.

Вспоминаю, как в самом начале тридцатых я приходил к дому друзей, и не поднимаясь на крыльцо, видел, что дверь в избу приперта прутиком или палочкой... Это значило: «никого нет». Никаких замков, задвижек и запоров... Из дома уходили, твердо зная, что прутик надежно охраняет его.

В начале восьмидесятых ночью загорелся дом в центре села. Хозяев не было – уехали к родственникам. Утром пошел на пожарище. Как выяснилось, дом подожгли ради забавы «шалуны» подростки – выбили глазок окна и бросили туда горящую тряпку.

Такую вот дугу прочертило поведение людей за полсотни лет. Не в этом ли страшный знак гибели?..





Обломок 43

В одном из журналов, в котором мне довелось работать в начале шестидесятых, была фотоподборщица, немолодая, но когда-то, несомненно, очень привлекательная дама. Большие серые глаза, правильное, умело подправленное косметикой лицо, несколько огрузшая фигура сохраняла еще соблазнительные пропорции. Правда, поведением своим дама не давала никаких поводов даже для предположений о былых страстях. Всегда строго одетая, она вела только служебные разговоры, ни разу ни с кем не пошутила, не пококетничала, а на шутки сослуживцев отвечала сдержанно и холодновато.

Однажды перед очередной годовщиной Октября мы остались с ней в редакции вдвоем (остальные разбежались по праздничным делам) и разговорились о подготовке к предстоящему застолью, о покупках...

И вдруг она мечтательно, необычно для себя, улыбнулась, вздохнула и без всяких предисловий принялась вспоминать, как когда-то в предпраздничные дни получала конверт с крупной суммой от самого Лаврентия Павловича... Все сотрудники его аппарата на площади Дзержинского обязательно получали этот приятный сюрприз...

И совсем отлетев в воспоминания, поведала, каким прекрасным, внимательным и обходительным человеком был Берия, как любил все красивое даже в мелочах. Например, каждое утро перед его появлением в наркомате специально приставленный служитель опрыскивал ковры на лестнице, по которой пойдет нарком одеколоном «Красная Москва». Лаврентий Павлович очень любил этот аромат и требовал, чтобы именно его благоухание встречало при входе. Каждый день из пульверизатора распылялось несколько флаконов...

Я спросил, кем же она служила у Берии? Она едва заметно смутилась, но ответила сразу: «Я была референтом по порнографическим журналам. Мы со всего мира получали, и я делала подборки для Лаврентия Павловича...»

В Белоруссии местное энкавэдэ возглавлял личный кореш Берии, некто Цаная. Как рассказывал очевидец, этот самый Цаная очень любил озадачивать подчиненных неожиданными подковыристыми вопросами.

Собрались, к примеру, начальники со всей республики на совещание. Ждут появления хозяина. Цаная стремительно входит в зал, и не здороваясь, подбегает к окну, указывая в которое, бросает вопрос: «Кыто там ходыт?»

Зал замирает. Затем несколько самых проворных приближенных и стремящихся приблизиться бегут к окну, вглядываются во двор, возвращаются:

– Товарищ Цаная, во дворе никто не обнаружен, все спокойно!

Цаная, отвалившись к спинке председательского кресла, медленно повторяет:

– Кыто там ходыт?

Делать нечего, отряжают нескольких опытных чекистов прочесать местность. Остальные в напряжении ждут.

Цаная со скукой на челе сидит в президиуме.

Возвращается группа захвата. Старший по званию докладывает:

– Товарищ Цаная, двор тщательно обследован, ничего подозрительного не обнаружено.

Цаная равнодушно слушает разведчика, затем встает и идет к окну. Группа поиска передвигается за ним.

Он подходит вплотную к подоконнику и в последний раз задает тот же вопрос: «Кыто там ходыт?»

И тут же сам себе отвечает, указывая пальцем на стекло:

– Муха ходыт...

Его дружеские отношения с Берией ни для кого не были секретом.

Частенько вечером Цаная звонил по спецсвязи в Москву:

– Здыраствуй, Лаврушa! Вот закончил дэла, падумываю об ужинэ... Кстаты, чего у тэбэ нынче на ужин? Так, так... шашлык, сациви, лоби, кахэтинское... Вах, вах, вах, как я тэбэ завидую. Чыто ты гаварыш? Приглашаешь прысоедыныться? Карашо, очин карашо. Сичас прылечу.

Самолет уже стоял с разогретыми моторами. Через час верный друг входил в особняк своего покровителя кушать шашлык.

Очевидец рассказывал, как Берия изволил посетить один из сибирских лагерей. Шли дожди, и площадь перед конторой лагеря превратилась в грязное болото. Наркому заплечных дел предстояло пройти от машины до крыльца конторы шагов двадцать. Он в начищенных сапожках, при параде и брести по болоту ему, конечно, «не с ноги»...

Начальник лагеря придумал, как уберечь дорогого гостя от сибирских хлябей. К машине, погрязшей в вязкой жиже подбежало все начальство лагеря, не убоявшееся грязи, и с ними три солдата из охраны. Двое несли перед собой по стопе аккуратно нарезанных и выструганных квадратных досочек.

Начальник с поклоном открыл дверцу машины, а солдат тут же взял из стопы дощечку и положил в лужу. Берия встал на нее, и тут же в грязь легла вторая дощечка, на которую он смело шагнул, затем третья, четвертая... Лаврентий Павлович дошел до крыльца конторы, даже не забрызгав дорогого шевро, и был очень доволен изобретательностью лагерного начальства.

Мой старый друг рассказывал, как однажды целый день отработав в Доме звукозаписи, шел по переулку, не замечая окружающего от усталости, и почти столкнулся с прохожим.

Подняв глаза увидел, что прохожий этот не кто иной, как Лаврентий Павлович... Мягкий блин расплывшегося лица, и только глаза под пенсне прокалывают ледяным острием.

Вмиг отлетела усталость, и пронзил животный страх, как на краю пропасти. И увиделись за спиной этого плюгавого, в сущности, человечка, три здоровенных верзилы, охранявших его. И снова в поле зрения одно это бесформенное лицо, нанизанное на стальные глаза. Сердце сдавило ожидание, как поступит не к добру встреченный божок... Ведь достаточно одного едва заметного кивка в сторону охранников или движения пальца пухлой руки и...

Жуткий нарком остановился. Мой друг тоже. Они стояли так несколько мгновений один против другого. Один ждал решения своей судьбы, второй остановился, неожиданно заметив проходящую букашку и, видимо, раздумывавший о чем-то своем и не придавший встрече никакого значения.

Оказалось, что у тротуара пофыркивает черный автомобиль и дверца уже открыта. Нарком сел в машину, охрана юркнула за ним. Молния ударила мимо...

Потом уже друг узнал, что в переулке, рядом с Домом звукозаписи стоит особняк Берии, огороженный высокой стеной, и в тот вечер владелец особняка решил куда-то поехать...

Прекрасно запомнился день, когда с Берией было покончено. Мы сели в набитую электричку на Белорусском вокзале. Место нашлось только в тамбуре. И в последний миг перед отправлением к нам втиснулся парень, который радостно крикнул всем тут столпившимся:

– Мужики, Берию скинули! Сейчас по радио сказали! Чтоб ему, гаду, самому загнуться на лесоповале!

Всех нас сначала сковал паралич. Ничего подобного никто никогда не слышал. Так про Берию... Да сейчас весь вагон пересадят в «воронок»... И тут же блеснуло – нет, не посадят – такое можно выпалить только, когда въяве случится... Значит, верно: нет больше Берии!

И в те же дни пошла гулять по Союзу частушка:

Берия, Берия
Вышел из доверия,
А товарищ Маленков
Надовал ему пинков!

Попозже появилась и песня:

Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентья Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.

(Поясню для незнающих: имелись в виду К. Е. Ворошилов и В. М. Молотов.)

И уже через много лет, когда удалось достать Библию и всю ее прочитать, еще опасаясь, чтобы никто из посторонних не пронюхал – ведь книга запрещенная... наткнулся на строки, от которых брала оторопь:

«Потом он (Ефрем) вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя: Берия, потому что несчастие постигло дом его» (Паралипоменон 7: 28).

И сейчас, когда все чаще поминают имя палача с хвалой и подобострастием как организатора науки, выдающегося деятеля, когда создано даже детское объединение «Юных бериевцев», сейчас в самом конце XX века эта попытка вернуть ужасный призрак вызывает тошноту, хочется избле-вать всю мерзость, накопившуюся в душе за жуткие годы правления этого выродка и его покровителя...

Присловье

Думается, наша история повествует о том, как разным слоям ее насельников передается возможность попользоваться богатствами великой страны. То это варяжские князья, то бояре, то дворяне... Дошла очередь и до бедняка, на которого оперлась новая власть и дала ему возможность запустить руку в карман с сокровищами. Что из этого получилось теперь всем понятно.
В страшные десятилетия правления Сталина мы увидели, как понимает суть власти сын сапожника.

Власть, построенная по его разумению, жестокостью и вздорностью превзошла все предыдущие. Это и был воплощенный образ власти «простого человека».



Обломок 44

Ученый оказался не очень-то разговорчивым. Едва поздоровавшись, спросил, что я знаю про свободные радикалы. Пока я отвечал, он достал из стола листки машинописи, протянул мне и сказал прийти завтра в это же время.

Высокий, сутулый, лысоватый, и в глазах глубина житейской умудренности. А ведь совсем без дряхлости при своих годах и при такой учености, при открытиях, о которых заговорили по всей стране, и мне надо о них написать для газеты.

Назавтра улыбнулся, глянув на возвращенные мной листки:

– Можете взять себе – пригодится, если надумаете писать. – Нагнулся к столу, покопался в ящике, достал квадратик органического стекла: – Вот, собственно, из-за чего весь сыр-бор...

Мне вспомнилась свалка разбитой техники, привезенной с фронтов для переплавки. Мы, мальчишки, забрались в раскуроченный фюзеляж английского штурмовика и пытаемся вытащить осколок такого же стекла из окна кабины...

Рассказал ему. Он внимательно на меня посмотрел, словно впервые заметив что-то интересное.

– Да, англичане нас в этом деле обогнали... – Не без озорства огляделся, изображая опаску, хохотнул и добавил: – Не к ночи будь сказано.

В этот миг он сделался совсем молодым, и я представил его студентом, неловким, длинноруким, перекошенным, словно бы сбитым из жердей.

И улыбка у него вовсе молодая, беззаботная. Видно, осталась от давних времен... А как хохотнет – коротко и неожиданно – так и вовсе по-студенчески.

Сказал, что у него всякая минута на счету. Он сейчас меня познакомит с сотрудницей своей лаборатории – она знает все до тонкостей, все мне расскажет не хуже него самого и поможет разобраться в сути дела.

Нина Степановна сначала показалась такой же неразговорчивой. Она на меня мельком взглянула, и те минуты, что мы оставались втроем, не спускала глаз со своего шефа. Меня как бы не было. Совсем завороженно смотрела на него. Спросила что-то по делу, он гмыкнул в ответ, но она поняла и обрадованно закивала.

Старая ученая лошадь. Так, если грубо, можно о ней сказать. Она везла воз лаборатории и делала всю серую и долгую работу, которая на днях расцветилась фейерверком Ленинской премии, и ее шеф, который всегда был для нее гением, в одночасье стал гением для всех – вот даже из газеты приехали о нем написать.

Мы с ней оставались в лаборатории после рабочего дня.

Сначала она разъяснила то, что я прочитал в листках, подаренных Григорием Алексеевичем, показала его книги, статьи в журналах. Все это со скрытым восторгом, со сдержанностью, которая вот-вот прорвет плотину и хлынет потоком славословия. Восторг не иссякал в ее глазах и на иссеченном жизнью лице, пока речь шла об ученом.

Постепенно ко мне привыкнув и проникшись доверием, однажды она приглушенно поведала, какие муки перенес Григорий Алексеевич...

Кому-то помешали его талантливость, его знания, открытия и по клеветническому доносу ни за что, «за слово» его упекли в лагерь.

Определили там лаборантом – делать какие-то пустяковые анализы для жалкого производства то ли смолы, то ли скипидара... Это ученому, тогда уже с мировой известностью...

Лаборатория стояла в сторонке, и лагерное начальство приспособило ее на зиму еще для одного «дела». К стене с единственным оконцем складывали трупы умерших за зиму зеков, собирали, чтоб по весне всех разом закопать в общей яме.

Жуткий штабель вырастал под самую крышу, и бедный лаборант лишался даже короткого зимой дневного света – безвестные покойники загораживали окно.

И даже там, одолевая весь ужас своего положения, он развивал свои идеи, мысленно ставил опыты и создавал теорию.

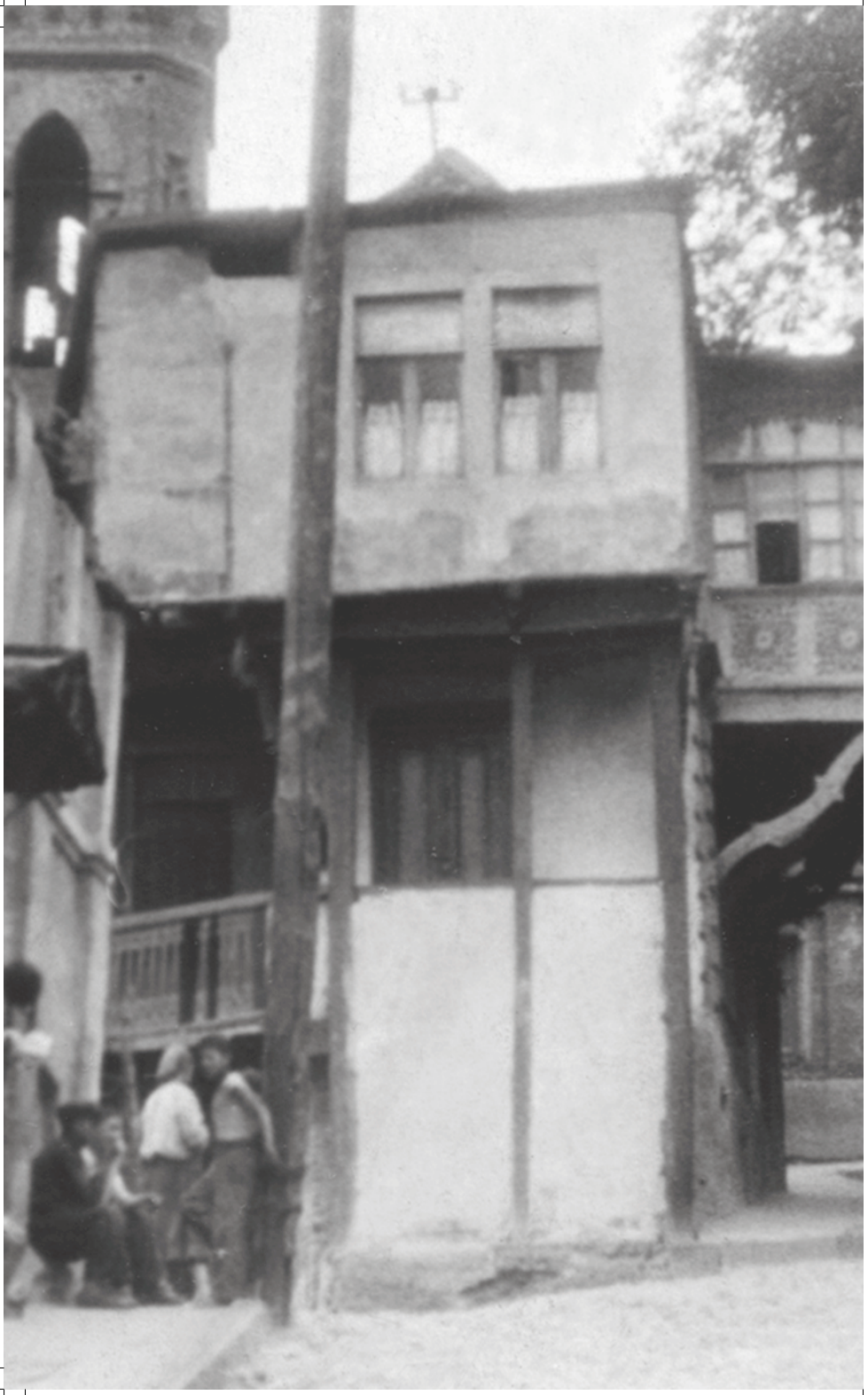
Ему, лишенному права переписки, не дано было знать в эти годы заточения, что английское радио сообщало на весь мир: создан материал для современных самолетов – органическое стекло, но русские не смогут его производить, поскольку замечательный химик Разуваев, давший фундаментальные идеи, прозябает в сталинском лагере.

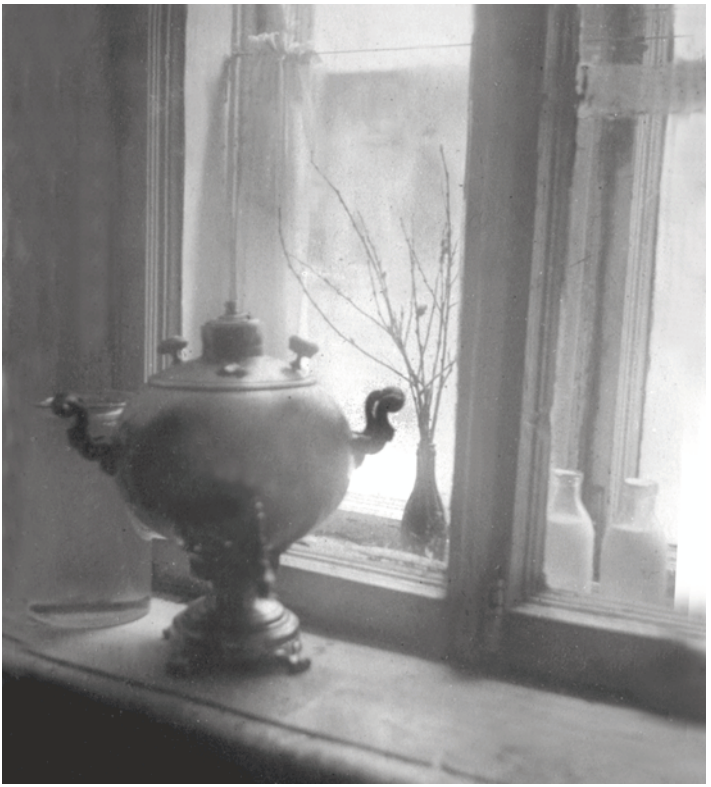
Только после того как пришел карачун «отцу всех народов» и треснула шайка его полуграмотных подручных, Григория Алексеевича освободили и сняли нелепую «судимость».

Он же, оказавшись на свободе, бросился наверстывать упущенное. Через пару месяцев, едва отдышавшись, защитил кандидатскую диссертацию, подготовленную перед самым арестом, а через три месяца защитил докторскую.

Нина Степановна едва ли не пела, рассказывая об открытиях Разуваева, едва не плакала, повествуя о судьбе.

Тогда, в 1958 году нельзя было писать про трагедию ученого и пришлось ограничиться только теорией, а то, о чем я умолчал тогда, пишу вот лишь спустя полвека и чую за спиной ледяной смрад прошлого, снова грозящего ухватить судьбы в свои зацепистые лапы.





Обломок 45

Проработали в одном издательстве лет пятнадцать, а дальше шапочного знакомства не двинулись, хотя я не мог не симпатизировать семидесятипятилетнему художнику книги Исааку Леопольдовичу Лившицу, о котором читал в воспоминаниях Паустовского и который казался фантастическим выходцем из прошлого. Несмотря на возраст, он был моложе многих молодых по выдумке, по фантазии, по неутомимости поиска новых решений, по подвижности и энергии.

И однажды он зашел ко мне сам, с порога предупредил, что заглянул просто так, без дела. То есть, конечно, по делу, но к нашей работе никак не относящемуся, что давно соби-

рался... Посетовал на свою неспособность писать, хоть всю жизнь провел среди писателей. Сказал, что накопилось много любопытного, которое может уйти навсегда вместе с ним. Спросил, не составит ли для меня интерес кое-что из прошлого. Так, несколько картинок из жизни писателей одесской плеяды... Разумеется, ничего обязательного от меня не требуется... Запомнить – и только. Если, конечно, заинтересует...

Мог бы для начала рассказать о Бабеле... Впрочем, о Бабеле очень тяжело. Он был очень странный в последние годы. Перестал приходить к друзьям и всем объяснял одинаково: это для вас опасно. Изредка звонил из автомата. Последний раз Исаак Леопольдович видел Бабеля незадолго до его ареста. Тот был очень взволнован, испуган, и не хотел начинать разговора, пока не были занавешены окна. Сам задернул портьеры и только тогда немного успокоился. Он потрясающе изменился. Всегда был общителен, всегда – душа компании, а тут предстал смятенным, забитым, опасающимся всякого шороха...

Они познакомились в Одесском коммерческом училище в 1905 году. Инспектор ввел в класс маленького мальчика в больших очках и сказал: «Это наш новый ученик Бабель Исаак».

Позже они подружились и стали вместе выпускать школьный рукописный журнал. Лившицу больше нравилось разрисовывать обложку, располагать на страницах текст, делать иллюстрации; лишь иногда он отваживался втиснуть свое стихотворение. А Бабеля интересовало только сочинительство – все остальное представлялось второстепенным. Так сразу определились их пристрастия и призвания.

Третьим в их компании был сын директора одесского Морского банка Марк. Друзей удивляло в нем то, как он прощался с отцом, уходя в училище или просто на прогулку по городу. Отец обнимал своего единственного сына, целовал, оглядывал с головы до ног, словно они виделись последний раз в жизни. Прощание было долгим и мучительным. И когда Марк уже уходил, отец тревожно кричал ему вдогонку: «У тебя есть деньги?» – «Есть, есть», – не оборачиваясь, равнодушно отвечал сын.

Это было удивительно. Ведь сказав «нет», он мог наверняка получить лишний пятиалтынный (15 коп.).

В семействе Лившицев было семеро детей, и ни о каких карманных деньгах речи быть не могло. У Бабелей было двое, и жили они, ни в чем себе не отказывая. Исааку никогда не покупали готовых ботинок – всегда заказывали у сапожника по ноге.

В училище Бабель увлекался русской историей. Занимался не по школьному учебнику, а читал Костомарова и Соловьева. Когда его вызывали к доске, весь класс слушал с упоением, так живо, ярко, так пропустив через сердце и фантазию видел этот очкастый мальчик прошлое.

Персонажи истории виделись ему близкими знакомыми, и это подчас подводило его. Однажды, повествуя перед классом о царе Феодоре Иоанновиче и Ирине, он умилялся их согласию и любви, подробно рассказывал, как царь с увлечением звонил в колокола, и даже показывал, как тот звонил, и как Ирина слушала...

Потом Бабель остановился, задумался и вдруг брякнул чисто по-одесски: «И вот вы можете-таки себе представить, эта парочка...»

Учитель был взбешен такой фамильярностью: «Бабель! Вы говорите о государе и государыне, будто это ваши знакомые с Дерибасовской! Безобразие! Вон из класса!»

Историк был до такой степени взъярен, что пошел к директору училища с предложением исключить Бабеля за непочтение к августейшей фамилии. Весь класс ходил к директору с просьбой не выгонять Бабеля. Директор сдался и отстранил Бабеля от занятий на неделю, после чего тот вернулся в класс.

И уже много позже, когда Бабель стал печататься, однажды он зашел к Лившицу вконец расстроенный:

– Ты читал мой рассказ в журнале?

– Нет...

– Вот и хорошо. Не читай. Весь рассказ переврали. Нет рассказа... А мог бы быть...

Дело оказалось в том, что в журнале набор каждого рассказа начинали с витиеватой буквицы. Рассказ Бабеля начинался фразой: «Я скорблю о пчелах». Буквицы «Я» в наборной кассе не оказалось, и в редакции нашли самый простой выход. Переиначили фразу под буквицу, которая была... Получилось: «Скорблю я о пчелах...»

Бабель едва не плакал: «Какая гадость! Не фраза, а манная каша – все растеклось, расползлось. Я же читателей облевал! Все испорчено!»

После этого разговора Лившиц перестал писать стихи – понял, что так чувствовать слово и переживать за слово не сможет никогда.

Во время эпопеи с конармией у Бабеля были натянутые отношения с комбригом С. Тимошенко. До такой степени натянутые, что Бабель боялся, не порубал бы его Тимошенко шашкой... Он рассказал Лившицу, как однажды сидел и работал. «Работа» в понимании Бабеля на первом этапе не требовала пера и бумаги. Она заключалась в обдумывании будущего текста и перебирании четок. Дело шло вяло, четки почти не перебирались.

Вдруг с треском распахнулась дверь. В дверях – Тимошенко...

Бабель понял, что надо читать последнюю молитву.

Потом из-за спины комбрига показались два конармейца, хороших знакомых Бабеля, один из которых объявил, что привели Тимошенко мириться...

Как-то в Одессе поехали купаться. Разделись, и Лившиц увидел у Бабеля на икре левой ноги вмятину, словно недавно затянувшуюся рану.

– Ты был ранен? Тяжело?

Бабель усмехнулся в ответ:

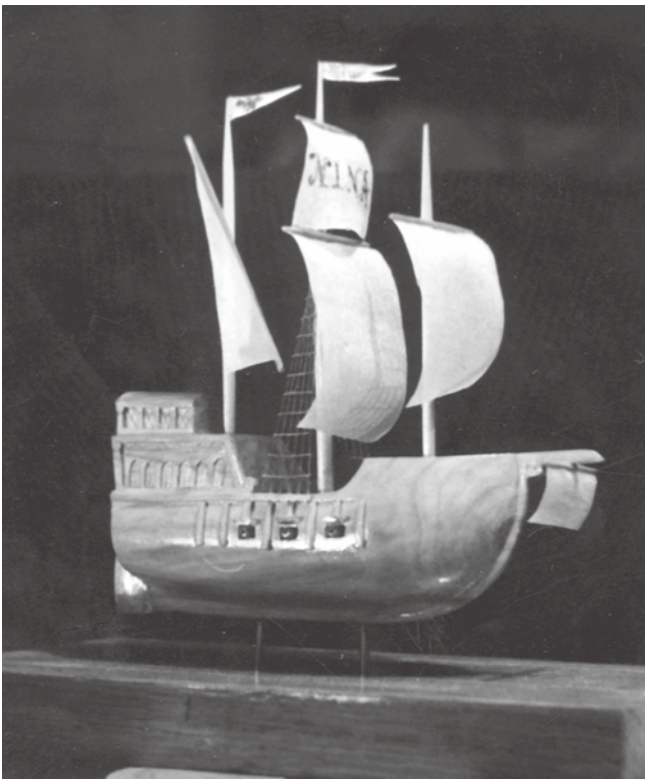
– Что ты! Нет, слава Богу! – Повернул ногу, рассмотрел. – Ты об этом? Да это ж мне вши проели...

И рассказал, как в одной из частей случился бунт. Бойцы выступили против командного состава. Политработники бросились защищать командиров. Бабелю кто-то крепко врезал по голове, и он потерял сознание. Его отвезли в деревню, где он долго пролежал в беспамятстве. В хате на тряпье, которым укрыли писателя, было столько вшей, что они выжрали кусок ноги...

Как-то Бабель собрался из Одессы ехать в Петроград. В ту пору Петроград находился в другом государстве. Граница проходила через Конотоп. Нужны золотые монеты, чтобы расплатиться с пограничниками, в случае необходимости. Лившиц достал три монеты. Бабель зашил их в подкладку и поехал.

В 1936-м, в день смерти Горького Лившиц и Бабель шли мимо дома писателя. Бабель сказал Лившицу: «Вот и все. Теперь меня мои “доброжелатели” сожрут. Меня уже нет».

Его арестовали через полтора года в 1938-м.



Обломок 46

Тетя Вера вспоминает, как в 30-м году приехала с подругой из деревни в Москву, и они отправились осматривать достопримечательности. Очень понравились им Красные Ворота, на которых золотые ангелы трубили в трубы. На Красной площади зашли в заброшенный собор Василия Блаженного. Девушек поразило, что тут, в центре столицы, собор превращен в зловонный общественный нужник. От самого входа вдоль стен навалены кучи, и дальнейший осмотр просто тошнотворен. Они убежали, зажав носы.

Затем отправились в Храм Христа. Он был уже разграблен – стены ободраны, лестницы порушены, церковная утварь утащена, фрески на стенах побиты, поцарапаны, изгажены...

Позже ей пришлось видеть, как разрушали Красные Ворота – канатами стаскивали золотых ангелов, которые разбивались о булыжную мостовую...

К этим безрадостным воспоминаниям ее подвела не менее безрадостная жизнь в конце века (1997 г.). Она живет в новом доме-башне, куда ее переселили из барака лет десять назад.

У нее довольно удобная для одной квартирка – светлая комната, большая кухня, просторная лоджия... И все не в радость от творящихся вокруг безобразий повседневной жизни, которые ранят и повергают в отчаяние.

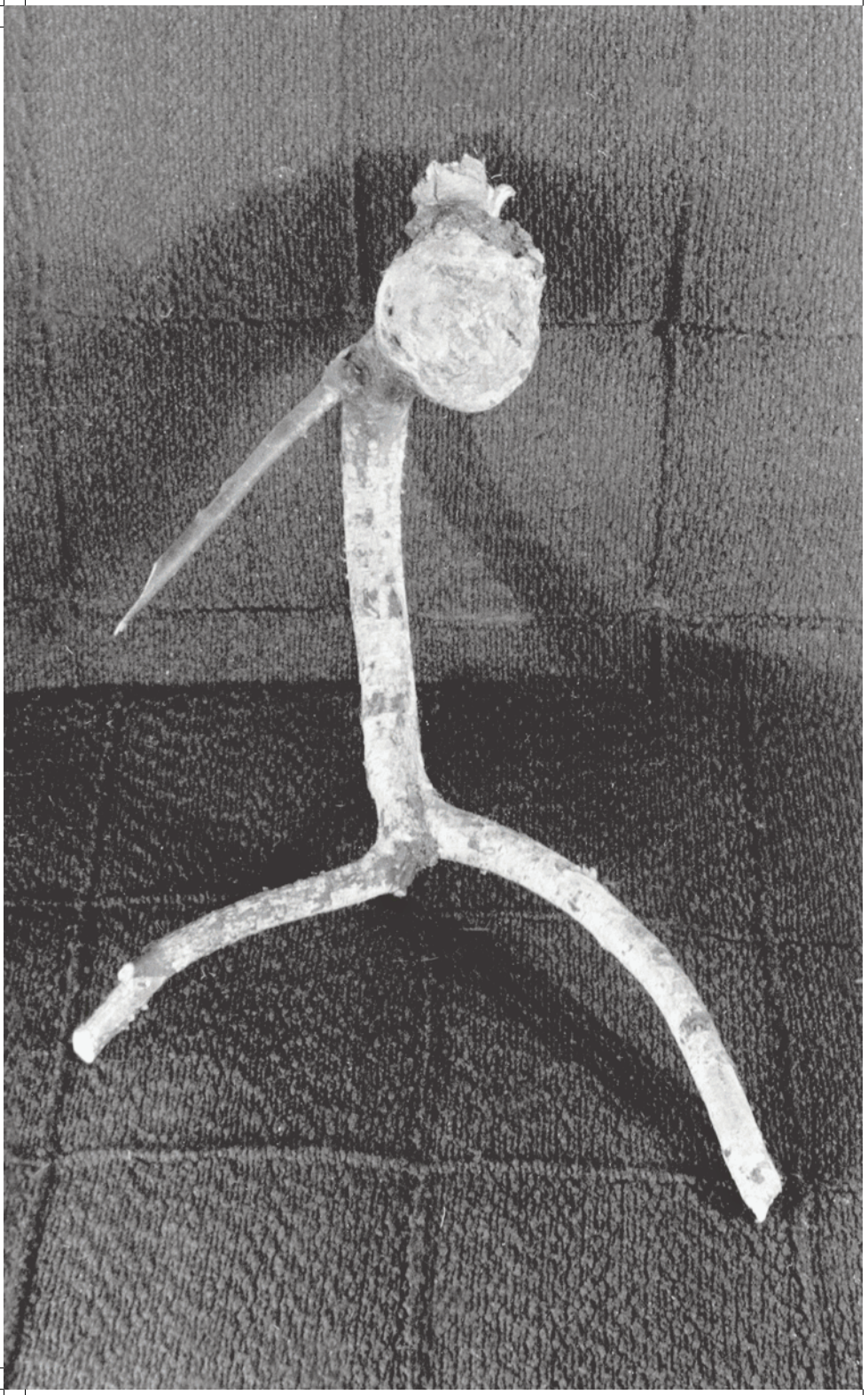
Внизу в огромном вестибюле, похожем на аквариум, в первый же год выбили окна, напоминавшие магазинные витрины. Их заменили ржавыми листами железа, и вестибюль навсегда погрузился в грязноватую полутьму.

Из коридора каждого этажа на лестницу вели застекленные двери. Стекла немедленно выбили, и зимний ветер загулял по всему дому.

Лестницы между этажами завалены мусором, загажены. Помнится, как-то осенью я не на лифте поехал, а решил пойти по лестнице, поскольку тетя живет на втором этаже. На площадке между этажами толклась кучка подростков лет 12–14-ти. Они перешептывались о чем-то своем, и увидев меня, притихли, недовольно и настороженно меня разглядывая. На площадке второго этажа в углу неподвижно сидела на корточках девочка того же возраста. Бледное лицо, глаза полузакрыты, она никак не отреагировала на меня, хотя я почти задел ее, проходя мимо. Видимо, наглоталась наркотической гадости и «ловила кайф» среди помойки, в которую превратилась площадка.

По словам тетушки, в окружающих квартирах происходит нечто, по старым понятиям, совершенно невероятное. В самом начале 1997 года пропал один из соседей по коридору. Ушел утром по своим делам и исчез навсегда. Недавно в квартире третьего этажа (как раз над ее однокомнатной) произошло ночное убийство. Злодеи уложили двух жильцов выстрелами из пистолета, а третий выбросился из окна в исподнем белье... Убийцы, как появились, так и исчезли незамеченными. Милиция ничего не смогла установить, кроме того, что все убитые были «лицами кавказской национальности» и один из них владел палаткой неподалеку...

Почтовые ящики давно сломаны и растерзаны. Поэтому раз в неделю за выписанной на дом газетой, моя восьмидесятипятилетняя тетушка спускается утром к ящикам и ждет почтальона, чтоб из его рук получить свой «Труд». Если пропустишь этот миг, считай, что газета пропала.





Обломок 47

Этот рассказ моего старого приятеля я берегу в памяти с 44-го года. После фронта, ранений и госпиталей он вернулся в Москву, и мы познакомились в университете, где попали в одну группу первого курса...

То, что он поведал, случилось осенью сорок первого под Москвой. Их часть заняла оборону около какой-то деревеньки. Когда рыли окопы, один парень из их отделения все поглядывал на дома, на огороды за спиной и сказал, что вон та изба – его родная... И все волновался, метался, но дела не бросал. Когда закончили копать, увидел, как из избы вышла на огород его мать, и не утерпел. Без разрешения командира самовольно решил сбегать домой...

Побежал и вскоре вернулся на свое место. Его схватили как дизертира и мигом приговорили к расстрелу.

Приговор приводили в исполнение перед строем, чтобы все видели и запоминали.

Мой приятель говорил, что за всю войну не видел ничего более страшного и рвущего душу. Когда парня поставили перед строем, объявили приговор и он увидел вскинутые на него винтовки, а за огородами свой дом, где только что мать поила молоком и плакала, он закричал таким голосом, с таким надрывом, с такой болью и безнадежностью, что в строю содрогнулись, многие согнулись, зажмурились, лишь бы не видеть. А он все кричал и кричал, и крик уже не походил на людской, крик заполнил всю округу и заглушил даже звук выстрелов.

* * *

Владимир Иванович был в штабе Западного фронта помощником оперативного дежурного. В его обязанности входило обеспечение пополнением фронтовых частей.

Приезжал на узловую станцию, куда приходил эшелон с новоприбывшими, и набирал людей, требовавшихся для частей фронта взамен погибших: артиллеристов, пулеметчиков и других. Набирал человек шестьсот. С ним пригоняли несколько десятков грузовиков, на которых увозили пополнение.

Прибывших на место бойцов выстраивали, и прежде чем отправить по частям, перед ними выступал с речью один из политруков. Выступление всегда состояло из двух частей. Сначала провозглашались всем известные слова и лозунги, а затем коротенько указывалось, что всякому, кто не выполнит свой долг, полагается расстрел.

И тут же перед строем выводили тех, кто не выполнил своего долга. Обычно от четырех до шести человек, присланных для показательного расстрела с разных участков фронта. Как правило, расстрел проходил быстро. Случались и неожиданности. Однажды среди расстрельных оказалась женщина. У нее началась истерика – закричала, вырвалась из рук конвойных, побежала по полю. За ней кинулся ответственный за расстрел, догнал, выстрелил несколько раз,

промахнулся сгоряча, потом ранил, наконец, совсем в упор выстрелил в затылок.

Этот заключительный акт напутствия новобранцев был самым мучительным, и всякий раз его приходилось пережить. Владимир Иванович говорил, что не мог смотреть и стоял с закрытыми глазами, но по обязанности всегда должен был присутствовать. На него это возлагалось по должности, от которой по слабохарактерности он не мог отказаться.





Обломок 48

Мой давний знакомый вспоминал, как в сорок четвертом стал невольным свидетелем высылки крымских татар.

Из своей части он нес пакет в штаб, и ночь застала его в Карасубазаре.

Постучался в один из домов. Открыл хозяин, татарин, и пустил переночевать. Встав рано утром, двинулся дальше, и когда шел по селу увидел на окраине большую колонну «студебекеров», которая двинулась по улицам, и грузовики стали останавливаться у домов.

Солдаты принялись будить жителей, вихрем пролетел приказ: одна машина на два дома, на погрузку – 30 минут. Замычали коровы, закудахтали куры, заметались люди,

полетел пух от перин, хватали в охапку детей и одежду, заталкивали в кузова.

Около одного из домов стоял летчик в кожаном реглане. Он только что подошел, приехал к семье на побывку с фронта. И видит, как солдаты гонят с крыльца его жену, детей, стариков родителей, и те грузятся в машину, и так испуганы, что не замечают фронтовика...

Не удалось их свидание, и летчику, столь солоно похлебавши, с такими впечатлениями возвращаться назад, на фронт, воевать за Родину, за Сталина.

Присловье

Когда стали строить «бесклассовое общество», и центральной фигурой стал бедняк пролетарий, внутри этого гегемона разгорелась борьба, которой раньше и не ведали. Бедняк бил бедняка, доносил на бедняка, сажал его и расстреливал. Выходит, бесклассовое общество – бредовая выдумка. Возникни оно, в нем противоречия стали бы убийственны. При всеобщем нищенстве даже новая пуговица на рубище заметна, ей завидуют и готовы пришибить владельца, чтоб завладеть такой редкостью. Причина зависти и злобы уменьшается до абсурда. Если когда-то завидовали дворцу, карете, то при социализме завидовали старому дивану, ободранному шкафу, ношеным ботинкам, лишнему рублю.

Вероятно, лишь общество из разнородных классов жизнеспособно и противоречия в нем не так убийственны.



Обломок 49

Когда людей называют «человеческим фактором», пренебрежительно сваливая в кучу лица, историю, язык, особость каждого среди других, чего можно ожидать в отношении к умершим...

Кладбище в тундре под Салехардом в низовье Оби разметалось возле шоссейной дороги. Все тут наперекосяк, все кое-как, наспех, с кондачка. Людское равнодушие и нерадивость усугубляет вечная мерзлота, выталкивающая жалкие памятники из земли. Там и сям дыбятся покосившиеся фанерные и железные пирамидки, раскинув руки взывают о помощи почерневшие от непогод, нагнувшиеся туда-сюда кресты. Ограды ближних к дороге могил превращены

в помойки: драные валенки, ватники, сапоги, ржавь консервных банок, бой бутылок, ломаные ящики и прочий хлам. Свалка отслуживших свое людей и вещей.

Самое жуткое кладбище видел я в Дудинке на берегу Енисея. Там есть улица, ведущая на сопку в тундру. Дома этой улицы не что иное, как бывшие лагерные бараки. Мне никогда в голову не взбредало, что можно добровольно поселиться в этих бараках и жить с женой и детьми. Казалось, самые стены вобрали в себя столько горя и лиха, что невозможно вынести их окружения – задохнешься, лишишься разума.

Но ведь живут. Летом ставят на окошко или на крышу ящик с зеленым луком, выносят на солнышко под окно фикусы и герань, развешивают на веревках пеленки и, верно, не очень-то задумываются о тех, кто прозябал тут до них...

Я шел по этой улице в июле шестьдесят третьего года по мосткам, проложенным над болотной трясиной, составляющей тут почву. В конце завиднелись почерневшие столбы с обрывками колючей проволоки. Навстречу попались мальчишка со щенком на руках, девочка везущая кукольную коляску и трое празднично одетых речников с авоськой набитой бутылками с шампанским.

До столбов, когда-то огораживавших лагерь, было еще порядочно. Я миновал последний барак. Здесь мостки кончались, за ними начиналась влажная тропинка. В кустах похожей на крыжовник низкорослой полярной березы попискивали и пели птицы, назойливо липли комары. Мальчишки гоняли по осоке мяч, приспособив один из столбов вместо штанги. Семья старожилов возвращалась после прогулки с букетами оранжевых жарков.

Сопка сочилась родниками. Пересекая тропинку, они журчали под ногами.

Солнечный день, голоса птиц и детей, словно сговорились отвлекать от пасмурных раздумий, связанных с этим местом. И это удалось им вполне. Я оглядывал открывшийся со склона сопки простор, сдобренный ярко-синими озерами и мощным полотном Енисея, развернутым до горизонта.

Потом сошел с тропинки и перепрыгивая через ручьи, поспешил к вершине сопки. Хотелось поскорей охватить простор сверху, разом. Я почти бежал, не глядя под ноги, а лишь отмечая, как все шире разворачивается и без того широкая картина.

Лишь на середине пути остановился, отметив краем глаза, что неподалеку за березовым кустом один из бесчисленных родников вытекает из деревянного лотка... Удивился и не мог не поглядеть поближе, на миг даже умилившись, что кто-то здесь бережет источник, оправляет в дерево, ухаживает, словно где-нибудь на Кавказе...

Обогнул куст, вплотную подошел к лотку и обмер от неожиданности, от немыслимого несоответствия увиденного тому, что ожидал найти...

Это был дощатый ящик с низкими бортиками, вроде тех, в которых на стройках замешивают известковый раствор. В ящике лежал скелет человека. Под солнцем с ужасающей четкостью прорисовывались отмытые и отполированные водой коричневые кости. Череп, грудная клетка, таз... Кости помельче ручьем отнесло к ногам. Там они сбились в кучку и слегка шевелились в струе, переливавшей через нижний край ящика.

Я не мог оторваться, и смотреть не мог. Что-то до крайности жалкое, беспомощное, плачущее и кричащее было в этой обнаженности, в этой вызывающей и взывающей открытости.

Взгляд метался по странной и страшной могиле, боязливо избегая подробностей и с ужасом их отыскивая...

В запрокинутом черепе и в нижней челюсти, видневшейся среди ребер, где она застряла, отнесенная водой, почти не было зубов...

На большее разглядывание не хватило сил. Я отвернулся и увидел вокруг под кустами и просто на широкой прогалине такие же ящики. Попятился... Наступил на останки, прикрытые осокой... Поодаль еще... Вся луговина густо усеяна костями.

Наверное, зимой хоронили... закапывали в снег... От догадки этой меня всего передернуло, сжало горло. Но помимо воли само собой нашептывалось: в лотках – те, кого с особым почетом, а остальных без «гробов» укладывали в ямы, вырубленные в снежном насте...

Горемыки из только что виденных бараков... Ни дощечки с именем, ни крестика, ни колышка... были и не были...

Еще шаг. Опять хруст... Ребра с проросшей сквозь них осокой и крохотными березками... бурый шар черепа... Старался ступать осторожней, чтоб не потревожить останки, но вокруг не было свободного места... Здесь ИХ укладывали друг на друга...

Я оказался среди бескрайнего безымянного кладбища безымянных.

Каждый шаг заводил все глубже. Треск изъеденных годами и непогодами костей сделался здесь таким же неизбежным и пугающе естественным, как хруст веток и шорох осоки.

Дико и кощунственно сквозь этот треск слышались пение птиц, дальние голоса гонявших мяч мальчишек, посвист ветра.

Оранжевым кошмаром виделись полярные цветы – жарки, покачивающиеся над ворохом осевших в траву останков.

Бред наяву. Звуки, свет солнца, окружающая реальность – все бред. Недостало сил дольше переносить этот бред. Побежал, не разбирая дороги, не глядя под ноги, стараясь не слышать хруста и треска.

Провалился почти по колено в яму. Черная вода, и под ней тоже кости, кости, кости...

Нахлынул позыв закричать, заголосить и в крике сгинуть в этом вселенском горе, но горло перехватило, как во сне, когда не можешь издать звука. И тотчас опомнился: кому кричать? по ком голосить?..

Дальше по склону, сколько охватывает глаз – сплошное кладбище непогребенных. Надо повернуть назад, к кустику, с которого начал... Но где тот кустик? Вон их сколько вокруг, и под каждым...

В ботинке хлюпала вода, лодыжку стиснула ледяная рука, и неслабеющий ужас не позволял в этом разувериться. Вокруг повсюду проступали и тянулись руки, держали, цеплялись, хватали последнюю возможность напомнить о себе. Отовсюду – безмолвный крик мертвых оскалов, невидящие взгляды пустых глазниц, вздохи ребер оттуда, где склоняется жестяная осока.

Непереносимо.

Я отчетливо отмечал сдвиг сознания, понимал, что каждая минута промедления может вовсе погубить.

Но сумел перебороть болезненную смятенность и заставил себя припомнить, что когда шел сюда, солнце светило в лицо... Повернулся к нему спиной и побежал безумной опрометью, не в силах больше ни видеть, ни слышать окружающего.

Отбежал далеко, но все не решался оглядеться... Только добравшись до обрывистого берега Енисея, по которому тянулась тропинка, остановился и отдышался, присев на бугорок.

* * *

Самое основательное сибирское кладбище видел на Ангаре в шестьдесят первом году рядом с обозначенной на карте деревней Дворец (ударение на О), давно не существующей, разоренной по приказу местного начальства в революционные годы. Когда-то здесь стояла каменная церковь, ныне разрушенная до основания. Надо сказать, что в этих местах из кирпича не строится ни одно здание – настолько кирпич здесь редок и дорог. И конечно же, церковь эта была достопримечательностью, простояла много десятилетий и была уничтожена вихрем революционного безумия.

Однако кладбище сохранилось, потому что было одно на несколько приангарских деревень, и на нем по традиции хоронят до сих пор, хотя ни церкви, ни села Дво́рец давно нет.

Меня удивило, что каждая могила была прикрыта основательным сосновым срубом из тяжелых бревен – своего рода небольшим домом без окон. Вокруг него высился крепкий забор.

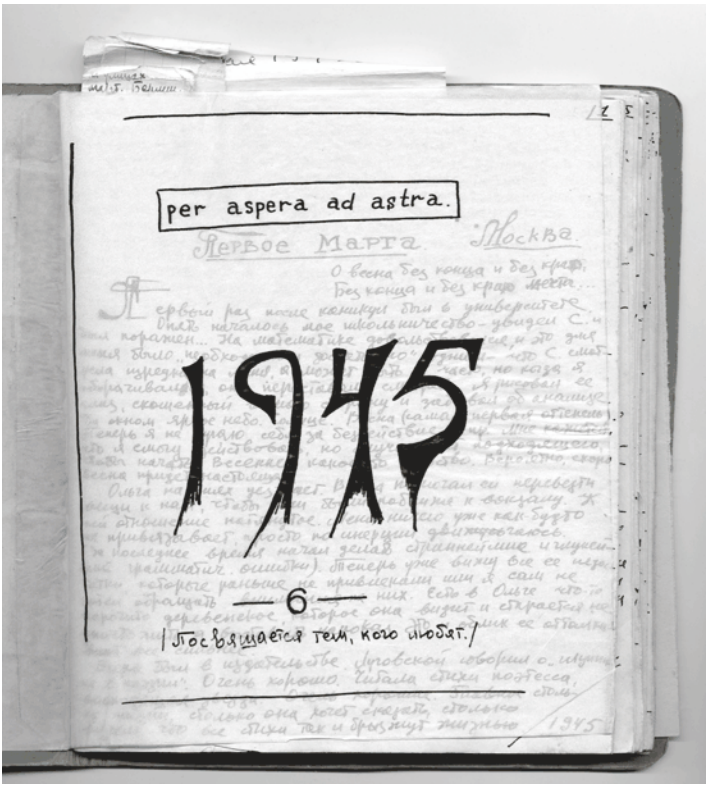
Лишь позже, расспросив местных жителей, я узнал, что срубы строятся, чтобы спасти захоронение от медведей, которые приходят из тайги, раскинувшейся сразу за кладбищем. Если б не сруб – они раскопали бы могилу и сожрали содержимое.

Запомнилась совсем новая могила, где на смолистом срубе желтела свежеоструганная дощечка с надписью чернильным карандашом. После имени, отчества и фамилии была сделана приписка: «Бедный наш брат погиб в тайге от страха и ужаса».

Какими инопланетными кажутся отсюда провинциальные кладбища в Бретани или Нормандии, где на полированных надгробьях стоят фарфоровые статуэтки ангелов, стеклянные шары и еще что-то домашнее, хрупкое, что появись у нас, не просуществовало бы и часа, а там стоит годами.

Наше пренебрежение к предкам – это прежде всего неуважение и наплевательство к самим себе, к своей жизни, ко всему нас окружающему.

Вот и пожинаем, что посеяли. А посеяли зубы дракона.



Обломок 50

Единственный подлинный Праздник за все прожитые годы, Праздник без изъяна, светлый и солнечный от начала до конца – День Победы – Девятое мая 1945 года.

Подступались к нему еще задолго до истинной даты.

Весна сорок пятого закружила праздничной каруселью, пронизала вестями, отбросившими в сторону скудную повседневность с очередями в магазин, «отовариванием» карточек, талонами на обед в столовой... Как-то вдруг сразу открылась пропасть между скудным бытием и событиями Истории, совершающимися каждый день и час.

Мне казалось, что я растворился во времени, в новостях, в апрельском ветре.

Сыроватый лист газеты на уличном стенде уже не бумага, а стихия, вихрь, наполненный событиями...

Наши под Берлином!

Это не читается даже, а вбирается, впитывается, становится твоей свежей клеточкой, прибавляющей сил и радости: «Гитлеровцы объявили в Берлине поголовную мобилизацию мужчин от пятнадцати до шестидесяти пяти лет включительно...» Тишину университетской аудитории разрывает крепкий хлопок за окном и гул артиллерийского залпа. Салют! Вскакиваем, бежим вниз. Над Манежной площадью – размытые весенним туманом огни ракет.

– Наши в Берлине! Ворвались с востока!

Девчоночку в шинельке, случайно оказавшуюся здесь, окружили, закружили, затискали в восторженных объятиях...

Не успели вернуться к занятиям, опомниться не успели – снова салют: наши прорвались в Берлин еще и с юга!

А вот другой вечер в конце апреля... Помнится, я занимался в читальне на втором этаже и услышал, как включились радиорепродукторы на крыше университета, как раз у нас над головой – едва слышный щелчок и поскрипывание, будто жук, запрятанный в коробочке. Этот звук ухо безошибочно схватывало всюду. Студенты оторвались от книг, переглянулись... Скорей вниз, на улицу!

У ворот уже стоят прохожие, нетерпеливо поглядывают на черные раструбы репродукторов. На глазах собирается толпа, которая не помещается на тротуаре, выплескивается на булыжник мостовой.

Из репродукторов всего лишь потрескивание, больше ничего, и все вокруг ждут, ждут, ждут. Никто не знает – будет сообщение, не будет... Может быть, просто проверка репродукторов... Но собравшиеся стоят и упорно ждут.

С толпой поравнялся трамвай, кативший с Охотного Ряда. Остановился. Вагоновожатая спрыгнула на мостовую: «Чего дожидаетесь? Сообщения?» Поднялась в вагон, заливисто-радостно крикнула пассажирам и выключила мотор. Трамвай вмиг опустел, и толпа стала еще плотней.

В университете с треском распахиваются верхние окна, летит сухая замазка, студенты выглядывают, прислушиваются.

Манежная площадь запружена уже до половины. Останавливаются автомобили, шоферы и седоки вылезают из машин, тихонько расспрашивают окружающих.

Мальчишки лезут на ограду, на мокрые липы, на фонарные столбы.

– А что, если ПОБЕДА... – громко сказал кто-то в тишине.

Сотни голов поворачиваются на голос.

Вестью о победе полнится воздух, все ждут этого слова. Даже даты намечаются... Одна недавно миновала – упорно твердили, что война кончится 25 апреля, к началу конференции в Сан-Франциско.

Треск в репродукторе усилился. Притихли. Слышен мотор машины, застрявшей в толпе, его торопливо выключили, чтоб не мешал.

Мальчишка, взобравшийся на столб, торопливо снял ушанку, чтобы тоже не мешала слушать, смотрит вверх.

Наконец, раздался как бы глубокий вздох, и рокочущий голос заполнил площадь:

– Внимание! Говорит Москва!... Обращение Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Сталина к Красной армии и войскам союзников...

Только этот голос над Манежной. В паузах тишина, словно площадь пуста...

– Наша задача и наш долг, – читает диктор, – добить врага, принудить его сложить оружие и безоговорочно капитулировать...

Сразу же вслед за Обращением читали приказ:

– Войска Первого Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут соединились в центре Германии, в районе города Торгау...

В перерыве между лекциями кто-то принес газету, и в ней на последней странице – одна строчка, которую читали, перечитывали вслух, повторяли на все лады, не верили, выхватывали газетный лист, чтобы собственными глазами удостовериться – да, верно ведь, верно: С 30 АПРЕЛЯ ЗАТЕМНЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТМЕНЯЕТСЯ!!!

Наступал последний вечер, когда на окна надо опускать штору из черной маскировочной бумаги, последний вечер синих лампочек на лестницах и в коридорах, черной краски на стеклах окон, темных улиц, пугливых огоньков папирос, упрятанных в рукав, карманных фонариков... Последний вечер боязни света, когда свет и смерть сцеплялись

вместе... Вспомнилось, как в начале войны по окнам незадачливых хозяев, забывших загородиться маскировкой, стрелял из винтовок вечерний патруль... Как единственное освещенное окно притягивало бомбежку с немецких самолетов?

Тридцатого с утра ждали вечера: не терпелось увидеть огни на улицах. Светящиеся фонари и окна даже представлялись плохо, настолько от них отвыкли – воображения не хватало.

Возле университетских ворот около ржавого фонарного столба, не крашенного все долгие военные годы, стоит аварийная машина Мосэнерго с поднятой площадкой. Наверху старик рабочий почистил железной щеткой пыльное нутро фонаря, принялся ввертывать большую лампу, примерил новенький молочный шар. На это радостное действо любуются несколько остановившихся прохожих.

За темное многолетье фонарь впервые принимал свой обычный вид и поэтому казался совершенно необычным.

Около гостиниц «Националь» и «Москва» тоже стояли машины с поднятыми площадками, на которых рабочие обряжали ржавые столбы, и вслед за ними весело и непривычно сверкали почти забытые белоснежные шары фонарей. Еще до сумерек, не включенные, они уже сверкали и светились.

Помнится несказанная радость, охватившая меня вечером у метро «Кировская» («Чистые пруды»). Здесь у входа толпилась уйма народа, ожидавшего возжигания уличного света. Волновались, будто перед премьерой вожделенного спектакля.

И вдруг лица окрасил красный свет – впервые загорелась буква «М» над входом, и сделалось тревожно и сладко, и одновременно вспыхнули фонари!

Кто-то захлопал в ладоши, в толпе подхватили, аплодисменты, как в театре, мальчишки радостно закричали, засвистали в два пальца, заверещали.

Наугад я свернул в переулок – посмотреть. Там ослепительно светились окна. Все окна во всех домах! Фонарей тут не зажигали, но и от одних окон светлым-светло!..

С утра в метро, на улице, в университете упорно поговаривали, что-де война кончилась еще вчера, седьмого мая, и непонятно, почему не сообщают...

Я давно решил верить только сообщениям радио, но от утреннего нынешнего слуха делалось тревожно и сладко.

Никаких подтверждений не было весь день.

К вечеру, выглянув из аудитории в окно, я увидел у ворот университета большую толпу. Репродуктор на крыше молчал; непонятно, почему собрались... Я мигом слетел вниз.

Сеял дождичек (уже третий день не утихали то грозовые ливни, то изморось). Посередине толпы стоял высокий пехотный капитан и читал вслух «Вечерку». Его совсем стиснули, он поднял газету над головой, чтобы не помяли. Я не ухватил слов – капитан кончил читать, и вновь подошедшие зашумели:

– Сначала читайте!

– Еще раз!

Капитан, не опуская рук, сложил газету.

– Я три раза прочитал, больше не могу. Берите вот, сами читайте!

Отдал газету, с трудом полез из толпы.

«Вечерка» взлетела над головой девушки, которая звонко и радостно принялась выкрикивать каждое слово отдельно:

– «Германское... радио... передало... седьмого... мая... из... Фленсбурга... что... Дениц... отдал... приказ... о... безоговорочной... капитуляции...» (тут девушка закричала тонко, с визгом еще раз: «о безоговорочной капитуляции!») «всех... сражающихся... германских войск...».

Закончив читать, она помахала газетой и передала соседке, и новый голос повторил то же самое, и все мы еще раз выслушали крохотную эту заметку, и потом еще и еще. Всяк читал по-своему: кто нараспев, как стихи, кто рубил, кто мямлил про себя, кто тараторил, кто запинался и всхлипывал... Но всякого слушали заново, и каждый раз все звучало, словно впервые.

Ночь с восьмого на девятое мая была наполнена не сном, а каким-то бредовым забытьем. Чуть начинал проваливаться в напряженный сон – тотчас просыпался, прислушивался, и в сознании всплывало: скоро, скоро... сегодня... Но даже себе не называл, чего жду, суеверно берег это слово.

В один из мигов такого забытья услышал, как в соседнюю комнату нашей коммуналки кто-то громко, не по-ночному стучит и кричит. Спросонья не разобрал, что кричат,

но тут же понял: «Ура!» Совершилось! Вскочил, во тьме нащупал розетку радиотрансляции, включил репродуктор.

Передавали сообщение о безоговорочной капитуляции Германии.

Было два часа двенадцать минут ночи девятого мая сорок пятого года. Сообщение повторяли раз за разом.

На моих плечах руки мамы. Лицо ее в утреннем сумраке, дрожащие губы...

– Неужели дождались...

Бабушка. Ее голос из темноты:

– Кончилось... кончилось... Слава те, Господи...

Перекрестилась темной рукой в полутьме, стала крестить меня и маму.

Зажгли свет, бестолково суетясь, не находя нужного, одевались.

Когда взглянул на часы, было уже около четырех утра. Открыл окно, выглянул во двор. Там бежали и кричали радостно, как давно или никогда не кричали.

Я спустился вниз, пошел по двору, в воротах нагнал незнакомого старика.

– Ну, как там, народ собирается? – спросил он.

Мне прежде всего надо забежать за закадычным другом Костей, а там решим, куда идти. Почти бегу по Ново-Басманной к его дому. Улица совсем пуста, лишь из дворов доносится нестройный хор мальчишеских голосов: «Ура! Ура! Ура!»

Ветер с севера гнал последние тучи – день разгуливается солнечный, а ведь всю неделю дождило с утра до ночи.

У 1-го Басманного переулка увидел первых праздничных прохожих. Они шли по противоположной стороне улицы и заметив меня, закричали: «С Победой!», приветственно замахали руками, будто встретили доброго знакомого. А потом всей гурьбой пошли ко мне через улицу. На трамвайных путях окружили, жали руки, вытирали слезы. Девушка ломким голосом крикнула: «Целоваться!»

Мы расцеловались и расплакались, и такая радость захлестнула, какой никогда до этого не случалось.

И вот уже идем к центру. Улицы еще пусты, лишь дворники вывешивают флаги, на здание НКПС поднимают огромный портрет Сталина.

Лишь на Кировской улице (Мясницкая) небольшая толпа, и радостные голоса гулко и весело мечутся между домами.

Подойдя ближе, увидели военных в какой-то непривычной форме, их окружили прохожие, слышались обрывки английской речи, и тут же заметили на рукаве военных английский флажок, пришитый у плеча. Один из англичан с рыжими усиками на раскрасневшемся лице, щуплый, небольшого росточка, наливал в пластмассовые стаканчики из пузатой бутылки и угощал всех подряд. Когда бутылка опорожнилась, англичанин расцеловал обросшего черной щетиной парня в шинели с ленточкой тяжелого ранения, потом милиционера, потом рабочего в спецовке...

Англичан было трое. Лощеные, прилизанные, крепко пахшие одеколоном, они кричали: «Лонг лив Сталин, Черчилль!», жали руки, все трое расцеловали подошедшую дворничиху в новом ватнике, надетом по случаю праздника. Растроганная дворничиха смущенно бормотала: «Ишь ты... они тоже рады...»

Мы никогда не видели так близко иностранцев, не слышали живой английской речи, и все это сейчас подтверждало огромность и величие совершившегося. Радость одна на всех – нам и всем народам, избавленным от смерти. И где-то в стороне осталась опаска иноземцев, вбиваемая в головы с малых лет, и показалась ничтожной, пустой выдумкой. Вот же они, живые, радостные, как и все мы...

Подъехал джип с английским флажком и увез наших новых знакомцев.

Айда на Красную площадь! Куда ж еще в такое утро? Трамваи и метро еще не ходят – пешком через весь центр.

Ветер северный, напористый, но холода не чувствуешь. И вообще тела словно не существует; расстояние и время тоже исчезли. Я не заметил, как переместился в центр Москвы.

Красная площадь залита синими тенями. Первый луч солнца осветил лишь маковку Василия Блаженного да зачехленную звезду на Спасской башне Кремля. (Звезду, как и остальные на других башнях, еще в начале войны закрыли квадратным ящиком, обитым черным толем.)

И странно видеть площадь почти пустой. Лишь около Мавзолея – люди. И хоть их немного, они доверху заполнили синюю полутьму площади голосами, смехом, нестройным пением. Площадь, как огромный зал, в котором живет эхо.

Подбегаем туда и видим, как над головами небольшой толпы взлетел молодой летчик, его качают, он хохочет, нелепо хватается за воздух.

Мне удалось несколько раз вместе со всеми подбросить лейтенанта. Потом его осторожно поставили на брусчатку, и какая-то девушка вернула ему фуражку...

Поодаль, вдоль трибун медленно и задумчиво шел пожилой полковник. Заметив его, бросились навстречу. Он смущенно попробовал отмахнуться, но его уже подхватили, подкинули вверх, самозабвенно выкрикивая в такт: «У-ра! У-ра! У-ра!» Полковник пробовал что-то говорить, и получалась радостная мешанина слов и смеха.

Едва его поставили на ноги, как он с горячностью, уже увлеченный общим настроением, указал на длинного парня в затертой спецовке и кепке-«копеечке» (маленькой, похожей на черный блин) – видно, пришел прямо с ночной смены:

– Рабочие не хуже солдат потрудились – качать его!

Парень, сам только что подбрасывавший полковника, засмущался, попытался противиться, но его уже подхватили: «У-ра! У-ра! У-ра!»

Солнце осветило башню, зубцы стены и кремлевский дворец за ней.

На площадь въехала большая открытая машина. Когда она поравнялась с нами, в ней встал человек в великолепном сером костюме, белоснежной сорочке и галстуке. Привыкшие к замызганной, залатанной одежке, телогрейкам или военной форме, мы с удивлением разглядывали обычную аккуратную одежду. Человек был явно из высокого начальства. И вот странность: ни у кого не мелькнуло желания качать его. Он был отделен от нас черным лаком машины. Тусклым голосом провозгласил здравицу в честь организатора и вдохновителя всех наших побед Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина. Потом скороговоркой, словно торопясь куда-то, поздравил собравшихся с Днем Победы от имени ЦК партии, опустился на сиденье и с явным облегчением уехал. Что-то вроде «здрасьте – до свиданья». «Отметился» – и порядок.

– Кто это? Кто? – зашушукали вокруг.

Полковник, после того как машина скрылась на Васильевском спуске, объяснил: «Это Александров, зав. идеологическим отделом ЦК».

От Исторического музея, снизу, с Манежной, послышалось мощное урчанье моторов, сплетенное с детскими го-

лосами. Вылезли три артиллерийских тягача, тащивших по зенитному орудию. За каждой пушкой с воробьиным верещанием – стайки мальчишек, цеплявшихся за лафеты. Кому удавалось уцепиться, ехал, поджав ноги. Солдаты из артиллерийской прислуги нехотя отгоняли их, но ребятишки тут же висли снова...

Все, кто был у Мавзолея, бросились наперерез тягачам и взявшись за руки, перегородили путь. Напустив сизого дыма, тягачи остановились.

Из кабины головной машины вылез кирпично-загорелый водитель в промасленном ватнике.

– Качать его! У-ра! У-ра!

Парня стащили вниз, и он, теряя пилотку, полетел в воздух.

Тем временем какая-то девушка вскочила на лафет и прикрепила к стволу пушки бумажную розу.

Мальчишки тотчас полезли на пушки, расселись верхом на стволах и хлопали ладошами по холодному металлу. Им одобрительно кричали.

Пробензиненные и промасленные артиллеристы соскакивали на брусчатку, поправляли ватники и комбинезоны, присоединялись к праздничной толпе, угощали и угощались махрой. Они тоже смотрели на мальчишек и улыбались добродушно.

– Не упали бы только... Высоко ведь... – приговаривал один солдат, слюня самокрутку. – И на вопрос, куда едут, отвечает: – Салют будем бить... Но это вечером, конечно...

Потом тягачи снова зафырчали и заскрежетали через площадь.

Я заметил выскочившего из-под ствола последней пушки низенького человека в синем выгоревшем плащишке с полевой сумкой через плечо и мятой шляпе, сдвинутой на затылок. Он улыбался, потирал руки, посматривая вокруг; потом скрылся и вскоре подъехал к середине площади, сидя на крыше драной и залатанной «эмки». В его руках круглилась объемистая бутыль. На горло бутыли надеты зеленые стаканчики, вставленные друг в друга.

Машину окружили со смехом и шутками – очень уж забавное и нелепое было зрелище. С улыбающимся (поперек себя шире) лицом, человек деловито раздал стоящим рядом дюжину стаканчиков, и меткой рукой с крыши машины плеснул в каждый из бутыли, затем открыл сумку и на закуску каждому присовокупил по галете.

– За Победу! За Победу, ребята! Передавайте стопки соседям, передавайте... Чур без повтора!

Так, сидя на крыше машины, он по-домашнему угощал всякого встречного, и толпившиеся вокруг по-домашнему же выпивали, а он улыбался удивленно и словно бы себе не верил, что угощает людей в такое замечательное утро на самой Красной площади...

Бутыль скоро опорожнилась, и добрый человек так и уехал, сидя на крыше драной «эмки», в мятой шляпе грибом.

В это время из-за Исторического музея выкатились два роскошных лимузина. Один с американским, другой с английским флажками. Из американского вылезли два флотских офицера. Один с черной бородой, другой моложе. Они улыбались, напоминая кадры американских фильмов с жизнерадостными парнями. Вслед за ними из автомобиля показались две дамы в невиданных нарядах, тоже как из фильма. Их окружили и в первое мгновенье не знали, что делать, как себя вести. Американцы на какое-то мгновенье растерялись. Но бородач тут же поднял руку и громко как труба крикнул: «Сталин, Рузвельт, Черчилль!»

Их подхватили на руки и принялись качать. Они хохотали, а молодой офицер, взлетая над толпой все кричал о чем-то своей даме, пока та не нырнула в машину, – появилась с кинокамерой и принялась снимать. Потом она полезла на крышу машины, чтобы снять сверху. Несколько рук подсадили ее, а вторую американку подбросили вверх, та смеялась и болтала в воздухе длинными ногами в шелковых чулках, ей поправляли сбивавшееся на лету платье и снова подбрасывали с радостным смехом.

Осторожно опустив их на брусчатку, мы увидели рядом, уже знакомых по встрече на Кировской англичан. Тот рыжий с усами опять держал бутылку за пузатое горлышко, и всем наливал в пластмассовые стаканчики виски.

Вскоре союзники уже обнимались с нами, затянули свою песню, потом мы перебили их своей, а они хором кричали: «Урэй! Урэй!»

К бородачу американцу подошел человек в потертом кителе с нашивками ранений, они обнялись, и человек сказал, чтоб было понятно иностранцу: «Зер гут!» Американец вскинул руки и стал громко говорить что-то в ответ...

У автомобиля с британским флагом, стоявшего перед входом в музей, толпились москвичи. В центре внимания был все тот же щуплый англичанин с рыжими усами. Он снял форменную тужурку и перочинным ножичком отпарывал от рукава английский флажок, явно намереваясь его кому-нибудь подарить. Я решил, что флажок должен достаться мне – лучшего в память о сегодняшнем дне придумать невозможно. Пролез через толпу к самой машине, но тут англичанин, которого теребили со всех сторон, вырвался, и держа тужурку перед собой, побежал к трибунам. Я настиг его, ухватился за уже отпоротый край флажка, пытался вспомнить и сказать подходящие английские слова, а он продолжал орудовать ножичком, пока флажок не перешел мне в руки. Англичанин похлопал меня по плечу, сказал какую-то длинную фразу, и я понял, что флажок мой. Мы пожали друг другу руки и вернулись к машине.

У меня был самодельный блокнот с обложкой из двух пластинок дюраля, выпиленных из крыла сбитого немецкого самолета. Подошел к американке и попросил автограф. Она охотно согласилась, взяла блокнот, осмотрела со всех сторон, улыбнулась и написала: «8 мая», пояснив, что они считают днем победы эту дату, и расписалась.

К сожалению, мои сувениры не сохранились. В годы «холодной войны», когда пропаганда неистовствовала, вбивая в наши головы, что Америка и Англия – злейшие враги, а подготовка к атомной войне с ними развернулась вовсю, когда малейшая ниточка связи с этими странами могла принести несчастье (мы-то знали, как это «оформляли» недремлющие «органы»), в эти годы я малодушно уничтожил исторические памятки...

С Красной площади решил пройтись по Манежной. Ее едва начали асфальтировать – она испокон века была замощена булыжником, теперь его сняли и приходилось перебираться через кучи песка и камня, перепрыгивать через высоко поднявшиеся трамвайные рельсы... Несмотря на такие нагромождения, здесь все равно полно народу. Трамваи едва ползут сквозь толпу. Вагоны внутри почти пустые, зато снаружи улеплены зеваками, наблюдающими за происходящим с высоты подножек. Мальчишки едут, свесив ноги из окон, стоят на «колбасе», подбираются к крыше... Сегодня все можно...

Во дворе университета роятся студенты. Старик дворник принес охапку флажков, стал привязывать по одному к прутьям ограды. Пока он копался, студенты расхватали флажки, решили пройтись с ними по улицам.

– Ах, шут вас возьми! Это ж для загородки!

– Дедушка, не беспокойтесь, мы сами привяжем – вот погуляем с ними и привяжем. Давайте веревочки.

– Ну, ладно, коли так. День-то очень веселый!

Проходя мимо гостиницы «Метрополь», заметил впереди высокого старика, с натугой тащившего пухлую связку газет.

«Эге... надо обязательно купить на память».

Не одному мне пришла такая мысль. За стариком уже шли человек пятнадцать, и я к ним присоединился. С каждым шагом читателей прибавлялось, и когда старик отпер газетный киоск, стоявший в торце гостиницы, вокруг бурлила целая толпа.

Киоскер долго возился внутри, потом вышел открывать ставни, протирать тряпкой прилавок.

– Папаша, нельзя ли поскорее? Нам пыль не помеха!

– Все должно быть, как положено, – с механическим спокойствием отвечал киоскер.

В очереди я стоял десятым, но по всему видно, порядка ждать не приходится – толпа разрослась, захватив весь тротуар, и всяк хотел протиснуться поближе.

Щелкнуло окошечко, за ним замутнелось стариковское лицо и стопка «Известий». На развороте пачки номеров можно прочитать крупные буквы: «Да здравствует великий вдохновитель и организатор исторических побед советского народа наш родной и любимый Сталин!» и красной краской через полосу: «С победоносным завершением Великой Отечественной войны, товарищи!»

– Готовьте по двадцать копеек. Сдачи не имею. Только точно по цене, – скрипнул деревянный голос.

Загомонили, полезли из задних рядов. У первых покупателей нашлись монетки, и они, подняв газеты над головой стали протискиваться сквозь людской круговорот.

С боков поднажали, киоск жалобно крякнул. Кто-то, стараясь сохранить место и устоять против людского напора, ухватился за ставень. Вцепился так крепко, что ржавые петли не выдержали и его отнесло в сторону вместе со ставнем в руках...

– Пока не прекратите безобразие, киоск закрываю, – проскрипел старик и попытался прикрыть окошечко. Ему не дали протянутые в проем руки.

Наконец, и мне удалось просунуть свой рубль.

Старик равнодушно отодвинул мою руку:

– Я предупредил: сдачи не имею.

– Не надо сдачи!

– Выдаю по одному номеру в руки.

– Так и давайте один!

– Номер стоит двадцать копеек. – Еще раз отодвинул меня этот формалист.

Народу все прибавляется. По улице надо пробираться сквозь толпу. Но исчезло удивительное чувство дружеского единения и восторга, что так светилось на рассвете. Люди выглядят замкнутыми, хоть и праздничными. С ними уже не станешь целоваться, и в голову не придет качать кого-нибудь.

Решил съездить домой, ведь ушел в четыре утра, и мама с бабушкой теперь волнуются. Спустился в метро. Здесь и вовсе никакой праздничности. Все обычные, будничные, все вокруг сумрачное, в слабом желтоватом свете.

Лишь одно пронзило и осталось навсегда в памяти.

На эскалаторе, ступенькой ниже, стояла женщина в сером платке и потертом, залатанном пальто. Мы встретились с ней глазами, и она потянулась ко мне.

– Сынок, – обняла меня, заплакала, прижавшись щекой к поле пиджака, – сынок... где ты лежишь, родной...

Возле метро «Красные Ворота» мне повезло – без особой очереди купил сегодняшние «Известия» (почти шесть десятков лет этот номер хранится у меня). Дома лишь перекусил и опять поехал в центр.

Манежная площадь забита народом. Напротив «Националя», где асфальт уже уложили, собравшиеся играют в волейбол прямо посреди улицы. Неподалеку от волейболистов образовался круг, внутри которого ходит человек в солдатской гимнастерке. Он поднял руки, и приплясывая, кричит на всю площадь: «Красная армия великая! Партия великая! Победа великая! Давайте танцевать!»

Из толпы вышел кавказец в голубом бешмете и белой папахе, и напевая мелодию модного тогда фокстрота, почтительно пригласил женщину. Та стеснительно и вместе с тем радостно вступила в танец. За ними пошли танцевать и

другие, прислушиваясь к мелодии, которую напевал человек в бешмете.

Парень в гимнастерке подошел к кавказцу, и раскинув руки, подделываясь под гортанный говор, крикнул: «Зачем фокстрот, дарагой? Лезгинка давай! Кабардинка давай!»

И тот полетел по кругу в лезгинке.

До сих пор не понимаю, откуда появился кавказец? Да еще при полном параде. Но в этом было что-то сказочное он словно из другого мира появился, напомнив довоенное, спокойное...

Трамваи едва ползут по Манежной, с трудом одолевая толпу. День солнечный, яркий, ветер рвет праздничные флаги.

Американцы, посольство которых находилось тогда на Моховой, выставили в окне большой портрет Рузвельта. Они стояли на балконе, снимали ликованье из фотоаппаратов и кинокамер, кричали что-то на ломаном русском языке, и в ответ получали неизменное «Ура!».

С автомобиля нашей кинохроники кинооператор в немыслимой куртке и берете ловит исторические кадры.

Из окна американского посольства выпрыгнул на лужайку офицер. Толпа хохочет, хлопает в ладоши. Американец подошел к нашему военному, они обнялись под громовый одобрительный крик толпы...

На углу «Националя» мороженщица устанавливает свой ящик. К ней подошел майор-пехотинец: «Красавица, почем мороженое?» – «Тридцать семь рублей». – «Да я не о порции спрашиваю... Почем весь ящик?»

Расплатился с продавщицей за все ее сладости и попросил: «Раздайте все ребятишкам». Поманил мальчишек, проходивших мимо. Мигом выстроилась очередь. Продавщица раздавала мороженое и недоуменно глядела на майора: «Такие деньги, товарищ майор, и не жаль на эту шпану?» – «Жизни для них не жалели... А деньги... что деньги...»

Красная площадь теперь заполнена до краев – трудно идти. Я медленно пробирался в сторону Василия Блаженного. Неподалеку едва ползла легковушка. На крыше сидели мальчишки. Двое свесили ноги прямо на ветровое стекло, двое стояли, пятый уселся на капоте и болтал ногами. Островок этот плыл среди голов под смех и одобрительные крики. Подальше – еще машины, и на каждой сидели и стояли мальчишки. Шоферы правили почти вслепую, и

никому даже в голову не приходило прогнать маленьких пассажиров...

Один из автомобилей остановился. Шофер выскочил и недоуменно осматривался – не мог понять, почему встал при включенном моторе, хоть и на самой низкой скорости... Оказалось, несколько здоровенных шутников приподняли машину за задний бампер, и колеса крутились в воздухе...

Добродушно рассмеялись, и все вокруг одобрили неуклюжую эту шутку.

На Каменном мосту народу столько, что автомобили застряли напрочь. Они превратились в смотровые площадки – на них забираются, всяк, кому охота, глядят вокруг и уступают место другим, уже поджидающим рядом. Владельцы машин нисколько не против – смеются и веселятся вместе со всеми.

К вечеру опять подул холодный ветер. Солнце садилось за Кремль. И вдруг на светлом безоблачном небе вспыхнули бледные огоньки сигнальных ракет.

– За что салют?

– Как за что... за Победу...

– Рановато вроде...

– Да за Прагу же салют! Наши Прагу взяли! Ур-р-ра!

Когда стемнело, вернулись на Красную площадь. Там стало по-настоящему тесно, словно в трамвае в час пик – повернуться трудно. Ступив сюда, уже не можешь двигаться по своему усмотрению. Через какое-то время замечаешь, что тебя несет медленным течением вдоль ГУМа в сторону Исторического музея. А в первые минуты кажется, что стоишь на месте. Это было именно течение, никто им не управлял, оно само возникло, и перебороть его нельзя. Можно было, оторвавшись от земли, висеть в воздухе – так сильно было сжатие толпы. Нас долго несло до другого конца площади. И тогда стало видно, что течение поворачивает назад и несет народ по той стороне, где Мавзолей. В этой скованности и одновременном перемещении крылось что-то тоже праздничное, тысячи людей стали единым существом, где даже дыхание зависело от общего напора.

Ослепительный луч юпитера кинохроники метался вокруг, выхватывая из темноты головы, лица, ударяясь о зеркальные грани Мавзолея, рассыпаясь синими веерами.

Время к девяти вечера. В девять – все знали – будет говорить Сталин. Луч юпитера последний раз метнулся над площадью и замер на циферблате часов Спасской башни. Без пяти девять. Луч запрыгал от часов к звезде, закрытой маскировочным колпаком. Без одной минуты девять луч замер, и площадь затихла. Ни вздоха от многотысячного монолита. Было слышно, как потрескивают угли в прожекторе.

Из мощных динамиков – слегка сдавленный голос с давно привычным кавказским акцентом:

– Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил великий день победы над Германией...

...И последнее слово замолкло, но на площади все еще держалась тишина. Потом она взорвалась голосами, хлопками тысяч ладоней, в луче прожектора вспыхнули подброшенные вверх кепки и платки.

Ветер дохнул запахом реки, весенней земли, нарождающейся травы и листвы. И впервые за многие годы спокойно стало на душе.

И тут снова колыхнулось медленное течение и понесло нас по площади.

Радость освобождения от ужаса войны была велика, но высказать ее невозможно и, наверное, чтобы облегчить томление невысказанности, возникли огни и звуки салюта, который не походил ни на один из увиденных раньше. Он был как что-то вселенское, неохватное, вроде северного сияния или извержения вулкана...

Сначала где-то на набережной вспыхнули три световых столба и скрестились высоко в небе – обнаружилась его глубина; потом скользнули к маковкам Василия Блаженного, и те загорелись как синие факелы. Это было начало. В десять часов весь круг небес заплела паутина разноцветных лучей – они пересекались и двигались, убегая в черную глубину. Потом лучи разом остановились и метнулись, собираясь в одну точку над Красной площадью, над городом... Вмиг выстроился и встал шатер из света – вся Москва поместилась в нем.

И тогда раскатился первый из тридцати залпов из тысячи орудий. Не гроздья, а настоящие облака зеленых, красных, белых ракет повисли над крышами. Стало светло, как в солнечный день.

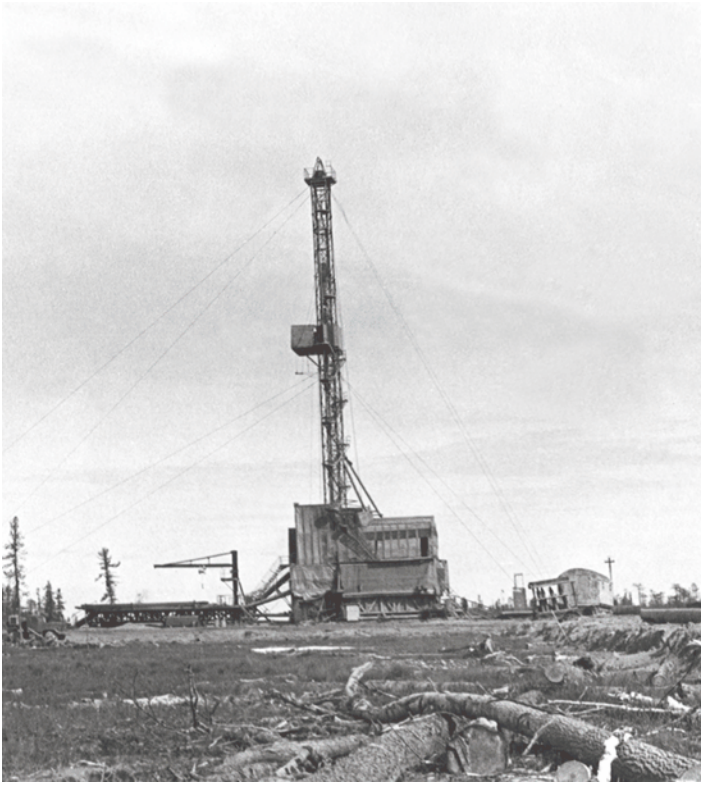
На крыше ГУМа можно рассмотреть лица солдат, стрелявших из ракетниц; солдаты заглядывают вниз, машут нам, кричат.

Кончился салют. Высоко в небе под лучом прожектора засветились красное знамя и серебристый портрет Сталина, поднятые на аэростатах. Послышался шум самолетов, и по черному небу поплыли огоньки. Потом самолеты стали разбрасывать сигнальные ракеты разных цветов, и во тьме засверкала огненная дорога.

Улица Горького (Тверская) до краев наполнена толпой. Среди людских голов медленно плывут троллейбусы. На их крышах сидят, свесив ноги, стоят и лежат мальчишки. По лесенке сзади поднимаются новые праздничные пассажиры. Неслыханная вольница на целые сутки захватила столицу.

С небольшими перерывами я пробыл на улицах с четырех утра девятого мая и до часу ночи десятого мая.





Обломок 51

Из-за угла, со стороны Манежной, слышу сухой треск барабана и медный выхарк горна. Выходит пионерский отряд. Сбоку строя в криво повязанном красном галстуке идет вожатая. Лицо ее и вся тощеватая фигура словно бы перенесены в натуру с плаката, изображающего вожатую. Вся она составлена из нескольких уставных правил, выдержек и цитат. Некий живой граммофон с одной пластинкой. В общем-то неудачница – учительницей стать не смогла и взялась тянуть воз «пионэрской работы».

В строю первые ряды составлены из примерных пионеров, которые старательно шагают в ногу, а за ними начинается разнобой ребячьей вольницы – хихиканье, щипки впереди идущих, дерганье девчонок за косы.

Отчаявшись справиться с этой стихией, вожатая применяет последний прием, чтобы на какое-то время обуздать ребячью стихию, отвлечь сорванцов от безобразничанья. Она громко выкрикивает хриповатым голосом «речевку»:

– *Раз-два!*

Ребятня дружно выбрасывает заученные слова:

– *Ленин с нами!*

Вожатая продолжает:

– *Три-четыре!*

Ей отвечают:

– *Ленин жив!*

Она завершает успокоительным заклинанием:

– *Выше ленинское знамя,*
пионэ́рский коллектив!

Сухим горохом в бычьем пузыре сыпет барабан, с медной натугой через силу сипит горн.

Есть что-то безнадежно-убогое в самих этих выкриках, в странном произношении вроде бы бесспорно ясных слов... Почему облеченные властью над детством говорят «пионэр», «шинэль», «мо́лодежь»?..

Назойливо само это приучение детей ходить строем, заставлять жить по военному уставу.

Неужели не навоевались за четыре жутких года?

Нет, не навоевались. Не успели отойти от недавнего, как уже приготовили нового врага, и недавних союзников клянут и поносят на все корки. Ритуальные пляски у атомного костра взрываемых на своей земле атомных и водородных бомб. Восторг по поводу такого рода достижений науки. Хвастливые подсчеты, сколько раз можем взорвать весь мир. Как будто недостаточно одного.

Войдешь в вагон метро, в автобус или троллейбус – едва ли не треть всех пассажиров – военные. Их стало больше, чем было во время самой войны. Есть станции, где в вагон садятся сразу по десятку, а то и больше людей в погонах от солдата до полковника, а иной раз и генерал сверкнет большой звездой.

Без передышки, начиная с сорок шестого года, вновь завертелся маховик, составленный из броневых плит, переложенных вскоре ядерной взрывчаткой.

Помнится, на многих станциях метро при входе на перрон, сразу вслед за эскалатором, в одну ночь появились настилы из толстых досок и поверху весь потолок оказался забранным фанерными листами. Никто сначала не мог понять, что ж это такое... Наверное, ремонт... Потом привыкли к этим сооружениям и перестали обращать на них внимание. Пожалуй, с год проходили мы по доскам, а потом также неожиданно они исчезли, и на их месте обнаружились выемки со стальными направляющими и проемы, в которых прятались громадные щиты. Оказалось, что станции метро превратились в атомные бомбоубежища.

Началась нескончаемая тягомотина занятий по гражданской обороне. Хотя проводились они в рабочее время, собрать на них работящий люд было нелегко. Собранные тотчас впадали в полусонное состояние и запомнить что-либо из того, что занудно вещал очередной отставник, не могли.

Единственный запавший в голову образ, который помнили все: «с началом ядерной тревоги следует завернуться в простыню и ползти к ближайшему кладбищу...»

Иногда занятия проводили в специально оборудованных для атомной войны убежищах, построенных внутри жилых кварталов.

Без конца повторялись одни и те же убогие сведения, которые, хоть убей, невозможно было запомнить.

В памяти осталось лишь то, что добежать от места работы до метро и укрыться в нем не хватит времени – заслонки на станциях закроются раньше. А в бомбоубежищах среди жилых зданий нам сообщали, что число «посадочных мест» в них в десятки раз меньше, чем численность населения...

Укрываться в подземных переходах нельзя – взрывная волна всех спрятавшихся там в мгновенье превратит в мясной фарш.

Победные трубы, свернутые из газет, дудели об успехах на мировой арене, о странах Африки и Латинской Америки, встающих на социалистические рельсы и с ликованием вступающих в бой с империализмом.

Мелькнуло сообщение, что наши комсомольцы решили помочь революционному Никарагуа в сборе кофе. Один из вернувшихся со страды упрекнул своих сверстников, что они вместо того, чтоб обрывать плоды кофе с каждой веточки, рубят дерево под корень и стряхивают на брезент,

тем ускоряя процесс сбора любимого во всем мире напитка... Метод социалистической организации труда был до тошноты знаком, и одной строки было достаточно, чтобы понять, что́, кроме оружия и взрывчатки, мы поставляем в страны, встающие на путь социализма.

У себя же взрывчатки этой накопили видимо-невидимо. В начале шестидесятых я побывал у взрывников на Ангаре – они расчищали русло реки: укладывали на порожистых местах на дно по нескольку тонн артиллерийского пороха и взрывали его. На берегу был склад цинковых «пеналов» с порохом – целые горы этой взрывчатки. Пройдясь вдоль штабелей зеленых ящиков, я с удивлением заметил на них маркировку: «1932 г.», «1934 г.» и т. д.

Выходит, столько приготовили, что даже после всепожирающей войны, осталось еще «стоко, полстоко и четверть стоко», не взорвали даже запасы, приготовленные в давние годы...

Повидал и залежи оружия – то ли склад, то ли свалку – в далеких местах Восточной Сибири. Это уже в девяносто первом...

Ранним утром выглянул в окно вагона и увидел рядом с полотном неоглядное стойбище замерших на осеннем холоду танков.

Среди низкорослых сосенок рядами, уходящими в таежную глубину, наставлены сотни, возможно, тысячи машин. Броня припорошена опавшей хвоей, траки тронуты ржавью и потихоньку погружаются в скудную почву, которой непосильно держать многотонность мертвого металла.

Непогода и ветер уже принялись грызть грозную броню, потому что грозна она лишь для слабого человека, а не для зубастого Времени. Ему нипочем стальные кости брошенных в лесу мертвецов.

Гнетет и томит неожиданное и странное сочетание худосочной тайги, прижившейся со своими мхами и птицами на слегка всхолмленной местности и танков, самим своим видом и назначением чуждых всякой жизни, признающих одну только смерть, но теперь беспомощно стоящих среди хилых сосен, которых каждый из них мог бы одним махом изрубить в щепу.

Безжалостные гиганты выстроились покорными рядами. Они четко видны с края железного кладбища, но по мере удаления размываются сосновыми стволами и ветками, их

захлестывает зеленовато-серый накат хвои, потом стальные чудища вовсе растворяются в глубине живых покровов и пропадают, хотя знаешь, что и там, вдали, они тяготят и ранят беззащитную землю.

Безмолвно стоят они в погребальных порядках, сами поразительно похожие на надгробия, на примитивные грубые могильные изваяния. И лишь едва уловимый шорох хвои да посвист синиц проносятся над шеренгами притихших тиранозавров.

И мерещатся в зеленоватой дымке люди, прислуживавшие каждой из машин, отдавшие им лучшие годы жизни, а то и самою жизнь. И целое море судеб раскидывается над мертвыми рядами. В море этом те, кто лил, ковал и точил стальные панцири и жала, и те, кто, забравшись внутрь громадин, составлял их мозг, заставлял двигаться, разбрасывая огонь и смерть, и те, кто погиб от них, в них, среди них...

Пробегая взглядом по аккуратным рядам, начинаешь понимать, что не для музейной наглядности выстроены они здесь. Их моторы и орудия готовы к броску, к бою. Пока непогода и Время не источили броню, не сожрали металлические внутренности, этот бросок может произойти, может случится, может статься... И живо представляешь черные шлемы и комбинезоны обслуги, прислуги, экипажей, спешащих из вставшего у края тайги эшелона к каждому из стальных надгробий...

И все же, глядя сейчас на растворяющиеся в сосновой зелени ряды гневных машин, с необъяснимой надеждой думаешь, что не сдвинутся они больше с места – изоржавеют, распадутся, превратятся в холмики рыжеватого песка, осядут в землю, растворятся в суглинке, и через тысячелетия геологи оскудевшей планеты найдут неслыханно богатое месторождение полиметаллов.

А в этот миг каждый ряд этих чудовищ, как строка железного откровения о смысле всей нашей жизни и всего нашего бытия. Они огрузли сталью, силой и мощью, отобранными у нас, жалко жмущихся в холодных грязных вагонах. Они растратили эту мощь, чтобы пустить на распыл жизни, жилища, судьбы нас и таких же, как мы, трудяг-доходяг. Их сталь – это наше неосуществленное благополучие, наши неродившиеся дети, непостроенные дома, несуществующие житейские удобства, несостоявшееся счастье.

И вот теперь они ждут то ли поправки, то ли переплавки, чтоб вновь засверкать блеском стали и продолжить наше разорение.

Ничего не понимаю в хитросплетениях словес, призванных «доказать» будто бы необходимость безграничного наращивания мощи и оправдывающих войну даже в мирное время, даже на собственной земле... Но хорошо знаю и осознаю, что безумный разгул растрат неисчислимых наших богатств вершится за мой счет и за счет таких же, как я, забитых, забытых, затюканных, загнанных в угол, затасканных и никем не обласканных.

Самое необходимое, то, что стало нормой во всем мире, у нас отнимается, сжигается, уничтожается бездарными нашими властителями в угоду невежественных лампасников, давно забывших о защите и помнящих только о своих выгодах, корысти, доходе на всяком годе.

И все невинно убиенные за страшное семидесятилетие, лежащие в нашей земле, приняли гибель из-за этой слепой мощи, которой помешали своей зрячестью, препятствовали словом правды и независимостью мысли.

Прямизна, простота и сила, не знающая, куда себя девать – вот суть железного откровения, ржавеющими строками продернутого сквозь худосочную тайгу.

Присловье

В былые времена маску надевали только разбойники, грабители. Рыцари дрались с открытым забралом. Ныне государственные служащие силовых спецподразделений при операциях с санкции прокурора или по приказу командования предстают обязательно в маске, которая сама за себя говорит: перед вами разбойник, он боится себя обнаружить, значит, жди самого плохого.



Обломок 52

Тревожные дни августа 1991 года.

Получилось так, что 19 августа мне пришлось с первым поездом метро ехать на Казанский вокзал – встречать жену. День, казалось, не сулил ничего особенного. В транспортной толчее краем уха услышались кем-то брошенные слова о «смещении Горбачева». Слова эти нисколько не задели – подумалось, что его сняли с генерального секретарства... – Партийные дела тогда уже мало заботили. Сняли, так сняли. Велика важность.

Но добравшись до дома и включив радио, понял, что события разворачиваются нешутейные. Передавали «Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по

состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР на основании статьи 127-7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Г. И. Янаев. 18 августа 1991 года.».

Охватило тоскливое предчувствие вновь наваливающейся серости, безликости, осточертевшей бездарности, вновь захватывающих нас и подчиняющих всех и каждого своей мертвящей власти.

Одутловатые, мятые лица, увалистые фигуры, напоминающие пыльные мешки с картошкой, отсутствие хоть какой-то яркой метки в уголке мешка... Да еще это выскочившее словечко, обозначающее новую-старую власть – «ГеКаЧеПе» – будто ржавой тяпкой скребанули по заскорузлой грядке...

В 11 утра поехал в центр города. Вышел из метро на станции «Маяковская» и первое, что увидел – катившие вдоль Тверской посередине улицы шесть БМП. На передней машине сидели двое молодых людей в белых рубашках. Один из них держал в поднятых руках скручивающийся лист ватмана, на котором черной тушью выведены слова в защиту Ельцина, пониже – призыв к забастовке и в конце – о предстоящем в полдень митинге на Манежной площади. Из люков выглядывали солдаты в шлемах танкистов, но оружия не видно.

Милиция перекрыла движение транспорта к центру. Оттуда все катилось, как обычно, а туда не проходила ни одна машина.

На Пушкинской площади около «Московских новостей», как всегда, толпятся доморощенные политики, обсуждающие главное событие. Преобладают голоса, осуждающие переворот.

В подземном переходе удивляет отсутствие продавцов газет. Из всего обычного разношерстого набора нынче одиноко топчутся только двое – прыщеватый парень, предлагающий «СПИД-инфо», украшенное задом полуголой девки, и бородатый с листками анархистской газетки.

Выйдя из тоннеля, вижу странную сценку. Со стороны «Макдоналдса» к переходу подходит человек лет пятидесяти в сером костюме с черным кейсом. К нему подбегает

спортивного вида парень. Человек уже ступил на первые ступеньки, когда парень схватил его под локоть, силой вытащил назад на улицу и повел в сторону бульвара. Человек с кейсом громко крикнул на всю площадь: «Меня арестовало КГБ! Граждане, будьте свидетелями!»

Что случилось? Почему? Непонятно.

По привычке я не мог не заглянуть в Елисеевский гастроном. Там сплошной клубок очередей ко всем прилавкам. Духота, спертость перегретого воздуха, верней, того, что осталось от воздуха... «Давали» мясо. Понятно.

У Моссовета тишина и белюдье.

Перешел улицу около Центрального телеграфа и пошел в сторону гостиницы «Интурист». Впереди виднелась большая толпа, запрудившая улицу и часть Манежной площади.

В это время открыли движение машин по Тверской, и их поток разъединил толпу на две части – одна между гостиницей «Москва» и домом Совета министров, другая – около «Интуриста».

Все действо разворачивалось на первой. Там стояло несколько БМП, облепленных людьми. Кто-то говорил, взобравшись на башню, но отсюда плохо слышно. Там же высился большой желтый кран с выдвигающейся стрелой. Стрела дрогнула и стала подниматься. В корзине на ее конце – трое парней. У одного в руках лист непослушного ватмана, который норовит свернуться в трубку, и парень борется с ним, чтобы все прочитали черные буквы слов, защищающих Ельцина. Это тот же самый лист, что я видел на БМП, еще едва выйдя из метро...

Передвинувшись поближе к углу гостиницы «Москва», замечаю, что тут лучше слышно ораторов, взбирающихся на броню. Все клянут ГКЧП, перечисляют членов вновьявленного комитета, и собравшиеся дружно их поддерживают криками: «Под суд!» Кто-то после выкрика очередной фамилии коротко поясняет: «Шизофреник!», «Вор – нас обчистил!», «Солдафон!», «Шут гороховый!»...

Машины от Манежной и с Тверской идут мимо музея Ленина, и перейти площадь здесь невозможно – так густ поток. Пришлось обойти гостиницу. По пути заглянул в «Кулинарию» на углу «Москвы» (ныне там ювелирная торговля). Поразительно – совсем нет покупателей, а на прилавке – вареное мясо... (видно, только что «выкинули»). Купил самый большой кусок впрок. Теперь каждый такой

пустяк воспринимался как последнее везение, которое ниспослано Провидением. Когда продавщица взвешивала, за окном раздался резкий звук сирены. Выйдя на улицу, я увидел с десяток крытых грузовиков, набитых омоновцами в серых касках, двигавшихся на Красную площадь.

20 августа 1991 года

К вечеру, в половине шестого, поехал на метро в центр города. Когда поезд выскочил на мост через реку между «Коломенской» и «Автозаводской», кто-то громко сказал: «Глядите! Танки!»

Все повернулись к окнам. Справа от метромоста на проезжей части стояли три танка с расчехленными пушками. Около них толпились прохожие.

Вышел на станции «Площадь Революции». Первое, что бросилось в глаза – проезд на Манежную площадь перекрыт. От угла гостиницы «Москва» до Исторического музея стенкой встали около десятка БМП. Даже мне, «рядовому необученному», видно, что машины не приготовлены «к бою».

Солдаты, совсем безусые мальчишки, со значками «Гвардия» мирно беседуют с обступившими их людьми. На броне машин лежат цветы. На углу гостиницы «Москва» прохаживаются солдаты с автоматами на груди.

Иностранцы, которых сразу отличаешь в толпе, взахлеб фотографируют происходящее, заправляют новую пленку, снова снимают, громко переговариваясь между собой. Немало и наших фотолюбителей, щелкающих старыми аппаратиками исторические сценки на память.

Обошел гостиницу и увидел, что проспект между «Москвой» и зданием Совета министров перегорожен БМП с солдатами на броне. Однако между грозными машинами есть довольно широкие проходы, и люди свободно между ними передвигаются. Я тоже беспрепятственно миновал это заграждение и увидел, что вдоль фасада Совмина стоит с десяток танков с расчехленными орудиями. Танки, несмотря на грозный вид, превращены в подобия площадок для отдыха. Рядом с солдатами на броне сидят мальчишки, молодые люди, раздается и девичий смех.

Тверская тоже перегорожена. От угла гостиницы «Москва» до закрытого лесами «Националя», который ремонтируют, цепью выстроились БМП, около которых кипит

толпа. Там виднеется и зеленый фургон со спаренными динамиками на крыше. Из динамиков жестяный голос зачитывает «Обращение к советскому народу», составленное членами ГКЧП. Каждый абзац толпа встречает свистом и недовольным ревом, заглушающим мощный динамик. Видимо, читавший понял, что старания его напрасны, и обратился к присутствующим напрямую от себя: «Товарищи! Неужели вы хотите возрождения буржуазии и эксплуатации?!!»

В ответ свист, рев и крики: «Хунту – под суд!», «Янаев – позор!», «Павлов – позор!», «Бакланов – позор!» И дружно подхватили:

«Ель-цин! Ель-цин! Ель-цин!»

Над входом в подземный переход со стороны «Националя» на время ремонта сделан защитный козырек из досок и жести. Козырек густо улепили зрители, и он, не выдержав тяжести, затрещал. Люди спешно попрыгали на тротуар.

Здесь впервые услышалось словечко «хунта» применительно к нашим «гекачепистам». Довольно странно было читать расклеенные на стенах домов листки. Один листок содержал указ Ельцина об аресте членов ГКЧП, а рядом красовался указ ГКЧП об аресте Ельцина...

В проезде МХАТ – БМП с солдатами.

Пушкинская улица тоже перегорожена этими машинами, возле которых стоят солдаты, поэтому автомобили сворачивают налево к Тверской по переулку, что напротив Моссовета.

Около ресторана «Арагви» нелепо и неуместно толчется горстка нарядно одетых людей вокруг белой голубки-невесты и жениха в грачино-черном костюме. Нашли время для свадьбы... А может быть, в этом истина...

Около памятника князю Долгорукому и у ворот Моссовета – небольшие группки людей. Что-то читают и обсуждают. Подхожу поближе. В нескольких местах раздают листовки, которые быстро разбирают, и присоединяются к обсуждающим.

Обхожу раздающих и набираю три листовки:

«Всем, всем, всем. Координационный Совет Движения “Демократическая Россия” сообщает, что группа высокопоставленных заговорщиков, отстранив от власти Горбачева, а также Ельцина и законные власти по всей стране,

совершила попытку военного переворота, назвав его “временным чрезвычайным положением”»...

Вторая листовка – ксерокопия указа на бланке Президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики: «В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, постановляю: 1. Считать объявление Комитета антиконституционным и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся не чем иным, как государственным преступлением...» Всего три пункта. Внизу страницы: «Москва, Кремль, 19 августа 1991 года» и от руки приписка: «12 час. 10 мин».

Третий листок – ксерокопия обращения Ельцина, Руцкого, Силаева, Хасбулатова к Председателю Верховного Совета СССР тов. Лукьянову. Пробегаю глазами десять пунктов (каждый по 3–4 строки). Организовать встречу с президентом СССР Горбачевым. К встрече привлечь Янаева... Провести медицинское освидетельствование Горбачева... Немедленно отменить все ограничения на деятельность российских средств массовой информации... Отменить действие чрезвычайного положения... Отвести войска в места их постоянной дислокации... Прекратить угрозы в адрес российского руководства... Объявить о роспуске незаконно созданного ГКЧП...

Движение транспорта в центре перекрыто, и горожане ходят по Тверской как вздумается, лишь иногда промелькнет одинокий заблудившийся автомобиль. Два парня на роликовых коньках наслаждаются свободой передвижения – гоняют вдоль улицы залихватскими зигзагами.

На Пушкинской площади троллейбусы и машины продолжают обычный бег вдоль бульваров.

В попавшейся на пути «Кулинарии» – совершенно пустые прилавки, но один приманил одиноко лежавшим куском шпига. Вялая продавщица нехотя поднялась, бросила шпиг на весы: «Кило сто. Будете брать? Больше ничего нет. Вчера были утки и шашлык...»

Вернулся домой не с пустыми руками. Может быть, последняя покупка. Ждется голод, холод, прозябание...

Во дворе нашего дома на Ореховом бульваре с утра до пяти вечера стоял пустой армейский фургон с солдатом-шофером в кабине, который весь день проспал на сиденье.

21 августа 1991 года

После полудня поехал до «Киевской». Выбрался на Кутузовский проспект. Первым на глаза попался большой фургон телевидения, от которого кабели черными змеями тянулись к мосту. Пошел вдоль них и вскоре увидел совершенно немыслимую картину.

Поперек въезда на Калининский мост, перекрыв проспект, в несколько рядов стоят грузовики-самосвалы; за ними почти впритык друг к другу – троллейбусы со спущенными задними колесами, и уже перед самым мостом – несколько танков (три или четыре).

Несмотря на столь грозное заграждение, народ валом валит по проспекту. Пролезаю в узкий проход между танками. Сначала покалывает некоторая опаска, но она испаряется, едва броня остается за спиной. Выхожу на мост, забитый любопытствующими.

Народ скапливается у другого конца моста, там, где здание Верховного Совета РСФСР (сегодня впервые слышу, что его стали называть «Белым домом»). Отсюда, издали, видно, что на лестнице, ведущей ко входу, громоздится баррикада из ржавых труб, арматуры еще чего-то железного и колючего. Над ней трепещет непривычный для глаза бело-сине-алый флаг. На Москве-реке перед Домом стоят три больших буксира, две тяжелых баржи и один катер. Этот конец моста тоже перегорожен тремя большими (с «гармошкой» посередке) троллейбусами, к которым присоседился тяжелый трактор.

Проезд под мостом перегорожен огромными вентилями от трубопровода и множеством металлических коробок.

Слева от моста, где выезд к Белому дому, громоздится баррикада из арматурного железа и решеток, выдранных со здешних газонов.

Перед баррикадой – три танка и танкетка, украшенные трехцветными флажками и цветами. На броне рядом с танкистами расселись мальчишки, парни и девушки.

На мосту перед баррикадой настоящая толчея. Походив тут и приглядевшись, замечаешь, что троллейбусы не только перегораживают проезд, но служат и другую службу. В том, что приткнулся к ограде моста слева, устроено нечто вроде кафе, а в троллейбусе рядом с ним – медицинская часть. Из распахнутой двери «кафе» парень в стройотря-

довской форме непрерывно раздает всем желающим пластмассовые стаканчики с черным кофе и бутерброды. Все это, конечно, бесплатно.

Неподалеку от меня женщина средних лет подает другому парню в окно с выдавленным стеклом два больших пакета: «Молодой человек, вот, пожалуйста, здесь бутерброды, а тут пирожные. Кушайте на здоровье».

Парень, который на раздаче, тут же кричит: «Кто хочет пирожных? Свежие! Налетай!» Громко благодарит женщину, она уходит, но вскоре возвращается: «Молодой человек, совершенно забыла – у меня ж для вас китайский чай». И протягивает пачку.

Местные жители постоянно несут сюда съестное – кто что может.

На крыше троллейбуса устало сидят, полулежат, опершись на локоть, и лежат парни, которые провели тут всю ночь. Пьют кофе, тихонько беседуют, смотрят вокруг с высоты своего положения. К ним лезут фотографы, щелкают аппаратами. Иностранец телевизионщик снял сценку раздачи еды и полез на крышу запечатлеть колоритную компанию.

Всю ночь и утром еще не утихал проливной дождь. Лишь сейчас небо посветлело.

Перебравшись через баррикаду, я вышел к Белому дому. Газоны вытоптаны – вместо них болотистое месиво. Справа, среди деревьев виднеются навесы из полиэтилена, натянутые как палатки. Изредка из них показываются защитники Дома, которые провели здесь всю ночь. К счастью, «гекачеписты» не решились пойти на штурм...

На лестнице, ведущей к входу в Дом, нагромождена впечатляющая баррикада, которую видно еще с моста. Здесь переплетение самого разного ржавого железа выглядит угрожающе и кажется неприступным. С правой стороны баррикады, укрытая пленкой и навесами из всякой всячины, видна аппаратура радиостанции. Говорят, отсюда ночью вещало «Эхо Москвы». (Все телевидение и радио было в руках хунты.)

Над Белым домом висит в воздухе большой аэростат с российским триколором.

На вершине баррикады непрерывно машут таким же флагом.

Внизу, вдоль начальных ступеней лестницы, вытянулась цепь из стоящих плечом к плечу парней, которые никого

не пропускают к лестнице. Все они безоружны, у некоторых – сумки с противогазами.

Вход на лестницу перегораживают еще и несколько грузовиков.

По растолченным в грязь газонам спускаюсь к реке. Там на одном из буксиров слышится громкоговоритель, передающий выступления с сессии Верховного Совета. Собравшиеся сообщают друг другу, что кто-то собирается лететь в Крым за президентом Горбачевым. Тут же соседний голос бросает новость, что хунта в полном составе вылетела на самолете то ли в Киргизию, то ли за границу...

Мужчина в кожаной куртке слушает портативный приемник, прижимая его к уху, и говорит окружающим, что сессию стало передавать центральное радио. Все облегченно вздыхают – значит, начались перемены в лучшую сторону...

На рубке буксира виден большой лист ватмана с надписью красной тушью: «ФЛОТ ЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ».

Один из столбов на набережной со всех сторон уклеен листами бумаги, на которых от руки написаны сообщения № 1, № 2, № 3...

Запомнилось сообщение о том, что Крючков собирается в 13 часов прийти на заседание Верховного Совета и хочет вместе с Ельциным лететь к Горбачеву в Крым...

Около лестницы остановился фургончик, из которого выскочил шофер, достал лоток с душистой сдобой, поднес к стоявшим поодаль людям: «Кто желает?.. Горячие – только из печки».

Неподалеку на броне БМП устроено подобие стола – бутерброды, термосы. Шофер подошел, протянул свой лоток девушке, потом принес второй. Защитники Дома неторопливо разбирают аппетитное подношение.

И тут же рядом на парапете сидит парень и спит, уткнувшись локтями в колени.

Охватывает радостное чувство огромной дружной семьи, собравшейся тут, семьи, только что пережившей смертельную опасность и вышедшей в новые благополучные времена. И так хорошо на душе, что влажнеют глаза и все плывет в радужной дымке.

Молодой человек везет никелированную коляску, в ней сидит безногий «афганец», который выбирает место и про-

сит друга сфотографировать его то на фоне баррикады, то у реки, и вот теперь рядом с этой «столовой».

Вдоль лестницы медленно, раздумывая о чем-то своем и не обращая внимания на окружающее, проходит юноша. Мягкая шляпа, очки в тонкой оправе, редкая бородка, дорогой костюм, зонтик-трость. Бледный книжник, оживший портрет Надсона...

За деревьями, там, где растянуты тенты, яростно трещит костер. Две девушки в стройотрядовских куртках помешивают похлебку в черном котелке.

Под мостом еще одна баррикада из арматуры и грузовиков. Там тоже горит костер и греется котелок. Замечаю довольно много пустых бутылок от крепких напитков, в том числе и с иностранными этикетками. Говорят, нынче ночью во время дождя американцы кормили защитников Дома.

Через баррикаду проход закрыт, но когда парень с девушкой попросили пропустить их, чтобы сократить путь к Белому дому, им разрешили перелезть через прутья возле одного из грузовиков.

Многие защитники Дома одеты в фантастические костюмы, придуманные и скроенные в эту дождливую ночь. В куске толстого полиэтилена вырезана дырка для головы; плечи получаются метровой ширины, над ними торчит маленькая головка, руки спрятаны под пленкой, это сооружение перетянуто у пояса веревкой. Они похожи на огромных белых крабов. Их движения замедлены, они усталы, неторопливо, коротко переговариваются, закусывают, сидя у костра, задумчиво покуривают...

Через баррикаду перебираюсь на проезжую часть улицы на углу здания СЭВ. Там стоят танки, украшенные трехцветными флажками и цветами. Собравшиеся беседуют с танкистами, фотографируются на память. Много иностранцев.

Напротив СЭВа, в том месте, где подземный переход – тоже баррикада. Перелезаем через навороченные тут прутья и железяки и оказываемся около двух милицейских фургонов. Сквозь забранные решеткой окна видны блюстители порядка, которые на волю не выходят, чего-то ждут у себя взаперти.

Кто-то из перелезших через баррикаду спрашивает: «Это наши или нет?» Ему весело отвечают: «Если нас не бьют, значит, наши».

На улице Чайковского подземный проезд напротив посольства США перегорожен еще одной баррикадой. Ночью было сообщение по радио коменданта Москвы Калинина, что где-то здесь «хулиганствующие элементы в состоянии опьянения открыли огонь по войскам».

Американское посольство отгорожено от улицы бетонными блоками. Перед фасадом стоит гигантский кран «Krupp» со стрелой, поднятой выше здания, которое выглядит нежилым, благодаря пыльным окнам и мусору. Несмотря ни на что, около посольства выстроилась небольшая очередь за визами... Из двери выходит улыбающийся, счастливый папаша в сопровождении жены и двух ребятишек, он размахивает только что оформленными бумагами и громко рассуждает об отлете в Нью-Йорк...

На баррикаде в кузовах встроенных в нее грузовиков парни размахивают флагами, возбужденно кричат что-то. Запомнился черный флаг с надписью белыми буквами: «Анархия – мать порядка». И метнувшийся над толпой голос: «Наше оружие – наша беззащитность!» «Мы вооружены только своей беззащитностью!»

Движение транспорта перекрыто, поэтому иду посредине Садового кольца. На углу с улицей Воровского на цоколе дома лежит букетик цветов и приклеена бумажка с надписью от руки, что здесь нынче ночью погибли люди...

Вечером по телевидению прошло сообщение, что путч провалился. И тут же добавлено, что не исключается последняя ночная атака на Белый дом. Всех, кто сможет, приглашали подежурить ночь около Дома.

22 августа 1991 года

Утром отправился к Белому дому. Я был уверен, что картина будет вчерашняя – даже танки, которые охраняли Дом, останутся на прежних местах...

Вышел на Кутузовский проспект неподалеку от Калининского моста, увидел фургон телевидения и решил, что так оно и есть...

Но баррикады из самосвалов, троллейбусов и танков уже не было.

Все разобрали и увезли. Поливальные машины мыли мост. Буксиры и баржи тоже исчезли с реки. Только под мостом еще виднелись остатки недавнего заграждения. Лишь на середине лестницы у Дома баррикада сохранилась

почти полностью. Там стояли два парня (один в пластмассовой каске) и картинно помахивали трехцветным флагом. Но скорей всего, картинности тут и не было – просто они еще не вынырнули из мощной волны Истории, которая только что тут прокатилась и всех за собой увлекла.

Раскрыв фотоаппарат, я попросил сфотографировать меня на фоне происходящего. Понимал, что с моей стороны это рисовка, но не мог себе в этом отказать. Это было не по праву, а по желанию.

Потом мы обогнули Белый дом с левой стороны по фасаду. Там, у левого крыла здания был бивуак защитников. Тенты из пленки, доски вместо скамеек, горел костер, в котелке кипело варево. Видно, что здесь прижились и продолжают начавшуюся необычную для города полевую жизнь, ловят и впивают ее последние часы.

Между тем сюда доносились гул и слова начавшегося неподалеку митинга Победителей. За Белым домом оказалась площадь, о существовании которой я никогда не подозревал – это был своего рода задний двор. Он оказался заполненным тысячами людей. Вдоль фронтона здания протянуто бело-сине-алое полотнище неимоверной длины. На террасе, охватывающей дом – сотни людей. В ее середине установили микрофон, к которому подходят герои нынешних событий. Выступал Ельцин, сказавший, что отныне это место будет называться Площадью Свободной России. Потом дали слово сержанту танка, перешедшего на сторону народа.

Над толпой плотно втиснувшихся на площадь людей вьются флаги и флажки (среди них многие видятся впервые и неизвестно что обозначают – например, большое розовое знамя с белым крестом...). По краям площади видны следы ночной страды защитников – угли погасших костров, погнутая миска, алюминиевая ложка, пустые консервные банки.

Выбирая место, откуда лучше слышно выступающих, прохожу через парк имени Павлика Морозова. Он целиком превращен в бивуак защитников Дома. Повсюду пленочные тенты, зеленые туристические палатки. Под деревьями у костра сидят студенты. Рядом с ними – палатка, к которой пришпилен белый лоскут с буквами «МГУ». Они еще переживают ушедшую ночь и не видят ничего вокруг, не слышат доносящихся сюда слов митинга...

А там, на Площади Свободной России, объявляют выступление Шеварнадзе, потом выступление представителя Франции.

Выбираю местечко на склоне. Пониже навалена арматура и мусорные баки. Вероятно, начинали строить заграждение...

После каждого выступления (почти всегда очень короткого) все собравшиеся на площади дружно аплодируют. Один из участников нашего митинга стоит на крышке пустого мусорного бака и вместо хлопков в ладоши начинает прыгать. Бак отзывается оглушительным грохотом. Восторженный человек так увлекается, что мешает слушать следующее выступление. Его просят не шуметь, но он не может сдержать чувств.

После завершения митинга, объявили о дальнейших намерениях: шествие по Калининскому проспекту на Красную площадь, оттуда – к зданию ЦК КПСС, а затем к дому КГБ на Дзержинской площади. В завершение намечался митинг на Красной площади.

Плотная масса народа двинулась к площади Восстания. Незнакомых друг с другом людей объединяло общее чувство облегчения после страшной угрозы возвращения тяжелого, неизбывного страха, слежки, гибели ни в чем не повинных родных, близких, знакомых – всего ужаса, в котором провели всю жизнь.

Как жутко и безнадежно было в минувшие дни девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого августа! Каждую ночь ждалось, что придут «брать» без вины, без объяснений. Как это делалось в предыдущие десятки лет. Но уже укрепилась мысль, подсказанная Александром Исаевичем – приготовь что-то, чем встретишь незваного ночного «гостя» – ката и татя. Что-нибудь потяжелее, поострее, чтоб появилась вина...

И все это миновало, провалилось в темную яму истории, в черный короб времени.

Так тогда верилось, так думалось, так хотелось видеть вершащееся.

Мощный людской поток затопил Красную площадь, свернул на улицу Куйбышева (Ильинка), вылился на Старую площадь к серому зданию с золотыми буквами на фронтоне: «Центральный Комитет Коммунистической Партии

Советского Союза». У главного подъезда, который всегда охраняли богатырского вида молодые гебешники, сейчас – никого. Странно и весело видеть этот дом без охраны. За эти дни сместились тяжеленные пласты времени, лопнули и развалились гранитные глыбы, давившие все вокруг.

Кто-то прислонил к двери подъезда большой картон с карикатурой. С левой стороны изображен Ельцин, который ставит огромную клизму спустившему штаны Язову со стоящими в очереди Янаевым, Пуго и остальной бражкой. С правой стороны – Горбачев, летящий от удара сапог, где на подметках написано: «Россия», «Прибалтика».

Собравшиеся перекрыли проезд и дружно скандируют: «До-лой КПСС! До-лой КПСС!»

Нам, вечно молчавшим и дрожавшим, и страшновато, и весело, и словно бы впервые задышали свежим воздухом.

Возле входа, на проезжей части улицы стояли секции железных заградительных решеток. Парни из только что пришедшей толпы стали растаскивать их, расчищая проходы для людей. Пожилой милиционер, оказавшийся неподалеку, пытался что-то возразить, но махнул рукой – мол, поступайте, как знаете.

Подъехали два милицейских фургона и остановились неподалеку, но из них никто не вышел. Видимо, сочли, что нет повода. А вокруг разворачивались такие поводы, за которые совсем недавно всех собравшихся загнали бы... известно куда.

К дверям главного подъезда прилепили белый лист, клянущий КПСС (буквы СС были заменены двумя молниями). Со всех сторон слышны такие «здравицы», которые два дня назад и придумать не могли. Вновь и вновь подхватывали сотнями глоток: «Долой КПСС! Палачи!»... (Через десять лет, один из гекачепистов сожалел, что не пролили тогда «малую кровь»... Слова истинного палача.)

Само собой зародилось и выплеснулось решение: «На Лубянку!»

Лавина людей отхлынула от серых зданий Старой площади, и вал покатил мимо Политехнического музея.

Когда подходили к памятнику Дзержинскому, черной палицей воткнутому в площадь, еще издали заметили, что полированный цоколь усыпан букетами цветов... (Видно, этой ночью попрятавшиеся нынче палачи напоследок почтили железного Феликса.)

Взобравшийся на гранит парень, неизвестно как держащийся на скользком подножии, стал хватать букеты, бить ими о медный барабан памятника и сбрасывать на землю.

Второй парень умудрился по бронзовой лепнине, изображающей лавровый венок, оплетающий меч, подняться по цоколю и укрепить под мечом белый лист с черными буквами: «Хунте – хана!»

Не иначе, как альпинисты сумели забраться по отвесной поверхности и белой краской написать на подножии: «ПАЛАЧИ», а потом заляпали подножие черной скульптуры красной краской, как кровью.

В окружившей памятник толпе много стариков и пожилых людей.

Пронзительно разорвали гул толпы крики женщин: «Палачи! Мучители! Будьте прокляты!»

Стоявший рядом старик, ни к кому не обращаясь, сам себе говорит, повернувшись к дому КГБ: «Тут в машине записано все о каждом из нас. Все записано. Мы тут стоим, а машина каждого пишет...»

В одном из окон на верхнем этаже приоткрывается занавеска, кто-то выглядывает в щелку и тут же скрывается. И это незначительное движение в страшном доме замечено толпой и вызывает бурю. «Палачи! Убийцы! Мерзавцы! Людоеды!» – истерически завопили пожилые женщины, впервые за все годы открыто выказывая отношение к этому жуткому месту.

Ночью здесь продолжала бушевать толпа. Помнится, как подогнали краны, и в лучах прожекторов черный идол повис на петле, захлестнутой через шею. Стена ужасающего здания на миг приняла тень повешенного, и впервые стал явен истинный символ этого мертвецкого ордена, истребившего лучших людей нашей земли, положившего начало всеобщей гибели.

За этой стеной пытали мою подругу юности, отсюда бросили в ссылку дядю Митю, здесь расстреляли в тридцать девятом дядю Володю, инженера-путейца, двоюродного брата великого композитора Игоря Стравинского. Я хорошо помню времена, когда к этой стене не позволяли приближаться – вдоль нее зимой и летом, ночью и днем ходили часовые с винтовками наперевес...

И вот впервые за тяжелейшие десятилетия все почувствовали, как могильная глыба Лубянки утратила свою пугающую силу.

23 августа 1991 года

После полудня поехал на «Дзержинскую».

Странно и страшно выглядит пустой цоколь памятника посреди площади. Он весь заляпан красной краской и надписями.

Народ толпится около стен чудовищной надолбы дома КГБ. Вчера и он понизу был вдоль и поперек густо испещрен надписями, наклейками. За ночь служители этого заведения со всей тщательностью отмыли и оттерли его. Лишь на стекле дверей видны клочки бумаги, не поддавшейся скребкам, да виднеется свежий квадрат на стене, с которой вчера сбили мемориальную доску.

Через дорогу громоздится черный утес нового здания, построенного совсем недавно. В памяти еще живо всплывает миг, когда мне удалось через открытые ворота, в которые въезжали самосвалы, заглянуть на развернувшуюся стройку этого второго монстра. Тогда еще только рыли котлован под фундамент. Глазам открылось неожиданное и потрясающее зрелище. Котлован был похож на жерло вулкана или на грандиозную траншею к центру земли. В глубине его тяжелые машины выглядели игрушечными, а люди терялись вовсе. Наверное, этажей двадцать в глубь земли... Вот уж где понагородят застенков для пыток, наворотят тюрем и дьявольских казематов... И никто не услышит, как там ни кричи, кого ни зови на помощь... Удобное гнездилище для расстрелов и пыточных издевательств...

Теперь это здание по высоте равное главному корпусу, дополняет его необходимой кубатурой. К нему отнеслись не так рьяно, как к главной палаческой штаб-квартире. Следов от надписей и бумаги почти не видно. Зато у главного входа четко видна большая свастика, которую вчера выскребли по черному граниту победитовым резцом и стереть ее невозможно.

В отличие от вчерашнего дня, сегодня в палаческой конторе полным ходом идет работа. В мрачных амбразурах окон за занавесками, несмотря на день, видны огни ламп. Вот из входа, ныне украшенного свастикой, появился молодой чекист в белой рубашке и вполне буднично пошел в гастроном, что через дорогу. А ведь вчера лишь один храбрец решился выглянуть из-за шторки... И весь дом казался нежилым.

В толпе, вновь собравшейся у этих зданий, слышны разговоры о нынешних событиях, о роли гебе и гебешников в нашей жизни, но уже нет криков, нет скандирования, нет надрыва звучавшего вчера. Ко всему привыкаем... И очень быстро.

Через площадь потоком дуют машины. Вдоль фасада магазина «Детский мир» – сплошной рынок и базарная грязь на асфальте. Торговцев еще называют «спекулянтами», но их никто не разгоняет, у них есть все, чего нет в магазинах. Вот, например, в престижном гастрономе КГБ сегодня нет ничего спиртного, а тут можно, хоть и втридорога найти все – от водки до шампанского. Торговцев и покупателей не интересуют разворачивающиеся события. Дама выбирает шелковый лифчик; из дверей магазина выплывает счастливый папаша, чудом «доставший» замечательную детскую коляску в веселых цветочках...

Поток машин прерывается. По проспекту движется большая колонна демонстрантов с бумажными лозунгами и плакатами, они сворачивают к Старой площади.

Спешу туда. Около главного подъезда ЦК КПСС уже клубится толпа. Слышны отдельные выкрики, кто-то невнятно бубнит в мегафон. Стоит несколько милицейских машин с начальством. Со стороны центра города подходит колонна молодежи. Парень поднял над головой ватман с надписью: «Долой палачей из ЦК КПСС!»

Что-то готовится. Но что – еще не ясно.

Среди толпы на углу улицы Куйбышева появляется милицейская машина с динамиком на крыше. Четкий голос из динамика уведомляет: по решению мэра столицы в 15 часов начнется опечатывание зданий ЦК КПСС.

Глянул на часы: 14.45. Милицейский голос из машины призывает подождать оставшуюся четверть часа... Вероятно, здесь все знали о предстоящем и могли от нетерпения начать раньше времени...

В окнах серого здания приоткрываются и смыкаются занавески – оттуда пугливо выглядывают самые привилегированные служащие Советского Союза, имевшие доступ в спецраспределители, спецсанатории, спецбуфеты и получавшие спецквартиры в лучших спецрайонах столицы.

Ровно в три часа дня молодые парни, разношерстно одетые, начали становиться в цепь – они брались за руки и к ним присоединялись все, кто хотел, расходясь на длину

вытянутых рук. Быстро охватили квартал от угла здания ЦК вдоль по Старой площади и улице Куйбышева (Ильинке). Живой цепью были перекрыты все выходы вплоть до Торговой палаты, где на углу есть решетка, отделяющая двор ЦК от улицы. Эту решетку, не имевшую калитки, тоже оцепили.

Вдоль цепи быстро шел, а то и бежал толстячок с потертой сумкой на плече, осматривал цепь и повторял: «Никого не выпускать и не впускать!»

В зарешеченной клетке двора, почуяв над головой угрожающий сачок, сверкая пикантным капроном перепархивали партийные бабочки-секретарши; отсвечивая серыми надкрылками пиджаков, косым тараканьим броском перемахивали жуки-партаппаратчики.

Позже в газетах мы прочитали, что в тот день были задержаны работники ЦК, которые хотели вынести секретные документы о внешнеполитических финансовых связях ЦК КПСС...

По проезду Сапунова (Ветошный переулок) вышел к метро «Площадь Революции». Там толпа в скверике у памятника Свердлову. На пьедестале белой краской кое-как наляпано: «ПАЛАЧ». Молодежь фотографируется на фоне надписи.

Ночью памятник был снят и вывезен.

24 августа 1991 года

В девять утра поехал на Манежную площадь, где будет панихида по убиенным на Садовом кольце Усову, Комарю и Кричевскому.

Площадь плотно забита народом; с дальнего конца ее, от Манежа доносятся неразборчивые голоса. Ничего невозможно понять – эхо искажает слова.

Пробиваться через толпу нет смысла. Иду по дворам университета к началу улицы Герцена (Б. Никитская). Здесь хоть и ничего не видно, зато почти все слышно. Говорил Горбачев, потом Боннэр, затем раввин читал еврейскую молитву по Кричевскому. И лишь православный священник говорил на редкость внятно и чисто.

Было видно, как над головами собравшихся воздвигся белый крест и прошло отпевание.

Вышел на Калининский проспект у Дома дружбы с зарубежными странами. Улица была еще почти пуста. Ждали

около часа, пока показалась похоронная процессия. Нашлось хорошее место на тумбе столба, где с одной стороны уже устроился молодой человек, а на другую можно взобраться, чтобы разглядеть происходящее.

И здесь впервые за все эти дни к нам подошел пьяный. Видел сотни и тысячи людей, но ни одного такого... Пожилой, с красной лысиной и свалявшимися волосами у пиджачного воротника, обрюзгшее чиновничье лицо с кислой гримасой, мокрыми губами. От него за версту несло спиртным перегаром.

Заплетающимся языком он понес околесицу насчет того, что хоронят фашистов. Нетвердо подошел к столбу и попытался за штанину стащить молодца, стоявшего на выступе тумбы. Тот в ответ норовил шлепнуть ему по лысине подметкой туфли.

Нам с трудом удалось оттащить пьяного, который, пытаясь отбиться, начал материться и орать, что это мы убили тех, кого хоронят. Вокруг вскипало возмущение, и он так же неожиданно, как появился, исчез.

За все эти дни не видел ничего подобного. Впечатление осталось такое, что он подослан, что здесь чья-то пакостная игра... Впрочем, вполне может быть – это чиновник, почуявший, что его время прошло, и напившийся с горя.

А в начале улицы уже показалась процессия. Пронесли множество венков, и вслед двигались еще два грузовика с горами венков в кузовах.

За ними шли четверо, производившие странное впечатление. Слева шел майор в обычной форме. В ряд с ним – казаки. Один в черкеске с газырями и мохнатой папахе, другой в казачьей гимнастерке и с лихо заломленной фуражкой. Четвертым в ряду двигался священник в черной шелковой рясе и клобуке. На жарком солнцепеке, он время от времени снимает клобук, кладет на плечо, затем снова надевает и поправляет ниспадающий на спину шелк.

Вдоль тротуара быстро движется цепь молодежи и людей средних лет. Взявшись за руки, они оттесняют собравшихся к тротуару, поясняя, что машины займут все пространство мостовой и надо ужаться.

Проносят большие портреты убиенных.

На некотором расстоянии следом медленно продвигаются три голубых грузовика – ЗИЛа – с белыми шашечками такси на дверцах.

В их кузовах с откинутыми бортами – по гробу, укрытому трехцветным российским флагом. Один гроб на грузовике справа, кроме флага, накрыт еще белым покрывалом с черным орнаментом по краю. Таков еврейский обычай.

Через небольшой интервал двигаются ряды людей, несущих бархатную хоругвь и большой портрет Николая II. Наверное, какая-то организация монархистов. Ничего подобного за семьдесят лет и представить себе было невозможно...

Спускаемся на мостовую и вливаемся в ряды шествия. Из динамиков, укрепленных на машинах – похоронная музыка. В колонне очень много детей, которых несут на руках папы, мамы, дедушки. Несмотря на несметное число людей, нет ни давки, ни иных неудобств. В самом воздухе присутствует что-то возвышенное, не позволяющее размениваться на мелочи.

За спиной раздаются голоса, предлагающие раздвинуться и освободить середину проспекта. Раздвигаемся, и хотя шествие сжимается, никто не задет, не обижен.

Оказалось, несут огромное полотнище российского триколора. Десятки людей держат флаг за края, и он плывет по проспекту.

Юноша, стоящий рядом, узнает узел на полотнище, за который вчера ночью держал флаг, когда нес его вместе с другими по центру Москвы. И не удержался от воспоминания, как к ним подошли телевизионщики, узнали, есть ли кто говорящий по-английски и попросили сказать о впечатлении, которое осталось после свержения памятника Дзержинскому...

Вдоль проспекта на асфальте лежат сотни букетов роз и гвоздик. Идем, стараясь не наступить на цветы, но это не всегда удается.

Остановка на месте, где погибли трое, которых сегодня хороним (пересечение Садового кольца и Калининского проспекта (Нового Арбата). Совершается панихида на площадке, огороженной цветами. В одном месте горят свечи, там толпятся люди, приносящие новые цветы и возжигающие свечи.

Медленно спускаемся вниз по проспекту. На стеклах нижнего этажа здания СЭВ видны огромные буквы, которые никто не стер за эти дни: «Забил заряд я в тушку Пуго», «Убийство на улице Язов» и еще что-то, отсюда не разглядеть.

Напротив моста, где поворот к Белому дому обосновались монархисты – на ветру трепещут хоругви, высится большой портрет царя Николая.

На лестнице, ведущей к входу в Дом, сохранилась баррикада. На ней – огромный щит, где на желтом фоне распластался двуглавый орел. На многочисленных российских трехцветных флагах у монархистов в верхнем углу около древка – желтый квадрат с двуглавым орлом.

Последнее, что запомнилось в этот день. Подойдя к метро «Площадь Революции», увидел, что от памятника Свердлову остались лишь камни раскуроченного пьедестала. Толпятся весело переговаривающиеся люди. Некоторые, вооружившись принесенным кем-то молотком, откалывают кусочки красновато-коричневого гранита – на память. Полированные глыбы обкусаны по краям.

На том, что осталось от пьедестала, стоит пьяный нищий в черном длиннополом пальто, изваляннном во всем, в чем только можно изваляться на улицах. Последние дни он тут постоянно ошивается и стал неотъемлемой деталью революционного пейзажа. Обычно сидел посреди тротуара и побирался, по-шутейному задирая прохожих.

Сейчас он выбрасывает вперед руку, изображая вождя и застывает на несколько мгновений, потом разочарованно разводит руки в стороны и стоит с понуренной головой. Вокруг этой пародии на памятник вьется с десяток репортеров и телевизионщиков со всех концов мира. Нашего нищего, несомненно, узнает весь свет.

Стоит отметить, что и настоящий памятник, после того как стали известны приказы Свердлова об уничтожении казачества, стал чем-то лишним и несуразным и выглядел скорей пугалом, чем памятью о прошлом.

Присловье 1

Теперь, через десяток лет после тех событий, задумываешься: что же двигало Ельциным? Почему так ему верили и так ему доверились? Ведь результат событий плачевен – всеобщее обнищание и небывалое обогащение вертевшейся вокруг него камарильи ловкачей. Так что ж выходит? Наш герой говорил свою речь с танка, выражая общее настроение, и сам, конечно, доверял этому настроению, но где-то подспудно уже таил и главную для

себя лично цель – получить благополучие за счет доверившегося ему народа... Схватив власть, он повел себя, как всякий дорвавшийся до нее чинуша – стал строить дачи, подкапливать деньжат, споспешествовать продвижению родственников, поправлять пропитое здоровье. Потом подыскал покорного преемника, законодательно закрепил за собой более чем роскошный «пенсион» и удалился доживать век, имея привилегии, превосходящие те, против которых когда-то сам боролся, защищаемый «органами», еще более разросшимися, чем те, которые сам когда-то называл «монстром».

Все, некогда с восторгом скандировавшие его имя, стали открыто (свобода!) смеяться над ним и презирать, но ему все это было уже как с гуся вода. Такой уж, видно, попался нам гусь, влетевший в российскую историю на наших крыльях...

Присловье 2

Колдовская сила кирпичной огородки Кремля.

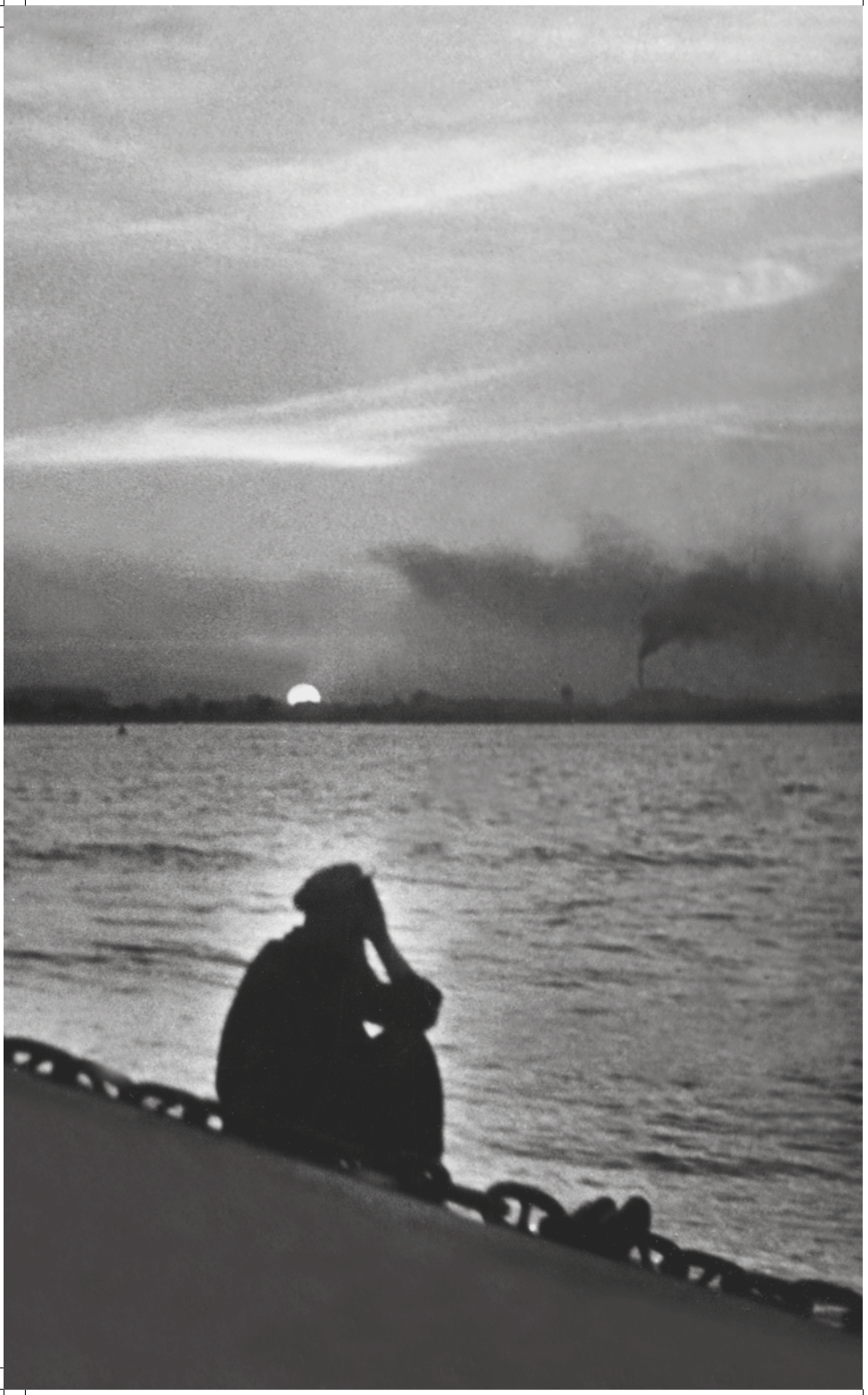
Попадает за нее новоиспеченный правитель, вроде Бориса П. Парень вырос в деревне, где даже нужника не было, полжизни носил ватник, старые кирзачи. Все, как у всех населявших Союз. Но едва хозяином вошел за зубчатую стену, применил свою власть не для того, чтобы дать жилье тысячам и тысячам беженцев, нищих и накормить голодных, нет, он тут же принялся заново перезолачивать двери дворцов, перекрывать полы драгоценным деревом, ставить вазы из яшмы. Одновременно начинает пить даровую горькую. Допивается до полного свинства – сойдя с самолета, льет в портки, охранники волочат его под руки. Разучился внятно говорить, затеял нелепейшую войну на своей же земле. Приблизил к себе прихлебал и прощелыг, которые правят за него, разворовывая огромные богатства.

Не забудем, что и Сталин в свое время сломал слаженные при царях залы и превратил их в огромный сарай для заседаний, ныне вновь превращенный Ельциным в раззолоченные покои.

Хрущев взгромоздил в Кремле стеклянный дворец для съездов.

Ни у кого и мысли не мелькнуло пустить деньги, потраченные на позолоту, для чего-то сейчас, нынче, необхо-

димого простым людям, из которых сами вышли... Не двери кремлевские золотить, а построить приют для бездомных детей; для калек недавних безумных войн – инвалидные дома, вроде тех, что возвела когда-то Елизавета Петровна, построить страннопришмные дома для несчастных стариков, мотающихся по разоренной земле нашей... Нет. Золотить дворцовые двери!





Обломок 53

Октябрь 1993 года начался с пертурбаций, которые иначе, как гражданской войной, не назовешь. Самый воздух был напитан тревогой. В ночь со второго на третье октября я долго не мог уснуть, чувствовал себя разбитым и больным. Третьего и четвертого не выключал ни радио, ни телевизор. Особенно гадко стало после того, когда вдруг перестали работать сразу три программы из Останкино. На экране появился незнакомый диктор, поведавший о штурме телецентра и предупредивший о возможных грабежах, которые могут коснуться каждого, поскольку милиция «задействована» на решении более крупных задач, чем борьба с грабителями.

Ночью третьего не отходил от телевизора, одновременно слушая приемник, переключаемый с «Эха Москвы» на «Свободу», непрерывно передававших сообщения о наших событиях.

Четвертого октября (понедельник) с утра включил шестой канал телевидения, по которому шли передачи CNN. На экране изредка, сменяя одна другую, стояли картинки Белого дома со стороны Кутузовского проспекта, затем часть проспекта у гостиницы «Украина» и мост, и третья картинка – задняя часть Белого дома и площадь Свободы.

Если б не эта передача, никогда бы нам не увидеть того, что случилось в столь памятных местах столицы...

Рассказ американского репортера изредка переводил кто-то из наших телевизионщиков, но в основном передача шла без перевода и благодаря картинке, смутно что-то понималось. Так от CNN впервые узналось, что с крыш стреляют снайперы. Наших сообщений на сей счет не было. Лишь ночью россияне удосужились предупредить сами себя об опасности снайперского огня.

Запомнилась картина моста, забитого зрителями. В конце его как заграждение стояли поливальные машины, а в начале, со стороны гостиницы «Украина» – четыре танка. Зрители сгрудились у перил моста и разглядывали Белый дом. Показали, как неподалеку от танков папаша прогуливает сына лет четырех.

Вдруг толпа метнулась от перил к центру моста. Американский репортер пояснил, что люди испугались просвистевших снайперских пуль... Но через несколько минут любопытствующие снова, как ни в чем не бывало, вернулись к перилам и продолжали глазеть на цитадель старого строя.

Танки, которые стояли посередине моста, вытянувшись в одну линию, начали перестраиваться поперек, лесенкой, перегораживая весь мост. Американский репортер сказал, что они встают на огневую позицию... В это невозможно было поверить. Как? В центре Москвы... на огневую позицию...

Но вот крупным планом показали фасад Белого дома. Там на верхних этажах поплыли клубы белой пыли и дыма, и тотчас по ушам ударил резкий звук пушечных выстрелов. Телевизор был поставлен на малую громкость, и все равно грохот выстрелов почти оглушил.

Крупно показали танки – они тоже были в белом дыму.

На фасаде появились черные окна, и половину здания заволокло дымом. Часы на башне остановились на десяти часах утра.

Стреляли недолго.

Вскоре начался пожар верхних этажей. Густо повалил дым, и белый фасад перетянули черные языки копоти.

Пожар и перестрелка продолжались весь день.

Показали Дом со стороны двора. Там в окне тоже заклубилось смоляное пламя и повалил дым.

На крыше жилого дома, что через проспект от мэрии – гроздьями, будто роящиеся пчелы, кучкуются зрители.

Показали, как по газону идет БМП, а за ним, прячась за броню, бегут пятеро солдат. Они хотели свернуть к кустам, но не решились оставить спасительную сталь – видимо, обстрел из Дома велся очень плотный.

Один очевидец рассказывал мне, как примерно в это время был в тех местах. Под липами на набережной, прячась за стволами деревьев, солдаты стреляли из автоматов. А позади них по дорожке прогуливались мамаши с детьми, смотрели на стреляющих и не помышляли прятаться или уходить...

Вернувшаяся с работы дочь сказала – у них в Филатовской детской больнице (между «Маяковской» и «Баррикадной») весь день дребезжали от стрельбы оконные стекла. Зоопарк оцеплен войсками.

После того как стемнело, на экране мучительно долго стояла картинка Белого дома, где шевелились лишь языки пламени на шестнадцатом этаже. Пламя особенно бушевало в левом окне. Часам к десяти вечера принялся гореть семнадцатый этаж. Сначала вспыхнули три окна, потом пожар стал шириться, охватывая другие.

В вечерних известиях по телевидению предупредили, чтобы не забывали об опасности со стороны снайперов, потом сообщили, что в Белом доме осталось триста боевиков и что бой идет в районе метро «Баррикадная», «Улица 1905 года» и в Ваганькове.

Объявлен комендантский час с 23 до 5 утра.

Пятого октября 1993 года в шесть вечера был на мосту напротив Белого дома. Здесь, когда все видишь своими глазами, случившееся пронзает и душит.

На фоне неба тучей висят четыре верхних этажа, отмеченные застывшими языками копоти. Слева, ниже, еще два этажа поражены проказой пожара, но не полностью.

Ступил на Калининский мост и первое что увидел – следы от танковых траков на асфальте. Дальше, к середине, следы эти теряются, стертые моечными машинами.

На Кутузовском проспекте, напротив гостиницы «Украина», прямо на тротуаре круглится белая тарелка телевидения и стоит небольшой автобус. Тут же два телевизионщика в фирменной одежде и кепочках вытягивают из кого-то интервью.

По мосту продолжается обычное движение. Глаз невольно отмечает, что милиции сегодня больше обычного.

На другом конце моста, там где Белый дом, толпится народ. Внизу, под мостом, беспомощно стоит сгоревший белый автобус.

Быстро темнеет, и выделяется освещенный уголок под мостом, где видна вывеска «Автозапчасти». Там несколько солдат и штатских жгут костер. Картинка, уместная в глухом лесу...

По темному, без единого светлого окна, фасаду Дома скользит лучик небольшого прожектора. Откуда он появился, разобрать невозможно. Лучик чертит по черным окнам, потом, пометавшись, застывает на красном флаге внизу, над входом. Тень от флага черная, как ляпок туши. Это, наверное, телевизионщики что-то снимают. Во тьме кажется, что флаг единственный, а он занимает свое место в целом ряду флагов, украшавших фронтон здания и оставшихся еще от мирных времен...

Подхожу к перилам моста. Здесь круто замешана вечерняя толпа зевак. За толпой, там, где кончается мост, резкой линией прочерчено оцепление – сначала солдаты, потом милиция. Толпа гудит разговорами о дневных событиях. Среди собравшихся туда-сюда болтается пьяный старик в черном пальто нараспашку. Он выбрал себе роль шута и с наслаждением кривляется: «Эх, Расея, мать родна, нет покрышки, нету дна!» «Граждáне, избежавшему пули снайпера полагается на стопарик!» и т. д.

В конце моста стоит несколько машин ГАИ и черными пятнами мутнеют другие автомобили.

Шестого октября 1993 года сюда же приехал в полдень. Теплым солнечным днем Белый дом выглядит еще ужасней, чем вчера вечером. В синем небе страшной дырой чернеют сгоревшие этажи с выбитыми окнами. По закопченной стене из оконного проема свисает ярко-красный пожарный шланг... Словно кишка из разорванного живота... На башне с часами, остановившимися на десяти, развевается российский триколор.

Над сгоревшей громадой кружит с десяток больших черных воронов. Они дружно взмывают ввысь, парят над крышей, над башней, над флагом, опускаются до выгоревших, почерневших этажей и снова поднимаются к небу. Не садятся, а словно бы что-то высматривают, выведывают у обгоревших стен. Откуда они взялись? Никогда ни раньше, ни позже не видел в городе таких птиц. Только в то утро...

Тоскливо и горько встретить вещих воронов, и чуется в их полете предсказание недоброго. Не отсюда ли начинается еще неведомое нам разрушение российских городов и сел?.. Не отсюда ли пойдет варварский способ решения спорных вопросов промеж себя самих с помощью танков и пушек?..

Правда, в те дни было убеждение, что только так и можно поступать с поднимающим голову ненавистным прошлым.

На набережной, напротив Белого дома, у самой реки, застыли четыре танка. Один, грузный и грозный, стрелял давеча по фасаду. Пушки танков направлены за реку на гостиницу «Украина». Через дорогу от них к лестнице Белого дома присоседились другие пять танков полегче. Их пушки направлены на обгоревшие стены, и чудится, хотят поймать на прицел черных воронов...

Всего вокруг дома я насчитал пятнадцать танков.

По-прежнему под мостом стоит сгоревший автобус.

В оцеплении сегодня милиции нет совсем – одни солдаты. Нескладные новобранцы – тонкие шеи по-цыплячьи торчат из шинелей, которые им велики, новенькие каски похожи на игрушечные. Лица совсем детские, растерянные, с припухшими губами и щеками, не знавшими бритвы. У некоторых в руках одни милицейские дубинки, беспомощно висящие вдоль шинели. У других на груди автоматы. Но и то и другое так же, как и каски, похожи на игрушки, и своим истинным предназначением не вяжутся с детским

выражением лиц, со стеснительностью и неловкостью отличающими все это оцепление.

В конце моста гомонит и пенится толпа зевак. Многие без устали щелкают старенькими аппаратиками; среди любителей попадаются и сумчатые профессионалы, посверкивающие дорогой оптикой.

Через дорогу, на лужайке у спуска от мэрии (недавнего СЭВа) толпятся несколько людских кучек человек по тридцать-сорок в каждой. Обсуждают развернувшиеся на глазах события.

Потолкавшись между ними с полчаса, уясняешь главную мысль, расколовшую собравшихся на две равные части:

– Не надо было осаду начинать – тогда ничего бы и не случилось.

– А кто начал-то? Вы что, не знаете? Весь мир видел: они пошли громить мэрию...

– Неизвестно еще, кто начал... Кто оцепил Белый дом, тот и начал.

Уверенный громкий голос врезается в общий гул так, что всем слышно:

– Запомните – это только начало!

В толпе много пожилых, но и молодежи достаточно. Выступают же чаще умудренные жизнью: «Главный недостаток демократов, – говорят они, – совсем не упоминают о Родине, о патриотизме. Нельзя же так, товарищи дорогие!»

У молодых свои взгляды. В одной из толкучек заметен высокий парень лет 25–30-ти. Он в коричневой кожаной куртке-коротышке, коротко стриженые рыжеватые волосы не скрывают мощный затылок и шею хорошо тренированного спортсмена, а то и выправку какого-нибудь члена «спецподразделений», плодящихся ныне, как сорняки.

Он долго стоял, слушал, рассматривал окружающих и вдруг заговорил, обращаясь ко всем и ни к кому:

– Вы все здесь жалкие людишки. Вам только с собачками гулять да мечтать о тарталетках с сыром.

Презрительно посмотрел поверх голов.

Кто-то попробовал возразить:

– Позвольте, да как вы смеете...

Парень тяжело вдохнул воздух, пытаясь сдержаться, но не смог, сорвался, сдавленно и яростно захрипел:

– У-у-у... Ненавижу вас! Разойдись! Всем – вон отсюда! Вон! И разговаривать не хочу. Пулю в живот – вот мое слово!

И тут неожиданно, как из воздуха, возник второй почти такой же, тоже спортсмен в коричневой курточке. Подошел к парню, взял под локоть, бормотнул в ухо что-то вроде: «Пока не время, не заводись», и силой утащил радикального оратора из толпы.

Там и сям постоянно мелькают любопытствующие иностранцы, снимающие на фото и видео.

Из-за оцепления, с задворков Белого дома, появляется грузовик. В его кузове – сгоревшая «Нива». Автомобиль, словно консервная банка, вынутая из костра – весь перегорел, включая шины, металл погнулся и перекрутился в пламени.

Оттуда же два грузовика вывозят друг за другом прицепленные к ним две поливальных машины с оранжевыми баками. На первом баке наспех намалевано: «Наша Родина – СССР!», на втором: «Банду Ельцина – под суд!»

Потом потянулись самосвалы, груженные бетонными блоками и прутьями арматуры – это вывозят разобранные баррикады.

Иду к зданию мэрии. Видны выгоревшие окна примерно за десятым этажом и широкий язык копоти, облизавший стеклянную стену.

Площадка перед входом занята спецназовцами в касках, обтянутых зеленым брезентом. Они же толкутся у дверей.

Двое рабочих, вооружившись длинными палками, сбивают острые зубья стекла, оставшиеся в разбитых окнах и застекленных стенах. Стекла не поддаются, и рабочие упорно бьют по торчащим зубьям наверху, пока они не упадут и не разлетятся в острую пыль на асфальте.

Появились работницы мэрии, скорей всего, уборщицы. В руках сумки. Следом чиновник в кожаном пальто и иностранец – фотокорреспондент. Показывают пропуска солдатам.

Битое стекло сметено к стене, где громоздится длинной кучей, остро посверкивающей тысячью граней. Однако, подмести чисто не удается – крошки стекла еще обильно рассыпаны по лестнице и тротуару, они отвратительно скрипят под подошвами.

Иду по проспекту вдоль здания и вижу, что внизу разбита почти вся стеклянная стена. Из-за пустых рам торчат

смятые жалюзи, прорванные кресла и диваны, которыми затыкали дыры в стене... Среди осколков стекла извивается растоптанная лоза вьющегося растения, недавно украшавшего вестибюль.

Заворачиваю в переулок, пролегающий за мэрией. Он не перекрыт, поэтому можно взглянуть на стеклянный дом с тыла.

Здесь следы пожара впечатляющи. Он охватил два этажа, зияют черные дыры выбитых окон, широкий и длинный язык копоти облизал стеклянную поверхность насколько хватает взгляда.

У стены среди деревьев – редкие фигуры солдат.

Справа высится церковь. Наверху колокольни свежие следы пуль – белые воронки по желтой штукатурке. Там стоял пулемет правительственных войск, который едва не сшибли по незнанию свои же...

Виден Горбатый мост с кучей разобранной брусчатки, предназначавшейся для баррикады. Брусчатку укладывает обратно на прежнее место рабочий в желтом жилете.

Переулок, ведущий к Белому дому, перегорожен у гостиницы «Мир» железными передвижными перегородками, за которыми расположились спецназовцы. Нелепо громоздятся остатки баррикады, собранной из квадратной плиты, бетонной трубы и аккуратно уложенного бруствера из брусчатки, на котором солдаты сидят, как на скамейке.

Иностранный журналист, увешанный кофрами с аппаратурой, подошел к загородке и показывает пропуск. Начальник заставы рассматривает документ и возвращает назад со словами, что пускать разрешено лишь с 14 часов, а сейчас 13.30...

6-й Девятинский переулок. Жилой дом с выгоревшим нижним этажом. Во дворе девочка и мальчик качаются на качелях, громко щебечут о своем, в песочнице копаются малыши, мамы и бабушки сидят на дряхлой скамейке. Правее – кирпичное здание непонятного предназначения; подходы к нему густо заплетены новенькой колючей проволокой.

Иду дальше по дворам, которые в отличие от первого почти безлюдны, и выхожу к высотному зданию на площади Восстания.

Станция «Баррикадная» открыта. Все спокойно, словно и не было ничего.

Спускаясь по эскалатору, ловлю себя на мысли о том, что, видно, самое это место неспокойное, проклятое – через девяносто лет здесь же снова появляются баррикады, гибнут люди... Будто топчемся на одном временном пятачке и не можем с него сойти, не можем найти решений, достойных нового времени. Оказались вне истории, вне ее течения. Тот же спор о власти решается так же, как в начале века, и выигрывает кучка нахрапистых хитрецов, а те, кто думал, будто борется за общее дело, остался ни с чем.

Девятнадцатого октября 1993 года с утра поехал посмотреть те же места. Подходя к Белому дому по Калининскому мосту от гостиницы «Украина», и приглядываясь, с болью и ужасом открываю новые подробности, которых не замечал раньше. И чем ближе подходишь, чем больше деталей режет глаз, тем с большей безнадежностью представляется наше будущее, тем ясней суть недавнего начала страшного разрушения, которое наваливается на нас.

Флаги с Дома сняты все. Черные птицы улетели, прокаркав свой приговор. Нет толпы участников и соглядатаев недавних событий. Лишь одинокие фигурки наших и иностранных фотографов на мосту, не устающих снимать жуткие развалины.

Приближаясь со стороны моста, невольно разглядываешь следы ударов четырех танковых снарядов, разбивших простенки между окнами, разворотивших оконный проем. Из дыр, еще недавно бывших окнами, выпучивается горелая требуха, лезет отбушевавшее внутри пожарище. Правда, красная пожарная кишка, висевшая тут в первые дни, убрана.

Окна нижних этажей плотно забраны фанерными щитами. Там и сям стоят подъемники, на них рабочие споро заколачивают выбитые окна третьего и четвертого этажей.

Без изменений остался только сгоревший верх.

Весь Белый дом огорожен светло-серой бетонной стеной, собранной из стандартных ячеистых щитов, поставленных на бетонные же подставки. Щели между щитами и мостовой наглухо заделаны цементом – ни одна мышь не пролезет – и эта нижняя полоса стены покрашена грязно-зеленой краской. Со стороны моста воздвигнуты глухие железные ворота, которые понизу оторочены толстой черной резиной, вплотную примыкающей к асфальту.

Да, совершенно верно: ни одна мышь теперь не проберется в мертвый дом.

До октябрьских событий можно было беспрепятственно прогуливаться по лестнице и вокруг здания. Теперь Дом отрезан от улицы, от города, от его насельников и приезжих. И теперь уже навсегда. Скоро бетонную изгородь заменят на чугунную резную решетку, и эта декоративно оформленная стенка останется навек.

Обошел дом вдоль забора, задрал голову кверху. Из оскала сгоревших этажей ветер еще выносит листки деловых бумаг и крутит их, перебрасывает с конца в конец. На фоне черной от копоти обгоревшей стены полет бумаг – словно символ тщеты и ненужности государственной деятельности, оторванной от людских нужд.

Тот же ветер несет и осенние листья, но их полет напевает о другом, и две эти мелодии никак не соприкасаются между собой.

На сером гранитном пандусе гостиницы «Мир» хорошо видна пожухшая надпись, сделанная белой краской: «Вместе мы непобедимы!»

В Белый дом можно пройти только с проезда от гостиницы. С этой стороны открыты ворота, за которыми видна милицейская будка и милицейские, шурующие вокруг машин и входящих штатских.

Присловье

Правители, вышедшие из народа, нисколько о народе не заботятся. Они печенкой помнят нищету и страх, который испытали, живя в народе, и рады-радехоньки, что избавились от народной жизни. Их символ веры: пусть все пропадут в нищете, зато я теперь благополучен. Все возьму от своего везения, а остальные пусть горбатятся и погибают.

Такова трещина, отделяющая власть от народа. Таков смысл бетонной, а затем чугунной резной ограды вокруг Белого дома.

Никогда не забуду чувство неизбывного стыда, возникавшее всякий раз, когда на экране телевизора появлялся президент Ельцин: оплывшее, бесформенное лицо, даже без намека на мысль, с натугой произносимые слова, лишенные смысла... Картинка давалась, чтобы показать,

что президент жив и может говорить, хоть и непонятно о чем...
Такой же стыд охватывает, когда появляется преемник Ельцина – он частенько выходит из-за раззолоченных дверей кремлевских покоев, идет по коврам и паркету, а ведь только что на экране проплывали развалины Грозного, размоины Ленска, заледеневшие трубы отопления Приморья...
Кремль – это музей. Не стыдно ли править нищей страной из музея с сокровищами?





Обломок 54

В начале восьмидесятых захлебисто растрезвонили о новой Продовольственной программе партии, которая обещала покончить с дефицитом всякого рода харча, столь нужного населению для прокорма.

Мне взбрело откликнуться на призыв партии и правительства и внести свой посильный вклад в дело всеобщего харчевания.

Во время одного из дружеских застолий, обставленных аскетически просто, я заявил собравшимся, что беру на себя новые повышенные обязательства по части выращивания продуктов птицеводства и животноводства. А именно:

1) Чижика, посвистывавшего в клетке на окне, я обязался откормить до размеров хорошего индюка и сдать на московский птицекомбинат.

2) Кота Тишку откормить до размеров уссурийского тигра, затем продать в лондонский зоопарк за несколько тысяч фунтов стерлингов, и все стерлинги пустить на закупку за границей вермишели, макарон и маргарина.

В тот момент, гремя гранеными стаканами, никто и подумать не мог, что мои дурашливые обязательства по результатам мало чем отличались от тех, что на весь свет объявили партия и правительство.

А начиналось-то все очень даже нешуточно.

Приехав летом в любимое свое Мосолово, я застал там настоящий строительный бум. На окраине, где испокон века простирался пустырь, теперь грызли землю бульдозеры и экскаваторы, рядом высились штабеля привезенных недавно бетонных балок и плит. Вдоль суглинистого поля, на котором при Хрущеве продвопрос пробовали решить одним махом с помощью кукурузы (выросла ниже овса, и пришлось запахать), теперь пробили дорогу и возводили коттеджи для приглашенных специалистов-мастеров сельхозпроизводства.

На следующее лето в том месте уже высился цех по переработке свинины; в новеньких коттеджах с невиданными по нашим местам удобствами уже обживался передовой отряд армии, штурмующей высоты передового харчевания.

Подальше, около веселого лесочка, дарившего местным жителям грибы-ягоды, прижались к земле новенькие свинарники, уже издававшие запахи далекие от земляничных.

В разгар лета среди только что выращенного свинопоголовья разразился непредвиденный мор. Могильник для разлагающихся на жаре туш наспех выкопали бульдозером в лесном овражке, славившемся прохладой и сладчайшим родником, у которого сельчане любили отдыхать после завершения лесных охот. Райский уголок принесли в жертву исполнения продпрограммы. Битва за харч разворачивалась основательная.

Рабочих рук, способных выполнять боевые задания в этой битве, село предложить не могло – молодежь разъехалась по городам, остались одни старики, имевшие собственную продпрограмму, которую осуществляли в огородах.

Поэтому рязанские стратеги решили бросить на прорыв рабочий класс с заводов и фабрик. На предприятиях составили железный график вступления в бои за урожай по каждому цеху, по всем боевым подразделениям. Каждый трудящийся индустриального фронта был обязан ежемесячно подпирать фронт сельскохозяйственный – отработать несколько дней в селе и получить свою зарплату на заводе.

Все выглядело более чем серьезно и по-партийному принципиально. Не учли одного – какой свинарь получится из наладчика станков с программным управлением, какой спец по мясосальному свиноводству – из слесаря-сборщика или фрезеровщика...

Однако мобилизованные ехали на трудовой фронт с охотой, весело, даже как-то песенно. Битва за свиномясо влекла, словно субботний пикник. Кое-что, конечно, по свиному делу исполняли, в особенности по части техники, но главное крылось в послеполуденном отдыхе, растягивавшемся иной раз за полночь.

Все затеянное виделось с высоких партийных трибун как развернутое наступление на дефицит, а с койки слесаря в сельском общежитии как приятный отпуск вдобавок к основному.

Не шатко не валко, а все ж свиней вырастили. Но когда подсчитали стоимость заводской свинины, счетоводы были ошарашены. Если в магазине (когда, случалось, туда завозили) она стоила два рубля, то произведенная в заводском хозяйстве тянула на все пятьдесят...

Было над чем призадуматься, подсчитывая боевые потери. Выручили, однако, партийные оптимисты-экономисты-пропагандисты. Они рассуждали попросту: «У нас на заводе имеются только стальные станки и гайки. Вы можете их кушать? – задавали они вопрос рабочему собранию. – А-а-а... не можете. Так вот в этом «убыточном», как считают некоторые умники, хозяйстве производится настоящее мясо. Пусть по пятьдесят рублей за кило! Пусть хоть по сто! Но его ж кушать можно, товарищи дорогие!»

Не знаю, сколько накушали рязанцы своей свинины, но бои на свином фронте, как и все предыдущие битвы, кончились плачевно.

Свинарники опустели, заросли крапивой; в цехе по переработке мясопродуктов повышибали окна, порастащили

все, что можно унести, пораскурочили все, что поддавалось молодецкой силе. И э-э-х! Раззудись, плечо!

Вот в коттеджах владельцы прижились, но к свинине они никакого отношения не имели.

Присловье 1

На этом мужичке, который с перепоя едва стоит на ногах, держится все наше сельское хозяйство.

Присловье 2

Свою безопасность и независимость нам надо утверждать не танком и авианосцем, а в первую очередь трактором, скотным двором и ржаным полем.



Обломок 55

Прогуливаясь вдоль Орехового бульвара, заметил впереди мальчишку лет десяти-одиннадцати. Он был одет в новую курточку нараспашку, и привлек внимание тем, что постоянно отворачивал левый бортик, рассматривая что-то во внутреннем кармане. Подойдя поближе, я увидел, что заглядывая под курточку, он всякий раз улыбается светло, радостно и с некоторым нетерпением. Пройдет несколько шагов и опять посмотрит в карман, и расплывется мечтательно и счастливо.

Что же там у него? Сами собой напросились предположения. Наверное, книжка, о которой давно мечтал, и вот она в кармане...

А возможно, не книжка, может, кассета с видеофильмом – теперь ведь не книжками увлекаются...

Очень уж живо, весело светится милое, совсем еще детское личико с нежным овалом подбородка, с упрямым петушком светлых волос на макушке.

В кармане может сидеть и что-то из живности – котенок или хомячок, или черепаха... Вон как поглаживает он там внутри, как не может оторваться – едва не споткнулся о выбоину в асфальте, так увлекся своим замечательным грузом в кармашке.

Вовсе завороженный и заинтригованный, я ускорил шаг и быстро нагнал мальчишку. Именно в тот миг он отвернул бортик курточки, и улыбаясь, в который раз заглянул в карман.

С высоты своего роста я без труда разглядел в кармане малыша горлышко водочной бутылки и то, как детские пальчики огладили ее до наклейки с надписью «Русская».

* * *

Перед входом в школу на перемене – толпа вырвавшихся на волю гомонящих ребятишек. Иду по своим делам через их корогод и вижу рядом мальчишку, по виду совсем первоклашку, малыша – мне едва до пояса.

Он серьезен, степенен, в личике присутствует что-то вполне взрослое. С некоторым высокомерием поглядывая вокруг, он привычно затягивается сигаретой, глубоко, с наслаждением вбирает в себя дым. Пройдя несколько шагов вынимает сигарету изо рта, задумчиво, вполне по-взрослому постукивает по ней указательным розовым пальчиком, сбивает пепел и вновь отправляет в детские губки.

Это самое доступное и простое самоутверждение. Едва ли он может сам заработать на пачку сигарет. Работа – скучное и долгое занятие, а тут – закурил и мигом перескочил через возраст, сразу стал взрослым и снисходительно поглядываешь на остальных, по-детски гоняющихся друг за другом.

Так уж издревле сложилось у нас, что пить и курить – это молодечество, главный признак зрелости и самостоятельности.

На том же школьном дворе случайно оказался позади стайки девочек-семиклассниц, идущих с уроков по домам. Хорошо одетые, смешливые, они весело переговаривались и шутили между собой. И все их разговоры пересыпались таким отборным матом, которого в мои школьные годы не позволил бы себе ломовой извозчик.

Мат этот звучал в их хорошеньких губках как вполне привычный, обыденный говор, без которого нельзя обойтись. Без него тебя просто не поймут и не примут. Вероятно, также когда-то в дворянских кругах звучал французский язык...

Вспомнилось, как несколько лет назад, выступая по центральному телевидению, известный режиссер увлеченно рассказывал, как учит молодых актрис ругаться матом со сцены, как они сначала переживают, едва не плачут, заставляя себя произнести грязное ругательство, и как постепенно привыкают и совершенно свободно кричат нежными голосами в зал слова, которые недавно и мысленно не могли вымолвить.

Нашим милым школьницам не придется учиться матерщине, если они вдруг решат стать актрисами. Прогрессивный режиссер будет доволен молодым пополнением. Больше того, уверен, молодежь поучит и его самого.





Обломок 56

Телефон всполошил среди ночи. Звонил Артем. Голос такой, что с первого звука охватил испуг. Мое назревавшее ворчание насчет позднего часа отпало само собой.

Он сказал – сейчас по ночному радио передали: на окраине Москвы погиб мальчик-рокер, ехавший на заднем колесе. Не справился с мотоциклом и врезался в дерево. Имени не сказали, но это Петя. Это он, больше некому. Он сегодня вечером снаряжал мотоцикл и собирался на шабаш рокеров. Его коронный номер – езда на заднем колесе...

Артем задыхался, кашлял, долго раскуривал новую сигарету.

Потом сказал, что отбросив свой скептицизм, молил Бога, чтоб только не Петруша... И вот сейчас, в эту минуту

решил: если это не Петя – сразу же пойдет в церковь и крестится, и уверует истинно, от души и сердца.

Снова кашляет, замолкает, затягиваясь сигаретой.

Решаем созвониться сразу же, как только появится ясность.

Днем его усталый, но успокоенный голос – Петруша вернулся, он цел и невредим. Это не в их шалаве случилось, а совсем на другом конце Москвы.

Петю я впервые увидел, когда ему было девять. Быстрый, в непрерывном движении. Едва познакомился с моим сыном, тут же повлек его куда-то во дворы за чем-то интересным для них, мальчишек. Артем заворчал было-де, не надо шастать по свалкам, но Петя уже хлопнул дверью. Пока мы разговаривали, они вернулись, притащив обрезки разноцветных проводов, бросовые детали с блестящими винтиками и прочие сокровища. Петя светился восторгом, но не из-за добытых богатств, а потому что новому знакомому очень понравились и приключения, и добыча.

Лицо чистого, ухоженного мальчика, полностью втянутого в домашний мир, подчиненного родительской воле, желающей сделать из него образец всех возможных совершенств. Лишь в быстром взгляде и мгновенном решении, вроде нынешнего, мелькнет вдруг что-то своевольное, проскользнет несогласие с правилами, неподчинение воле других, пусть и родных.

В ту пору это были лишь искры занимающегося костра. Настоящий костер разгорелся незаметно для окружающих.

Мама опекала с утра до вечера. Кроме обычной школы, водила еще в музыкальную, в бассейн на плавание, в группу английского языка, в оперу, на симфонические концерты.

По детской привычке Петя подчинялся ей и безропотно исполнял все ритуальные танцы, которые от него требовались. Но уже зрела и ширилась жажда самостоятельности, в мечтах прочерчивалась, пока еще пунктиром, собственная линия жизни.

Началось все по окончании школы. У Пети был в запасе целый год перед армией, поэтому во что бы то ни стало требовалось поступить в институт, дающий отсрочку от службы, и тем хоть на время оттянуть опасности и ужас, с которыми у всех связывалась эта обязанность. Призыв в армию все и повсюду ожидали с неменьшим страхом, чем тюрьмы или казни. Спасались, кто как мог – скрывались у родствен-

ников, у знакомых в других городах и деревнях, пережидая месяцы призыва. Чуждая людям, жуткая сила государства, слепая и бездушная, вылавливала молодые жизни и пожирала их, доставляя благополучие высшим армейским чинам, которым требовалось определенное число солдат, чтоб оправдать свое существование. Мертвый механизм требовал живой смазки и равнодушно ее перемалывал. Самый смысл существования армии был утерян за колоссальным числом военнослужащих, не нужных при нынешних обстоятельствах развала и упадка основ жизни... Да тут еще эта нелепая и разорительная война в Чечне... Призыв в армию грозил тем, что покалечат или убьют «деды» в казарме или то же самое случится на войне... Да тут еще получили письмо из Челябинска, в котором знакомые писали, что там военкоматы устраивают облавы на молодежь, и всех захваченных силой посылают на чеченскую бойню...

Мама наняла репетитора, потом второго. Занятия заполняли весь день, опустошая родительский кошелек и, как оказалось, нисколько не обогащая приготовишку.

Петя экзамены с треском провалил.

Родители решили, что выбрали не тот институт, и стали судорожно подыскивать платный, куда берут без экзаменов.

А Петя вернулся к дворовым знакомым, увлекавшимся мотоциклом. Научился ездить, потом гонять, потом всяким выкрутасам. Не замечая времени, он возился с моторами, помогая друзьям разбирать, чинить, собирать, доставать запчасти. Он пропитался бензином, машинным маслом, рубашки не поддавались стирке. За зиму он так освоился с мотоциклетным делом, что стал признанным спецом по починке чадящих и рычащих чудовищ.

Прихожая загромоздилась черепами мертвых моторов, железными костями рам. Скоро они вывалились в кухню и в комнату. Черные потеки масла навсегда въелись в паркет, а запах гаража заполнил квартиру.

Он уходил в свое увлечение, спасаясь от тревожных мыслей и предчувствий. Так чудесно рядом, во дворе, нашлось дело, которое позволяло забыться, отвлечься от мрачных ожиданий, превращая груду мертвых железяк в быструю машину. Петя не видел в этом чуде, творимом своими руками, источника доходов, средств к существованию, денег... Ему платили сначала похвалой и восхищением, потом, позже –

угощением с пивом или вином, поскольку денежной платы за свою работу он не требовал.

Родители с болью встречали его под утро все более пьяного. Он приходил из гаражей, где теперь и протекала его жизнь, а вернее сказать, где он спасался от жизни, от самого себя, от неминуемой расплаты за нежелание учиться, подстерегающей его через год...

О поступлении в институт Петя и говорить больше не хотел, найдя свое призвание. Тогда мама разыскала знакомых, которые устроили его учеником в солидную автомастерскую.

Вот эту помощь Петя принял с радостью и благодарностью. В мастерской был нормальный рабочий день; он уходил и приходил теперь вовремя. Его талант механика довольно скоро оценили, и Петруша стал приносить неплохие для начала деньги. Купил подарки маме и отцу, стал оставлять на питание...

Но все это продолжалось недолго. Теперь и за светлым мигом ждалось темное и тяжелое. Все вокруг не сулило ничего доброго.

Артем не звонил, не звонил и объявился опять среди ночи. Сломанным голосом скороговоркой с явным желанием поскорей избавиться от тяжести – Петруша попал в болото наркоманов... Сначала травка, потом игла с героином... И увяз уже основательно...

Что делать? Что делать? Несчастье-то какое! Ищем знакомых врачей... Ах, Петька, Петька... Сам сказал нам, что с героином живут не больше трех лет... Ему же семнадцать всего... Знает о таком ужасе и все равно продолжает...

После месячного молчания почти проплакал в трубку, что лечение не заладилось, что ко всему прочему добавился гепатит, который Петя подхватил в своей компании, ширяясь одной иглой неизвестно с кем, и теперь приходится лечить от этой напасти. Петруша страшно исхудал, капризен и плохо настроен – нет желания избавиться от болезней и часто говорит о смерти...

Впрочем, от призыва в армию он теперь избавился полностью...

Был и звонок, прозвучавший робкой надеждой. Петруша привел домой подружку. Ей пятнадцать лет, совсем девочка и не наркоманка. Это же очень хорошо, что не наркоманка. Может быть, Петя оторвется от наркотиков, ув-

лечется любовью, найдет настоящую привязанность... Им отдали комнату. Они сутками лежат голые в постели. Подаем им завтрак и обед – лишь бы не спугнуть...

Вчера молодые решили убраться в комнате. Вынесли на помойку старинную корзину с бумагами и вещами, которые сочли за хлам...

А там были письма дедушки, посланные еще в конце девятнадцатого века, письма мамы времен гражданской войны и гимнастерка отца... Еще там были журналы «Нива» за 1898 год и те, что мама в своем детстве читала, и мне читала – «Путеводный огонек», «Светлячок» и все в этом роде ...Жаль, конечно, ну да пусть их вьют свое гнездо, как нравится... Лишь бы чем-то были заняты, чем-то заинтересованы... Пусть, пусть их...

Звонил Артем все реже, разговор становился все короче и безнадежней. Лечить Петрушу никто больше не брался, но в обреченность его родители поверить не могли. Нашли какую-то знахарку, полусумасшедшую старуху, которая лечила наркоманов своими способами и требовала одного – полного подчинения ее системе. Несчастные молодые люди жили у нее на даче, выполняя строгие предписания – длительные прогулки и гимнастика на свежем воздухе, на завтрак, обед и ужин только изюм, курага, финики и вода из родника. После такой диеты Петя при росте 178 стал весить всего 46 кило...

Старуха сообщила родителям, что собирается везти своих пациентов к морю, на Кавказ, где они будут принимать воздушные и морские ванны, что закрепит достигнутые успехи.

Этот лечебный изыск осуществить не удалось из-за скудости средств, которыми располагали родители.

В самом конце нашего века, в последнем месяце его, в декабре, Артем едва слышным голосом просипел в трубку, что Петруша скончался, немного не дожив до двадцати лет. Сегодня уже сорок дней. Раньше позвонить не мог – сил не было. Вот и остались мы, старики, одни... И дорога у нас одна, известно, куда. Уйдем, и зарастет дорожка, ибо не стало молодых ног протаптывать ее дальше, в будущие времена. Так-то вот, братец ты мой...





Обломок 57

Безрадостные картины остались в памяти от минувшего века. И никакого просвета не виднеется впереди. Обреченность давит на плечи, отягчает сердце, которому не долго уже...

Смотрю в окно. Там в глубине двора – приземистый и обширный домок, построенный вместе со всем нашим спальным районом в 1974 году и служивший детским садом. Весь год оттуда неслось щебетанье нестройных и писклявых еще голосков. А с весны до осени можно было наблюдать, как высыпали во дворик малыши, как выносили табуретку, на которую садился жилистый высушенный временем старик и, склонив голову к мехам баяна, выуживал

из них простенькую мелодию детского хоровода или песенки «Заинька, попляши». Иногда эти неверные, бредущие слепой ощупью звуки и вплетенная в них детская разноголосица вызывали своим однообразием утомление и приходилось захлопнуть окно. Я не думал тогда, что с безнадежностью и сожалением вспомню еще и детские хороводы под окном и однообразное пиликание баяна.

А тогда мой младший сын только встал на ножки, и мы гуляли с ним по вечерам. Вокруг детского садика росли деревца, и трава густела на обочинах у асфальтовых дорожек. Однажды после захода солнца я повел малыша в это тихое местечко. Мы пошли вдоль корпуса под окнами, радуясь безлюдью и свободе...

Я не сразу обратил внимание на то, что в детском саду заплакал ребенок. Мы тихонько шли и шли вдоль окон. И с каждым нашим шагом к заплакавшему прибавлялись и прибавлялись голоса. Скоро весь корпус надрывался от плача. Мы продолжали прогулку, а рядом рвался наружу вой и верещанье десятков голосков...

Из двери выбежала нянечка в белом халате и направилась к нам.

Я не мог понять, почему и зачем.

– Папаша! – раздраженно и с досадой бросила она мне, – уведите отсюда ребенка! Сейчас же уходите! Слышите, что вы натворили? Весь детсад переполошили, дети с кроваток повскакали, смотреть на мальчика с папой, все плачут, зовут кто папу, кто маму. У нас же пятидневка – дети скучают по родителям...

Недолго продолжалась история этого садика. Лет десять, не больше. Он закрылся как-то незаметно, словно бы тихо скончался.

Раз по весне не раздалось пиликанья и скрипа баяна, маленькие фигурки во дворике чирикали все тише, их становилось меньше. И настал день, когда стало ясно, что детский садик закрыли. Окна запылились, свет в них погас.

Промелькнуло несколько лет, здание стало ветшать. Пыльные стекла все чаще вылетали под камнями пьяных молодцов, не находящих иной забавы в спальном районе.

И вдруг к испустившему дух садику подкатили роскошные «мэрсы», господа в длиннополых пальто обошли здание, брезгливо поглядывая на выбитые окна и плесневею-

щие стены. Вскоре бригады ремонтников мигом преобразили полуразвалину во вполне респектабельное здание с высокой аркой при входе, подиумом и стеклянными дверьми. Над крышей дизайнеры соорудили светящуюся вывеску с аршинными буквами, сообщавшими, что отныне тут размещается «ЭТАКИЙ БАНК» (не помню, какой именно). Отныне мое окно по ночам засветилось неоновой синюхой. Песочницу и навес во дворике упразднили, площадку закатали асфальтом, и отныне каждое утро сюда въезжали иномарки, из которых неторопко вываливались солидные банкиры и секретарши, состоящие из ног и миловидных головок в модных прическах.

В один из последних годов века, проснувшись среди ночи, я не увидел на потолке привычной уже неоновой полосы, которую отбрасывала вывеска банка. Выглянув утром во двор, нашел, что площадка перед входом безлюдна. Впервые за все годы подошел к дверям и увидел, что вестибюль пуст и нигде ни огонька, ни охранника, ни чиновника, ни секретарши. Банк беззвучно и незаметно лопнул.

Отведенное для детей место не принимало ничего иного, не связанного с утверждением будущего. А детей не стало. И будущее отошло в прошлое. Где-то там в ушедших годах скрипел баян, и ему подпевали неумелые голоски.

Эти свидетельства истоншения когда-то мощного ствола русского родословного древа ныне видны повсюду. Школьные здания, в которых за неимением учеников свили бесплодные гнезда чиновники. Покинутые деревни, села и поселки. Даже целые городки, опустевшие за недавние годы.

Поражены неизлечимой проказой основы, на которых держится жизнестойкость нации.

Мозг десятков миллионов людей отравлен алкоголем, недавно усугубленным еще и наркотиками, он претерпел тяжкие изменения, исключающие даже простой житейский подход к миру, к действительности. Мозг постоянно пребывает в бредовом тумане, полубезумии, а то и полном безумии. Большие участки его как бы сварены, отключены, не работают. Целые деревни, поселки, семьи в городах живут в алкогольном и наркотическом бреду.

Удар нанесен не только по мозгу. Точно так же поражена и детородная сторона. На моей памяти дураки, ныне называемые олигофренами, были наперечет (один-два), их

знало все село, их жалели, над ними потешались. Сейчас они повсюду. Их бессмысленный взгляд встречаешь постоянно. Эти несчастные дети, которые никогда не поймут, кто же они такие, начинают жизнь в специальных учреждениях за высоким забором, чтоб потом перебраться в дома умалишенных. Физически они существуют, но они уже не представляют собой нации, они утеряли не только облик, из них испарился дух.

Все это последствие удара алкоголизации и наркоманизации народа (хвастливый лозунг «советская власть плюс электрификация» на деле обернулся страшным выводом «безумная власть плюс алкоголизация»).

Теперь по-настоящему понимаешь, в какое страшное заблуждение впадали наши писатели, восторженно воспевая стойкость русского человека к алкоголю по сравнению с немцем или англичанином.

У Лескова – целые поэмы, как искусные мастера творят, не отрываясь от четверти с водкой. Шолохов восхищается своим героем, который в немецком лагере на забаву фашистам пил стакан за стаканом водку, не закусывая и тем поражая врагов. Лишь теперь мы видим, чем обернулось это «преимущество» русского человека.

Другой центр, который поражен социальным раком и разложением – это русский язык, в оболочке которого заключается духовный облик народа.

По сути сейчас в людской массе еще недавно привычного языка не осталось. В повседневности почти невозможно услышать фразу, не сдобренную матерщиной. Разговор состоит, как правило, из двух-трех матерных слов, которые произносятся с разной интонацией и выражают лишь примитивный узкопрактический, физиологический круг понятий. Почти каждое обычное слово, если оно присутствует, снабжается обязательным «блядь» (иногда замененным на «бля» или «блин»). Вот некто хвалит дружка и себя: «Я, бля, ты, бля, мы, бля – во, бля!» То есть оба очень хороши. В потоке жизни, в обиходе достаточно одного трехбуквенного слова, чтобы выразить весь спектр отношений, как житейских, так и производственных. «А ...уя? А не ...уя! ...уй ли? Это мне по ..ую! Да пошел ты на ...уй! Подай вон ту ...уевину; при...уярим ее сюда, и к ...ую».

В разных сочетаниях и при разной интонации этот набор более чем примитивных фраз может выразить и выра-

жает все, что требуется по работе, по жизни, по отношениям между людьми.

Язык скатился к уровню некоего интонационного праязыка, когда слова еще не расчленялись и лишь тон, которым произносились одни и те же звуки, говорил о смысле.

Школьники, студенты, работяги от молодых до сорокалетних – все говорят на этом языке. У школьников («тинейджеров» – как их нынче именуют) мат дополняется английскими словами того же свойства.

Приходилось бывать в компании профессоров, куда попал даже один академик, и там звучал тот же мат, что бытует среди шоферюг и слесарей-водопроводчиков. Среди издателей и литераторов мат считается признаком близости к народу и культивируется именно как признак единения с широкими массами.

Мне довелось жить на самом сломе времен, когда еще оставалась мощная традиция стихийно бережного и чуткого отношения к языку. Помнится, как в тридцатые годы прошлого века ломовые извозчики при виде приближающейся женщины проглатывали грязное словцо, замолкали или заменяли его чистым.

Матерщина прочно жила только в слоях изгоев общества – бездельников, пьяниц, уголовников, людей опустившихся, обреченных на погибель, не имевших будущего. Не к ним ли примкнули ныне все мы, не есть ли это знак разложения и погибели?

И уж совсем явно и нагло этот знак погибели пропечатывается в нынешней направленности нашего хозяйствования на производство оружия как основного товара, коий мы якобы только и можем вырабатывать. Героем становится изобретатель скорострелки, которая способна за минуту перебить толпу людей.

Хвалят не нахвалятся людобоем «Какашникова», с помощью которого во всем мире истреблены миллионы человек – не столько солдат, сколько мирных жителей всех стран. А недавно, в самом начале XXI века нас порадовали, что сынок «Какашникова» изобрел людобойку по скорострельности в десять раз превосходящую папашину. Вот уж достижение мысли и промышленности... Сельскохозяйственную технику покупаем за границей, семена, хлеб и овощ везем оттуда же, но зато автоматы, боевые самолеты, ракеты у нас самые лучшие и свои.

Это и есть последний вензель в жутком знаке погибели, который вывела безжалостная рука нашей Истории.

Присловье

Обвиняющие первых лиц государства во всех наших несчастиях, ставят все с ног на голову, выдают следствие за причину. Ведь гнилость и разложение самой основы общества и нации выбрасывает наверх гнилые ошметки в виде руководителей государства. Не потому все плохо что плоха организация государства, а потому все плохо, что плоха основа, из которой возникает государство, хила сама нация, ее корень гнил и болен. Поэтому-то на ее теле, как вереды и паразиты, могли появиться Ленин с Троцким, Сталин с Берией, Брежнев с Андроповым, Горбачев с Ельциным и т.д. Эти имена – лишь следствие, а не причина. Они вобрали всю мерзость общества, и поэтому возглавили умирающее общество.

«Лишь теперь стало понятно, что за прыщ
вскочил у нас на руководящем месте!»

Обломок 58, последний

Нас обступает двадцать первый век,
а мы коптим в своем Средневековье,
и хан-пахан, безликий Имярек,
нагайкой нищеты валтузит нас до крови.
Кучкуемся по избам, по углам,
в бетонных балаганах и пещерах.
Повсюду пьянь и рвань, везде бедлам
гнилые зубы через щели щерит.
Все тот же дьяк, прищурившись хитро,
скуфейку и кафтан свой носит скрытно.
Компьютер как гусиное перо
поскрипывает требухой магнитной.
Сказитель в телерадиозурну
бренчит одно и то же год от года.
И гонит юность на свою войну
ничтожный старец, алчный воевода.
Князек над нами властвует – мурза
и сборщик податей бабай в бандитской маске.
И все мы дружно голосуем «за»,
согласно плеточно-нагаечной подсказке.
Одень нас хоть в дерюгу, хоть в парчу,
все те ж мы: после голода и розог
целуем руку гаду-палачу,
под ноги воеводе стелем розы.
Ау! Откликнись, где ты, новый век?
Со всех сторон лежит Средневековье;
под скрип компьютеров (а может быть, телег?)
спит с ядерной дубиной в изголовье.

Конец

Содержание

Родословная Бадаржновых и Димчевских

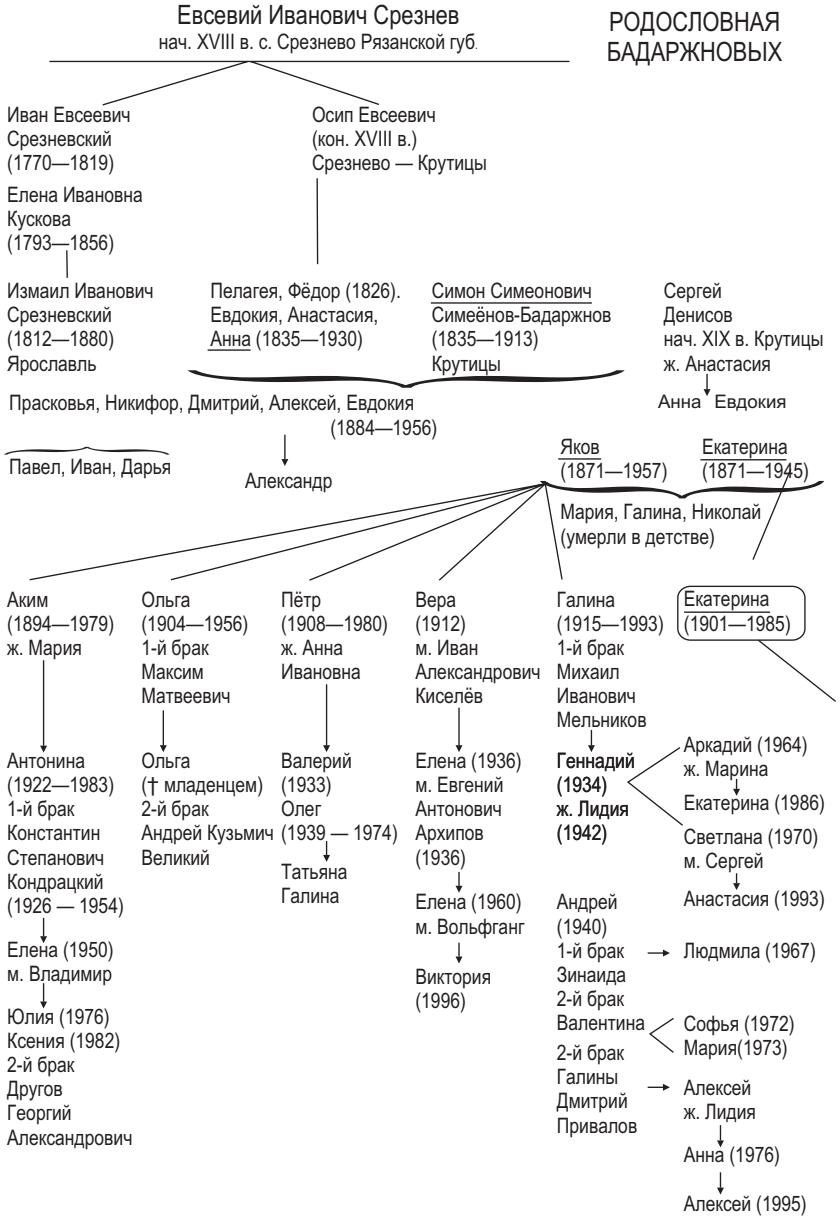
Родословная по линии Бадаржновых 11
Родословная по линии Димчевских 27

Мешок с обломками двадцатого века

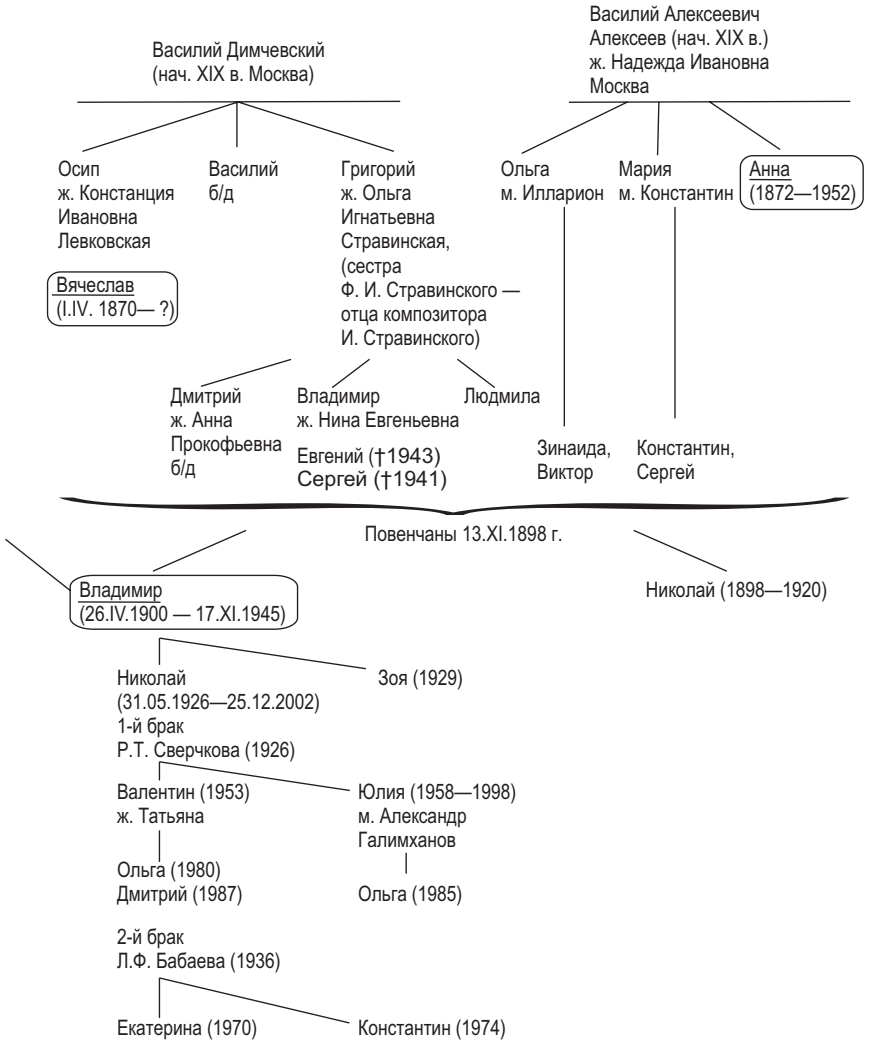
Обломок 1 39
Обломок 2 53
Обломок 3 57
Обломок 4 59
Обломок 5 63
Обломок 6 69
Обломок 7 73
Обломок 8 79
Обломок 9 81
Обломок 10 85
Обломок 11 97
Обломок 12 101
Обломок 13 105
Обломок 14 109
Обломок 15 111
Обломок 16 119
Обломок 17 127
Обломок 18 131
Обломок 19 139
Обломок 20 143
Обломок 21 147
Обломок 22 153
Обломок 23 159
Обломок 24 165
Обломок 25 169
Обломок 26 173
Обломок 27 185

Обломок 28 187
Обломок 29 191
Обломок 30 195
Обломок 31 199
Обломок 32 203
Обломок 33 209
Обломок 34 213
Обломок 35 231
Обломок 36 235
Обломок 37 241
Обломок 38 247
Обломок 39 251
Обломок 40 255
Обломок 41 259
Обломок 42 263
Обломок 43 269
Обломок 44 275
Обломок 45 279
Обломок 46 283
Обломок 47 287
Обломок 48 291
Обломок 49 293
Обломок 50 299
Обломок 51 317
Обломок 52 323
Обломок 53 347
Обломок 54 359
Обломок 55 363
Обломок 56 367
Обломок 57 373
Обломок 58, последний 379

РОДОСЛОВНАЯ БАДАРЖНОВЫХ



— ДИМЧЕВСКИХ


Василий Димчевский
(нач. XIX в. Москва)
Василий Алексеевич
Алексеев (нач. XIX в.)
ж. Надежда Ивановна
Москва
Осип
ж. Константия
Ивановна
Левковская
Василий
б/д
Григорий
ж. Ольга
Игнатьевна
Стравинская,
(сестра
Ф. И. Стравинского —
отца композитора
И. Стравинского)
Ольга
м. Илларион
Мария
м. Константин
Анна
(1872—1952)
Вячеслав
(I.IV. 1870— ?)
Дмитрий
ж. Анна
Прокофьевна
б/д
Владимир
ж. Нина Евгеньевна
Людмила
Евгений (†1943)
Сергей (†1941)
Зинаида,
Виктор
Константин,
Сергей
Повенчаны 13.XI.1898 г.
Владимир
(26.IV.1900 — 17.XI.1945)
Николай (1898—1920)
Николай
(31.05.1926—25.12.2002)
1-й брак
Р.Т. Сверчкова (1926)
Зоя (1929)
Валентин (1953)
ж. Татьяна
Ольга (1980)
Дмитрий (1987)
Юлия (1958—1998)
м. Александр
Галимханов
Ольга (1985)
2-й брак
Л.Ф. Бабаева (1936)
Екатерина (1970)
Константин (1974)

Приглашаем читателей посетить
сайт Николая Димчевского

http://dimchevsky.ru/

Книги Н. Димчевского можно заказать по телефонам:

+7 (903) 238-21-60
+7 (921) 355-96-48

Николай Димчевский

ФАНТОМ СТОЛЕТИЯ
(Мешок с обломками двадцатого века)

Верстка *Вероника Саченко*
Корректор *Татьяна Самсонова*
Художественное оформление *Нина Рассадина*

Подписано в печать 01.03.10.
Формат 84×108/32. Гарнитура Петербург. Бумага офсетная.
Тираж 200 экз. Заказ № 21089.

Отпечатано по технологии CtP
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.